И 240/482

92
Т-53п.
3664

И 240/482
92с.22
Т-53п
№ 689

ПОСЛѢДНІЕ ДНИ

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ, біографическимъ очеркомъ, описаніемъ послѣднихъ дней Л. Н. Толстого и статьями слѣдующихъ авторовъ:

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ, Д. Анучинъ, Ѳ. Д. Батюшковъ, Т. Богдановичъ, Homo Novus, А. Горнфельдъ, В. Дорошевичъ, С. Елпатьевскій, Н. Златовратскій, А. Измайловъ, Н. Карабчевскій, А. Кизеветтеръ, А. Ѳ. Кони, В. Короленко, А. Купринъ, Н. Лернеръ, М. Меньшиковъ, Д. Мережковскій, кн. В. Мещерскій, Вас. Немировичъ-Данченко, Д. Овсянико-Куликовскій, Г. Петровъ, И. Потапенко, А. Пругавинъ, Ф. Родичевъ, В. Розановъ, Мих. Стаховичъ, А. Столыпинъ, А. С. Суворинъ, Танъ, Н. Телешовъ, Тэффи, кн. Евгеній Трубецкой, А. Хирвяковъ, В. Чертковъ, Александръ Яблоновскій, Сергѣй Яблоновскій, І. Ясинскій, А. Ѳедоровъ.

Т Ц
БИБЛИО
№ 3664
1910

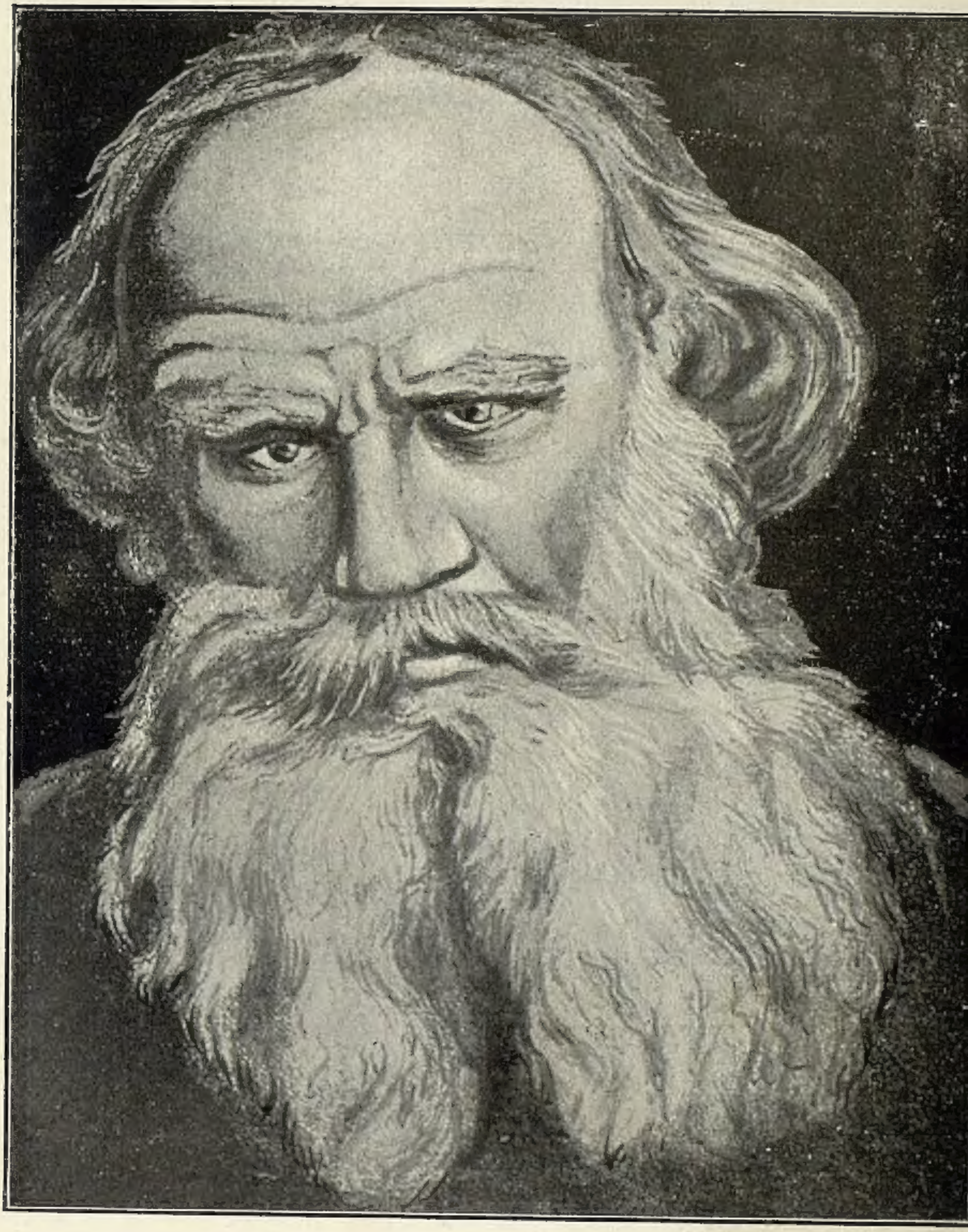
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Книгоиздательство „Воскресеніе“.

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В.И. ЛЕНИНА

SD 649-44

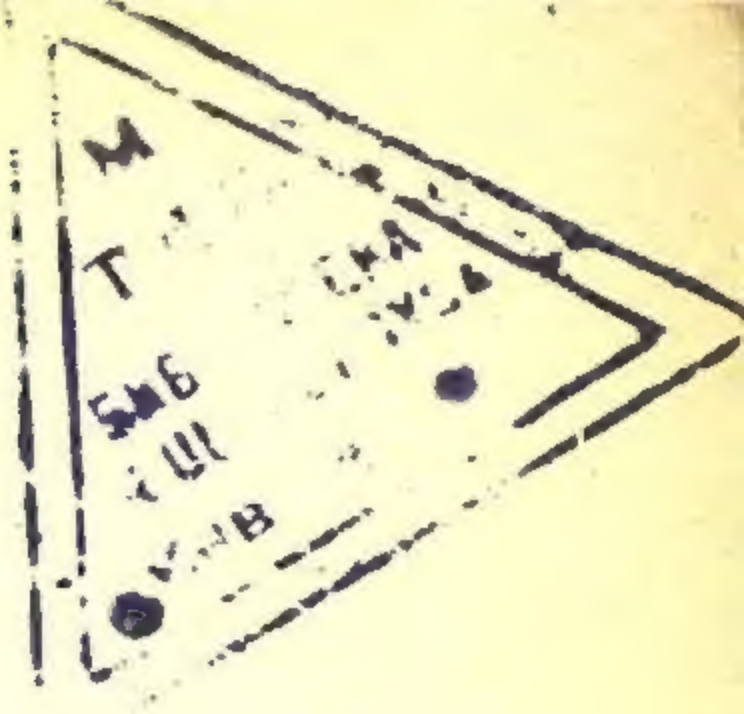
2007050502

Типографія В. М. Вольфа, Невскій, 126 (уголъ Суворовскаго пр.).



Левъ Николаевичъ Толстой.

(Съ портрета французскаго художника Мальтеста).



ОТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Выпуская настоящій сборникъ издатели задались цѣлью собрать по возможности все наиболѣе выдающееся изъ того огромнаго матеріала, который появился въ первой половинѣ ноября с. г. въ печати о Львѣ Николаевичѣ Толстомъ.

Предпосылая сборнику краткій біографическій очеркъ, издатели весь остальной матеріалъ разбили на пять основныхъ отдѣловъ:

I. „*Начало новой жизни Л. Н. Толстого*". Въ этотъ отдѣлъ вошло подробное описаніе ухода Л. Н. изъ „Ясной Поляны" и слѣдовавшія за симъ событія, — вплоть до болѣзни и остановки Л. Н. на ст. „Астапово". Отдѣльныя статьи въ этомъ отдѣлѣ посвящены Маріи Николаевнѣ Толстой, которую первой посѣтилъ Л. Н. послѣ своего отъѣзда изъ „Ясной Поляны" и Оптиной пустыни, гдѣ тоже побывалъ великій Старикъ. Остальной матеріалъ перваго отдѣла является отзывами русскихъ и иностранныхъ писателей и дѣятелей, какъ въ передачѣ газетныхъ корреспондентовъ, такъ и въ оригинальномъ изложеніи самихъ авторовъ.

II. „*Несбывшаяся мечта*". Тяжкая болѣзнь помѣшала величайшему и могущественнѣйшему изъ смертныхъ осуществить мечту о новой жизни. Въ этомъ отдѣлѣ мы даемъ связный разсказъ о ходѣ болѣзни Л. Н. и о всѣхъ сопутствующихъ эту болѣзнь обстоятельствахъ, вплоть до 5 час. утра 7 ноября.

III. „*Смерть Льва Николаевича Толстого*“. Этотъ отдѣлъ заканчиваетъ описательную сторону событія, о которыхъ хочется говорить не „произошли“, а „свершились“. Сюда вошли описанія перевозки праха Л. Н. и похоронъ въ „Ясной Полянѣ“.

IV. „*Высшія гражданскія и духовныя власти и Л. Н. Толстой*“. Этотъ отдѣлъ заключаетъ въ себѣ матеріалъ, характеризующій отношеніе къ уже мертвому Льву Николаевичу высшихъ гражданскихъ и духовныхъ лицъ: Государя, кабинета министровъ, Гос. Думы, Гос. Совѣта и, наконецъ, Синода, занявшаго въ отношеніи Льва Николаевича Толстого совершенно обособленную, одинокую позицію.

V. „*Міровое значеніе генія Л. Н. Толстого*“. Сюда вошли статьи, посвященныя памяти и дѣятельности Л. Н. Толстого.

Первоначально мы предполагали дополнить это изданіе VI-ымъ отдѣломъ, который далъ бы представленіе о томъ, какъ откликнулись на смерть Толстого не только Россія и не Европа только, а весь міръ. Но послѣ окончательной сводки систематизированнаго матеріала за десять дней съ момента смерти Толстого выяснилось, что даже сухой перечень того, что сдѣлали или предполагаютъ сдѣлать различныя общества, учрежденія и организаціи въ ознаменованіе памяти Л. Н. Толстого долженъ составить отдѣльный объемистый томъ. Поэтому издатели вынуждены были отказаться отъ первоначальнаго предположенія включить въ этотъ сборникъ VI-ый отдѣлъ.

Весь помѣщенный здѣсь матеріалъ заимствованъ изъ различныхъ періодическихъ изданій, причемъ фактическій матеріалъ подвергся — насколько было возможно—строгой провѣркѣ, а часть статей—нѣкоторымъ сокращеніямъ.

Книгоиздательство „Воскресеніе“.

Послѣднія произведенія Л. Н. Толстого.

Дѣйствительное средство.

Само собою разумѣется, что очень радъ бы былъ сдѣлать все, что могу, для противодѣйствія тому злу, которое такъ сильно и болѣзненно чувствуется всѣми лучшими людьми нашего времени.

Но думаю, что въ наше время для дѣйствительной борьбы съ смертной казнью нужны не проламываніи раскрытыхъ дверей; не выраженія негодованія противъ безнравственности, жестокости и безсмысленности смертной казни (всякій искренній и мыслящій человѣкъ и, кромѣ того, еще и знающій съ дѣтства шестую заповѣдь, не нуждается въ разъясненіяхъ безсмысленности и безнравственности смертной казни); не нужны также и описанія ужасовъ самаго совершенія казней; такія описанія могутъ только успѣшно подѣйствовать на самихъ палачей, такъ что люди будутъ менѣе охотно поступать на эти должности и исполнять ихъ, и правительству придется дороже оплачивать ихъ услуги.

И потому думаю, что главнымъ образомъ нужно не выраженіе негодованія противъ убійства себѣ подобныхъ, не внушеніе ужаса совершаемыхъ казней, а нѣчто совсѣмъ другое.

Какъ прекрасно говоритъ Кантъ, „есть такія заблу-

жденія, которыя нельзя опровергнуть. Нужно сообщить заблуждающемуся уму такія знанія, которыя его просвѣтятъ, тогда заблужденіе исчезнетъ само собою".

Какія же знанія нужно сообщать заблуждающемуся уму человѣческому о необходимости, полезности, справедливости смертной казни, для того, чтобы заблужденіе это уничтожилось само собой.

Такое знаніе, по моему мнѣнію есть только одно: знаніе того, что такое человѣкъ, каково его отношеніе къ окружающему его міру, или, что одно и то же, въ чемъ его назначеніе и потому что можетъ и долженъ дѣлать каждый человѣкъ, а, главное, что не можетъ и не долженъ дѣлать.

И потому, если ужъ бороться съ смертной казнью, то бороться только тѣмъ, чтобы внушать. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
этимъ людямъ то знаніе, которое одно можетъ освободить ихъ отъ ихъ заблужденія.

Знаю, что дѣло это нелегкое . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

И потому, если мы точно хотимъ уничтожить заблужденіе смертной казни, и главное, если имѣемъ то знаніе, которое уничтожаетъ это заблужденіе, то давайте же будемъ, несмотря ни на какія угрозы, лишенія, страданія, сообщать людямъ это знаніе, потому что это единственно дѣйствительное средство борьбы.

Л. Толстой.

Оптина пустынь.
29 октября 1910 г.

Послѣднее письмо.

Какъ нельзя болѣе своевременно, вышли изъ печати „Письма Л. Н. Толстого 1848—1910 гг.“. 281 письмо великаго писателя, къ имени котораго приковано вниманіе всего міра, открываютъ цѣлыя страницы душевной жизни великаго человѣка, во всей своей необъятной мощи далеко намъ неясной.

Послѣднее письмо, какое мы находимъ въ книгѣ, относится къ 24 октября 1910 г. и адресовано крестьянину М. П. Н-ву.

Л. Н. Толстой пишетъ:

„Михаилъ Петровичъ. Въ связи съ тѣмъ, что я говорилъ вамъ передъ вашимъ уходомъ, обращаюсь къ вамъ еще съ слѣдующей просьбой: если бы, дѣйствительно, случилось то, чтобы я пріѣхалъ къ вамъ, то не могли бы вы найти мнѣ у васъ въ деревнѣ, хотя бы маленькую, но отдѣльную и теплую хату, такъ что васъ съ семьей я бы стѣснялъ самое короткое время. Еще сообщаю вамъ то, что если бы мнѣ пришлось телеграфировать вамъ, то я телеграфировалъ бы вамъ не отъ своего имени, а отъ Г. Николаева.

Буду ждать вашего отвѣта, дружески жму руку.

Левъ Толстой.

Имѣйте въ виду, что все это должно быть извѣстно только вамъ однимъ.

Л. Т.“

Около мѣсяца тому назадъ я,—разсказываетъ въ „Рѣчи“ г. К. Чуковскій, — обратился ко Льву Николаевичу съ просьбой высказать снова свое мнѣніе о смертныхъ казняхъ, и получилъ отъ его дочери, Александры Львовны, извѣщеніе, что просьба моя будетъ исполнена.

— „Все это время—писала Александра Львовна,—отецъ чувствовалъ себя нездоровымъ и только теперь занялся письмомъ о смертной казни, о чемъ и проситъ извѣстить васъ".

Письмо Александры Львовны помѣчено 27 октября, — и такимъ образомъ видно, что въ послѣдній день своего пребыванія въ Ясной Полянѣ Левъ Николаевичъ писалъ о смертной казни . . . . . .

Дома онъ не успѣлъ закончить свою статью и, прибывши въ Оптину Пустынь, снова принялся за нее. Утромъ 29-го октября пріѣхалъ къ нему, по порученію Александры Львовны, юноша-Сергѣенко (котораго ошибочно смѣшиваютъ съ писателемъ П. А. Сергѣенко, авторомъ книги о Толстомъ). Левъ Николаевичъ, увидя юношу, очень ему обрадовался. Онъ встрѣтилъ его въ монастырскомъ коридорчикѣ и сперва не узналъ, но узнавши, воскликнулъ:

— Ахъ, батюшки! Ты какъ сюда попалъ?

Юноша хотѣлъ передать ему кое-какія извѣстія о Ясной Полянѣ, но Л. Н. сказалъ: „подожди" — и принялся за продолженіе статьи. Юноша хотѣлъ удалиться, но Л. Н. сказалъ:

— Вотъ, только пріѣхалъ, сейчасъ же тебѣ работа!

И продиктовалъ изъ своей записной книжки твердымъ, увѣреннымъ голосомъ послѣднія строки статьи:

„И потому, если мы точно хотимъ уничтожить заблужденіе смертной казни, и, главное, если мы имѣемъ то знаніе, которое уничтожаетъ это заблужденіе, то давайте же, будемъ, несмотря ни на какія угрозы, лишенія и страданія, сообщать людямъ это знаніе, потому что это единственное дѣйствительное средство борьбы".

— Ну, вотъ, кажется, теперь мнѣ удалось выразить,— сказалъ онъ,—и, только покончивъ со статьею, перешелъ къ разспросамъ о дѣлѣ, а потомъ опять вернулся къ статьѣ.

— Эту статью надо отослать такому-то. Они хотятъ помѣстить ее въ „Рѣчи“. Ты слыхалъ объ этомъ?

Сергѣенко отвѣтилъ: да, и Л. Н., уйдя на прогулку попросилъ его переписать эту статью. Тотъ переписалъ, и, хотя Л. Н. вернулся съ прогулки очень усталый, но даже не присѣлъ отдохнуть, а тотчасъ же сталъ перечитывать рукопись и, сдѣлавъ въ ней своею рукой много поправокъ, очень четко и твердо подписалъ свое имя. Несмотря на всѣ послѣдующія событія, Л. Н. не разъ возвращался къ своей статьѣ. Изъ Оптиной Пустыни въ Шемардино онъ ѣхалъ одинъ, а сзади, въ другихъ саняхъ, слѣдовали за нимъ д-ръ Маковецкій и „Алеша“. Юноша часто выскакивалъ изъ саней, подбѣгалъ ко Льву Николаевичу—скажетъ нѣсколько словъ и—обратно.

Л. Н. былъ очень бодръ, восхищался окрестностью старыми деревьями вдоль большака, избами, крышами и т. д. Завелъ разговоръ съ ямщикомъ, высчитывалъ, сколько тотъ тратитъ въ годъ на водку и на табакъ, и такъ растрогалъ крестьянина, что онъ разрыдался. Потомъ внезапно остановилъ свои сани и, когда къ нему подбѣжалъ „Алеша“, сказалъ:

— Что-то хотѣлъ тебѣ сказать, и забылъ. Когда вспомню, позову тебя вновь.

Поѣхали дальше и вдругъ Толстой закричалъ: „вспомнилъ, Алеша, вспомнилъ“!

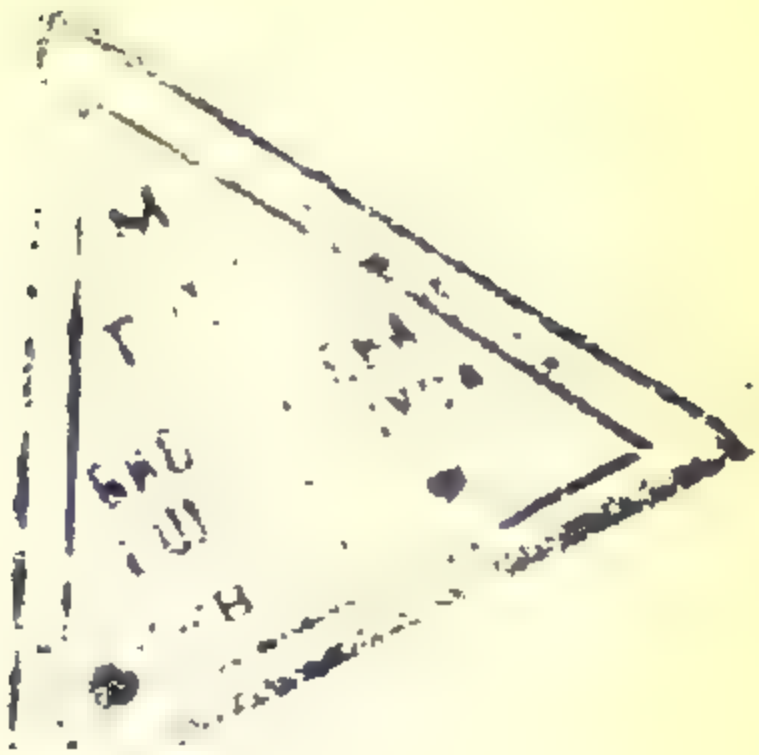
Юноша вдругъ подбѣжалъ.

— Ахъ, какъ ты скоро бѣгаешь. — Я насчетъ статьи. Передай Сашѣ (Александрѣ Львовнѣ), чтобы она переписала, и если Владиміру Григорьевичу (Черткову) статья понравится, пусть онъ пошлетъ ее Чуковскому.

Умирая въ Астаповѣ, Л. Н. снова вспомнилъ объ этой статьѣ и говорилъ о ней Ив. Ив. Горбунову-Посадову (руководителю издательства „Посредникъ“).

Третьяго дня, поклонившись великой могилѣ, я уѣз-

жалъ изъ Ясной Поляны, и В. Г. Чертковъ передалъ мнѣ эту послѣднюю статью Льва Николаевича, который передъ смертью высказывалъ не разъ желаніе, чтобы гонораръ за его посмертныя произведенія былъ обращенъ на выкупъ Ясной Поляны въ пользу мѣстныхъ крестьянъ.



Біографическій очеркъ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Когда П. Бирюковъ задумалъ написать біографію Толстого, онъ попросилъ Л. Н. сообщить ему нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія.

„Мнѣ очень хотѣлось исполнить его желаніе,—разсказывалъ Левъ Николаевичъ—и я сталъ въ воображеніи составлять свою біографію. Сначала я незамѣтно для себя самымъ естественнымъ образомъ сталъ вспоминать только одно хорошее моей жизни, только, какъ тѣни на картинѣ, присоединяя къ этому хорошему мрачныя, дурныя стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь болѣе серьезно въ событія моей жизни, я увидалъ, что такая біографія была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вслѣдствіе невѣрнаго освѣщенія и выставленія хорошаго и умолчанія или сглаживанія всего дурного. Когда же я подумалъ о томъ, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся передъ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое должна бы была произвести такая біографія. Въ это время я заболѣлъ. И во время невольной праздности—болѣзни мысль моя все время обращалась къ воспоминаніямъ, и эти воспоминанія были ужасны.

Я съ величайшей силой испыталъ то, что говоритъ Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи „Воспоминаніе“:

„Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день
И на нѣмыя стогна града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,—
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ
Часы томительнаго бдѣнья.
Въ бездѣйствіи ночи мъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья:
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,

Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ,
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю".

Въ послѣдней строкѣ я только измѣнилъ бы такъ,—вмѣсто „строкъ печальныхъ"... поставилъ бы: „строкъ постыдныхъ не смываю".

Подъ этимъ впечатлѣніемъ я написалъ у себя въ дневникѣ слѣдующее:

„6 января 1903 г. Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминанія эти не оставляютъ меня и отравляютъ жизнь. Обыкновенно жалѣютъ о томъ, что личность не удерживаетъ воспоминанія послѣ смерти. Какое счастіе, что этого нѣтъ! Какое бы было мученіе, если бы я въ этой жизни помнилъ все дурное, мучительное для совѣсти, что я совершилъ въ предшествующей жизни! А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастіе, что воспоминаніе исчезаетъ со смертью и остается одно сознаніе,—сознаніе, которое представляетъ какъ бы общій выводъ изъ хорощаго и дурного, какъ бы сложное уравненіе, сведенное къ самому простому его выраженію: x=положительной или отрицательной, большой или малой величинѣ!"

„Да, великое счастіе—уничтоженіе воспоминанія, съ нимъ нельзя бы жить радостно. Теперь же, съ уничтоженіемъ воспоминанія, мы вступаемъ въ жизнь съ чистой, бѣлой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное".

Правда, что не вся моя жизнь была такъ ужасно дурна,—такимъ былъ только 20 лѣтній періодъ ея; правда и то, что и въ этотъ періодъ жизнь моя не была сплошнымъ зломъ, какимъ она представлялась мнѣ во время болѣзни, и что и въ этотъ періодъ во мнѣ пробуждались порывы къ добру, хотя и не долго продолжавшіеся и скоро заглушаемые ничѣмъ не сдерживаемыми страстями. Но все таки эта моя работа мысли, особенно во время болѣзни, ясно показала мнѣ, что моя біографія, какъ пишутъ обыкновенно біографіи, съ умолчаніемъ о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать

біографію, то надо писать всю настоящую правду. Только такая біографія, какъ ни стыдно мнѣ будетъ писать ее, можетъ имѣть настоящій и плодотворный интересъ для читателей. Вспоминая такъ свою жизнь, т.-е. разсматривая ее съ точки зрѣнія добра и зла, которыя я дѣлалъ, я увидѣлъ, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре періода: тотъ чудный, въ особенности въ сравненіи съ послѣдующимъ, невинный, радостный, поэтическій періодъ дѣтства до 14 лѣтъ, потомъ второй—ужасные 20 лѣтъ или періодъ грубой распущенности, служенія честолюбію, тщеславію и, главное, похоти, потомъ третій 18 лѣтній періодъ, отъ женитьбы и до моего духовнаго рожденія, который съ мірской точки зрѣнія можно бы назвать нравственнымъ, т.-е. въ эти 18 лѣтъ я жилъ правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никакимъ осуждаемымъ общественнымъ мнѣніемъ порокамъ, но всѣ интересы котораго ограничивались эгоистическими заботами о семьѣ, объ увеличеніи состоянія, о пріобрѣтеніи литературнаго успѣха и всякаго рода удовольствіями.

И, наконецъ, четвертый 20-лѣтній періодъ, въ которомъ я живу теперь, и въ которомъ надѣюсь умереть, и съ точки зрѣнія котораго я вижу все значеніе прошедшей жизни, и котораго я ни въ чемъ не желалъ бы измѣнить, кромѣ какъ въ тѣхъ привычкахъ зла, которыя усвоены мною въ прошедшіе періоды.

Такую исторію жизни всѣхъ этихъ четырехъ періодовъ, совсѣмъ правдивую, я хотѣлъ бы написать, если Богъ дастъ мнѣ силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною біографія, хотя бы и съ большими недостатками, будетъ полезнѣе для людей, чѣмъ вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томовъ сочиненій и которымъ люди нашего времени приписываютъ незаслуженное ими значеніе".

ДѢТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ.

Родъ дворянъ и графовъ Толстыхъ принято считать ведущимъ свое начало отъ нѣкоего „выходца изъ нѣмецъ", Индриса, въ православіи Леонтія, который, по свидѣтель-

ству черниговской лѣтописи, прибылъ въ 1353 г. въ Черниговъ, съ двумя сыновьями и трехтысячною дружиною. Младшій сынъ Леонтія, Ѳеодоръ, умеръ бездѣтнымъ, а отъ старшаго его сына, Константина Леонтьевича, въ числѣ нѣкоторыхъ другихъ родовъ повелъ свое начало и родъ Толстыхъ, въ графской отрасли котораго графъ Левъ Николаевичъ числится отъ родоначальника Индриса въ 20-мъ колѣнѣ.

Дѣйствительно ли родъ Толстыхъ происходитъ отъ „Индриса", въ этомъ позволительно усомниться, имѣя въ виду то соображеніе, о которомъ говоритъ графъ Сергѣй Львовичъ Толстой.

Такъ какъ гербы русскихъ дворянъ пошли только съ Петра I, а всѣмъ хотѣлось имѣть гербы, то многіе—и вѣроятно, въ томъ числѣ Толстые, выдумывали, что они происходятъ отъ знатныхъ иностранныхъ родовъ, у которыхъ есть старинные гербы. Поэтому, весьма вѣроятно что вся исторія съ Индрисомъ есть вымыселъ, сочиненный для того, чтобы Толстые и другіе потомки Индриса имѣли гербъ. И, дѣйствительно, предположеніе, что Л. Н. Толстой нѣмецкаго происхожденія, является нелѣпостью.

Левъ Николаевичъ родился 28 августа 1828 г. въ деревнѣ „Ясная Поляна", находящейся въ Крапивинскомъ уѣздѣ, Тульской губ., почти на границѣ Тульскаго уѣзда, въ 15 верстахъ отъ Тулы.

„Матери своей—говоритъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ" Л. Н.—я совершенно не помню. Мнѣ было $1^1/_2$ года, когда она скончалась. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключеніемъ развѣ Татьяны Александровны Ергольской, съ которой я прожилъ половину своей жизни, и которая была замѣчательная по нравственнымъ качествамъ женщина. Во всѣхъ семьяхъ бываютъ періоды, когда болѣзни и смерти еще отсутствуютъ и члены семьи живутъ спокойно. Такой періодъ, какъ мнѣ думается, переживала мать въ семьѣ мужа до своей смерти. Никто не умиралъ, никто серьезно не болѣлъ, разстроенныя дѣла отца поправлялись. Всѣ были здоровы, веселы и дружны. Отецъ веселилъ всѣхъ своими разсказами и шутками. Я не засталъ этого времени. Когда я сталъ помнить себя, уже смерть матери положила свою печать на жизнь нашей семьи. Отецъ былъ средняго роста, хорошо сложенъ, живой сангвиникъ съ пріятнымъ лицомъ и съ всегда гру-

стными глазами. Жизнь его проходила въ занятіяхъ хозяйствомъ, въ которомъ онъ, кажется, не былъ большой знатокъ, но въ которомъ онъ имѣлъ для того времени большое качество: онъ былъ не только не жестокъ, но скорѣе даже слабъ. Такъ что и за его время я никогда не слыхалъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ. Вѣроятно, эти наказанія производились. Я очень любилъ отца, но не зналъ еще, какъ сильна была эта моя любовь къ нему до тѣхъ поръ, пока онъ не умеръ".

„Третье, послѣ отца и матери, самое важное въ смыслѣ вліянія на мою жизнь была тетенька, какъ мы назвали ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковымъ родственница бабушки. Вліяніе это было, во первыхъ, въ томъ, что еще въ дѣтствѣ она научила меня духовному наслажденію любви. Она не словами учила меня этому, а всѣмъ своимъ существомъ заражала меня любовью. Я видѣлъ, чувствовалъ, какъ хорошо ей было любить, и понялъ счастье любви Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни".

Николай Ильичъ Толстой умеръ, когда Льву Николаевичу было всего 9 лѣтъ Смерть отца была однимъ изъ самыхъ сильныхъ впечатлѣній дѣтства Льва Николаевича. Левъ Николаевичъ говорилъ, что смерть эта въ первый разъ вызвала въ немъ чувство религіознаго ужаса передъ вопросами жизни и смерти. Такъ какъ отецъ умеръ не при немъ, онъ долго не могъ вѣрить тому, что его ужъ нѣтъ. Долго послѣ этого, глядя на незнакомыхъ людей на улицахъ Москвы, ему не только казалось, но онъ почти былъ увѣренъ, что вотъ-вотъ онъ встрѣтитъ живого отца.

Итакъ, еще въ раннемъ дѣтствѣ Л. Н. почувствовалъ дыханіе смерти, унесшей двухъ самыхъ близкихъ, горячо любимыхъ людей. Что онъ переживалъ, можно видѣть изъ „Дѣтства", въ которомъ Николенька Иртеньевъ– самъ Левъ Толстой.

Николенька смотритъ на мать, лежащую въ гробу.

„Я не могъ повѣрить, чтобы это было ея лицо. Я сталъ вглядываться въ него пристальнѣе и мало по-малу сталъ узнавать въ немъ знакомыя, милыя черты. Я вздрогнулъ отъ ужаса, когда убѣдился, что это была она; но отчего закрытые глаза такъ впали? отчего эта страшная блѣдность и на одной щекѣ чериоватое пятно подъ прозрачною кожей?

„...Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и всѣ присутствующіе, исключая насъ, одинъ за другимъ, стали подходить къ гробу и прикладываться... Одна изъ послѣднихъ подошла проститься съ покойницей какая то крестьянка съ хорошенькою пятилѣтней дѣвочкой на рукахъ, которую, Богъ знаетъ зачѣмъ, она принесла сюда. Въ это время я нечаянно уронилъ свой мокрый платокъ и хотѣлъ поднять его; но только-что я нагнулся меня поразилъ страшный пронзительный крикъ исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лѣтъ я никогда его не забуду и, когда вспомню, всегда пробѣжитъ холодная дрожь по моему тѣлу. Я поднялъ голову—на табуретѣ, подлѣ гроба, стояла та же крестьянка и съ трудомъ удерживала въ рукахъ дѣвочку, которая, отмахиваясь ручонками откинувъ назадъ испуганное личико и уставивъ выпученные глаза на лицо покойницы, кричала страшнымъ неистовымъ голосомъ. Я вскрикнулъ голосомъ, который я думаю, былъ еще ужаснѣе того, который поразилъ меня, и выбѣжалъ изъ комнаты".

— Можно сказать, замѣчаетъ по этому поводу Д. Мережковскій, что тотъ безумный крикъ никогда съ тѣхъ поръ не умолкалъ въ произведеніяхъ Л. Толстого Душу цѣлаго поколѣнія заразилъ онъ своимъ ужасомъ. Если въ наше время люди боятся смерти, съ такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всѣхъ насъ, въ глубинѣ сердца, въ крови и въ плоти есть эта „холодная дрожь", до мозга костей пробирающій ознобъ, о которомъ Данте говоритъ по поводу грѣшниковъ, замерзшихъ въ адскомъ озерѣ: „тогда прошелъ по мнѣ ознобъ, онъ и теперь по мнѣ, какъ вспомню ихъ проходитъ", то въ значительной мѣрѣ мы этимъ всѣмъ обязаны Л Толстому.

Онъ заимствовалъ, впрочемъ, разсказъ о смерти матери Николая Иртеньева не изъ собственныхъ воспоминаній: мать Льва Николаевича умерла, когда ему было года три; помнить ее не могъ онъ и при смерти ея не присутствовалъ. Повидимому, однако, въ разсказѣ героя „Дѣтства" онъ изображаетъ съ такою ужасающею, почти циническою, отталкивающею правдою страхъ смерти, врожденный въ него, въ такой мѣрѣ ему одному свойственный, пробудившійся въ немъ съ первыми проблесками сознанія и съ тѣхъ поръ никогда его не покидавшій, много разъ проявлявшійся въ его произведеніяхъ.

Изъ яркихъ впечатлѣній дѣтства Л. Н. вспоминалъ, какъ однажды за что то, „но за что-то самое незаслуживающее наказанія“, гувернеръ французъ St. Thomas, „во-первыхъ, заперъ меня—разсказываетъ Л. Н.—въ комнатѣ, а потомъ угрожалъ розгой. И я испыталъ ужасное чувство негодованія и возмущенія и отвращенія не только къ Thomas, но и къ тому насилію, которое онъ хотѣлъ употребить надо мной. Едва-ли этотъ случай не былъ причиною того ужаса и отвращенія передъ всякаго рода насиліемъ, которое испытываю всю свою жизнь“.

Чѣмъ былъ въ ранніе годы своей жизни Л. Н., что онъ думалъ и какъ чувствовалъ себя, можно видѣть изъ его „Дѣтства“, „Отрочества“ и „Юности“.

Левъ Николаевичъ—Николенька Иртеньевъ—очень тяготился своей внѣшностью:

„Я имѣлъ странныя понятія о красотѣ, — даже Карла Ивановича считалъ первымъ красавцемъ въ мірѣ; но очень хорошо зналъ, что я нехорошъ собою, и въ этомъ нисколько не ошибался; поэтому каждый намекъ на мою наружность больно оскорблялъ меня ...На меня часто находили минуты отчаянія: я воображалъ, что нѣтъ счастья на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими сѣрыми глазами, какъ я; я просилъ Бога сдѣлать чудо превратить меня въ красавца, и все, что имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ, я все отдалъ бы за красивое лицо“.

Это чувство стыда за свою внѣшность заставляло очень самолюбиваго ребенка часто замыкаться въ себя, въ свои тайные помыслы и чувства, и это то и помогло крайне раннему развитію Льва Николаевича.

Переходъ отъ дѣтства къ отрочеству ознаменовался у Л. Н. пробужденіемъ сознательной, ясной мысли, которая словно открыла глаза мальчика на смыслъ и значеніе совершающагося вокругъ: будто всѣ предметы вдругъ повернулись къ нему другою, неизвѣстною еще стороною. „Мнѣ въ первый разъ, — говоритъ Л. Н. устами Николеньки, — пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, то-есть наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего не имѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ

все это, но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ"...

Въ Л. Н. страсть къ философскимъ разсужденіямъ сказалась такъ рано, что онъ считаетъ нужнымъ оговориться: „Едва-ли мнѣ повѣрятъ,—говоритъ Левъ Николаевичъ отъ имени Николеньки, — какіе были любимѣйшіе и постоянѣйшіе предметы моихъ размышленій во время моего отрочества, — такъ они были несообразны съ моимъ возрастомъ и положеніемъ. Но, по моему мнѣнію, несообразность между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть вѣрнѣйшій признакъ истины. Разъ мнѣ пришла мысль, что счастіе не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ а отъ нашего отношенія къ нимъ, что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ, и, чтобы пріучить себя къ труду, я, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя по голой спинѣ такъ больно, что слезы невольно выступали на глазахъ Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что смерть ожидаетъ меня каждый часъ, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не поняли того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ, — и я три дня, подъ вліяніемъ этой мысли, бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что, лежа на постели, наслаждался чтеніемъ какого-нибудь романа и ѣдой пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которыя я покупалъ на послѣднія деньги".

„Но ни однимъ изъ всѣхъ философскихъ направленій,— продолжалъ свой разсказъ Левъ Николаевичъ,—я не увлекался такъ, какъ скептицизмомъ, который одно время довелъ меня до состоянія, близкаго къ сумасшествію. Я воображалъ, что, кромѣ меня, никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы — не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестану думать о нихъ, образы эти тотчасъ же исчезаютъ. Однимъ словомъ, я сошелся съ Шеллингомъ въ убѣжденіи, что существуютъ не предметы, а мое отношеніе къ нимъ. Были минуты, что я подъ вліяніемъ этой постоянной идеи доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь

врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было".

Въ 1841 г. братья Толстые переѣхали въ Казань, а спустя три года Л. Н., желая быть дипломатомъ, поступилъ на восточный факультетъ Казанскаго университета, въ которомъ учились его старшіе братья. Сдѣлавшись студентомъ, Л. Н. не пропускалъ ни одного бала, вечера, примкнувъ къ „клубу аристократовъ".

Студенты-аристократы держали себя гордо и не стремились заслужить любовь товарищей не аристократовъ. Одинъ изъ товарищей Толстого, студентъ Назарьевъ, присутствовавшій съ нимъ въ одно время на лекціяхъ по русской литературѣ у профессора эстетики, описываетъ молодого графа, какъ чопорнаго и надменнаго юношу: „Его напускная холодность, щетинистые волосы и презрительное выраженіе прищуренныхъ глазъ производили на меня отталкивающее впечатлѣніе". „Въ первый разъ въ моей жизни, — разсказываетъ онъ далѣе, — встрѣтилъ я юношу, преисполненнаго такой странной и непонятной для меня важности и самодовольства. Профессора, одѣтаго по обыкновенію въ полуженскій халатъ,—казалось, ничуть не стѣсняло присутствіе гордаго юноши.. Послѣ лекціи графъ Толстой уходилъ отъ профессора, даже не прощаясь съ нимъ".

Уже въ ту пору Толстой сталъ неуважительно относиться къ наукѣ и къ ея разсадникамъ-университетамъ.

По мнѣнію Толстого, университетъ, „храмъ науки", какъ онъ называлъ его, — былъ безполезнымъ учрежденіемъ, откуда выходятъ люди безполезные. какъ для общественной жизни, такъ и для государственной, безъ пользы для себя и своихъ ближнихъ. Въ молодомъ 19-ти-лѣтнемъ студентѣ все болѣе и болѣе укоренялось убѣжденіе въ томъ, что изъ университетскихъ стѣнъ „полезнымъ и знающимъ человѣкомъ" ему не выйти, что изъ Казани ничего не принесетъ онъ „восвояси", развѣ только умъ и душу, уставшіе и измельчавшіе отъ чада провинціальной свѣтской жизни, отъ подневольнаго, хотя бы и пассивнаго, участія въ ея мелкихъ и суетныхъ интересахъ.

Ведя разсѣянный, „свѣтскій" образъ жизни, Толстой не выдержалъ экзамена и долженъ былъ остаться на второй годъ на первомъ курсѣ, но онъ предпочелъ перейти на юридическій факультетъ, со второго курса котораго на

другой годъ Л. Н. и ушелъ совсѣмъ изъ университета. „Причинъ выхода моего изъ университета—замѣчаетъ самъ Л. Н.—было двѣ: 1) что братъ (Николай) кончилъ курсъ и уѣзжалъ, 2) какъ это ни странно сказать, работа съ „Наказомъ“ и „Esprit des lois“ (она и теперь есть у меня) открыла мнѣ новую область умственнаго самостоятельнаго труда, а университетъ съ своими требованіями не только не содѣйствовалъ такой работѣ, но мѣшалъ ей“.

Сущность взгляда Л. Н. на жизнь уже въ эти юношескіе годы заключалась, — по его словамъ, — въ томъ, что „настоящее стремленіе человѣка есть нравственное усовершенствованіе и что это усовершенствованіе легко и возможно. Но до сихъ поръ я терялъ время только на открытіе новыхъ истинъ, которыя соотвѣтствовали этому убѣжденію и на осуществленіе блестящихъ плановъ нравственной, полной дѣятельности, будущности, которые въ сущности говорили моему чувству больше, нежели уму, но пришло время, когда эти мысли съ такой силой нравственнаго открытія предстали моей душѣ, что я испугался, когда подумалъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и я тотчасъ же пожелалъ эти мысли примѣнить къ дѣлу съ твердымъ намѣреніемъ никогда имъ не измѣнять“.

Рѣшившись оставить университетъ и переѣхать въ деревню, Левъ Николаевичъ поставилъ себѣ цѣлью изучить юридическія науки, медицину, пять иностранныхъ языковъ, математику. исторію, географію и пр. и проч., составить сочиненія по всѣмъ этимъ предметамъ и достигнуть высшей степени совершенства въ музыкѣ и живописи.

Вся послѣдующая жизнь Льва Николаевича въ деревнѣ—замѣчаетъ г. Бирюковъ—была исполнена такихъ мечтаній, благихъ начинаній и серьезной искренней борьбой надъ самимъ собой въ стремленіи къ совершенствованію.

„Исповѣдь“ Льва Николаевича раскрываетъ намъ его внутренній міръ того времени еще съ другой стороны—религіозной. „Помню,—говоритъ Левъ Николаевичъ,—что, когда старшій братъ мой Дмитрій, будучи въ университетѣ, вдругъ со свойственной его натурѣ страстностью предался вѣрѣ и сталъ ходить ко всѣмъ службамъ, поститься, вести чистую, нравственную жизнь, то мы всѣ и даже старшіе, не переставая, подшмали его на смѣхъ и прозвали почему то Ноемъ. Помню, Мусинъ-Пушкинъ, бывшій тогда попечителемъ Казанскаго университета, зван-

шій насъ къ себѣ танцовать, насмѣшливо уговаривалъ отказывающагося брата тѣмъ, что и Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ. Я сочувствовалъ тогда этимъ шуткамъ старшихъ и выводилъ изъ нихъ заключеніе о томъ, что учить катехизисъ надо, ходить въ церковь надо но слишкомъ серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодымъ читалъ Вольтера, и насмѣшки его не только не возмущали, но очень веселили меня

„Отпаденіе мое отъ вѣры произошло во мнѣ такъ же, какъ оно происходило и происходитъ теперь въ людяхъ нашего склада образованія Оно, какъ мнѣ кажется, происходитъ въ большинствѣ случаевъ такъ: люди живутъ такъ, какъ всѣ живутъ, а всѣ живутъ на основаніи началъ, не только не имѣющихъ ничего общаго съ вѣроученіемъ, но большею частью противоположныхъ ему; вѣроученіе не участвуетъ въ жизни, а въ сношеніяхъ съ другими людьми никогда не приходится сталкиваться съ нимъ и самому въ собственной жизни никогда не приходится справляться съ нимъ; вѣроученіе это исповѣдуется гдѣ-то тамъ, вдали отъ жизни и независимо отъ нея, если сталкиваешься съ нимъ, то только какъ съ внѣшнимъ, не связаннымъ съ жизнью явленіемъ".

БОРЬБА СЪ САМИМЪ СОБОЮ.

Переѣздъ въ „Ясную Поляну" положилъ начало тому десятилѣтнему періоду жизни Толстого, о которомъ много лѣтъ спустя Л Н отзывался въ „Исповѣди" такъ:

„Когда-нибудь я разскажу исторію моей жизни—и трогательную и поучительную въ эти десять лѣтъ моей молодости. Думаю, что многіе и многіе испытали то же. Я всей душой желалъ быть хорошимъ; но я былъ молодъ, у меня были страсти, я былъ одинъ, когда искалъ хорошаго. Всякій разъ, когда я пытался высказывать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія, то, что я хочу быть нравственно хорошимъ, я встрѣчалъ презрѣніе и насмѣшки; а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ, меня хвалили и поощряли Честолюбіе, властолюбіе, ко-

рыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—все это уважалось. Отдаваясь этимъ страстямъ, я становился похожъ на большого, и я чувствовалъ, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистѣйшее существо, съ которой я жилъ, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной: rien ne forme un jeune hômme, comme une liaison avec une femme comme il faut; еще другого счастія она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ, и лучше всего у государя; и самаго большого счастія—чтобъ я женился на очень богатой дѣвушкѣ и чтобъ у меня, вслѣдствіе этой женитьбы было какъ можно больше рабовъ. Безъ ужаса, омерзенія и боли сердечной не могу вспомнить объ этихъ годахъ. Я убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дуэли, чтобы убить, проигрывалъ въ карты, проѣдалъ труды мужиковъ, казнилъ ихъ, блудилъ, обманывалъ. Ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, пьянство, насиліе убійство. . Не было преступленія, котораго бы я не совершалъ, и за все это меня хвалили, считали и считаютъ мои сверстники сравнительно нравственнымъ человѣкомъ. Такъ я жилъ десять лѣтъ".

Толстой нашелъ свое имѣніе въ упалкѣ и принялся серьезно изучать причины этого обстоятельства. Скоро онъ ихъ открылъ въ бѣдственномъ положеніи крестьянъ и въ неблагонадежности старостъ и управляющихъ. Онъ понялъ, какое обширное поле для дѣятельности открыто здѣсь человѣку, который хочетъ сдѣлать добро, и кому счастье ближняго лежитъ ближе къ сердцу, нежели его собственное.

И Толстой отдался деревнѣ всей душою, сталъ изучать теоретически и практически сельское хозяйство, выбиралъ себѣ помощниковъ изъ крестьянъ, посѣщалъ ихъ въ избахъ, помогая имъ дѣломъ и словомъ,—движимый только одною мыслью, чтобы не заслуженно, по закону и наслѣдству, выпавшее на его долю счастье раздѣлить съ добрыми людьми, которые проводятъ жизнь, близкую къ животному прозябанію, благодаря своей умственной тьмѣ, бѣдности и нечистотѣ. Такъ какъ всякій человѣкъ въ молодости склоненъ увлекаться, то и графъ Левъ Николаевичъ рисовалъ себѣ исполненіе своихъ благихъ желаній въ недалекомъ будущемъ. Путемъ постоянной разумной дѣятельности онъ въ нѣсколько лѣтъ думалъ уменьшить бѣдность и

невѣжество въ своемъ имѣніи. Но крестьяне не поняли стремленій своего барина. „Большинство мужиковъ,—признается самъ Левъ Николаевичъ,—смотритъ на меня, какъ на рогъ изобилія, и только. Да и можно ли требовать отъ нихъ иныхъ отношеній? Вѣдь жизнь ихъ и взгляды слагались вѣками подъ вліяніемъ множества неотразимыхъ условій. И развѣ можетъ одинъ человѣкъ измѣнить все это?“

Разочарованный, 19-ти-лѣтній Толстой ѣдетъ въ Петербургъ и началъ держать экзамены въ университетъ. Но наступила весна и прелесть деревенской жизни снова потянула его въ имѣніе.

Онъ возвращается въ Ясную Поляну и везетъ съ собою изъ Петербурга пьющаго талантливаго нѣмца-музыканта Рудольфа и страстно отдается музыкѣ.

Затѣмъ, до своего отъѣзда на Кавказъ въ 1851 году, Левъ Николаевичъ проводитъ время частью въ Москвѣ, частью въ Ясной Полянѣ. Вотъ тутъ и замѣнялся періодъ аскетизма кутежами, охотами, картами, цыганами и обратно.

За эти три года жизни Левъ Николаевичъ дѣйствительно перепробовалъ все, что можетъ быть доступно сильной, страстной, даровитой молодой натурѣ.

Постоянно желая начать правильную жизнь, онъ составляетъ себѣ распредѣленіе дня съ утра до вечера: хозяйство, купанье, дневникъ, музыка, ѣда, отдыхъ, чтеніе, купанье, хозяйство.

Но, разумѣется, эти расписанія и правила не выполняются и въ дневникѣ снова отмѣчается недовольство собой.

Этотъ періодъ борьбы съ самимъ собою продолжается цѣлые мѣсяцы, и вдругъ прорывается волна бурной страсти, сламывающей всѣ внѣшнія преграды.

Какъ утопающій хватается за соломенку, такъ и онъ, увлекаемый страстями, хватался за разныя чувства, которыя могли бы его удержать отъ гибели. Однимъ изъ такихъ чувствъ было самолюбіе.

„Люди, которыхъ я считаю нравственно ниже себя, дѣлаютъ дурныя дѣла лучше меня“, писалъ онъ въ своемъ дневникѣ, и потому эти дурныя дѣла становились ему противны, и онъ бросалъ ихъ.

Онъ наѣзжаетъ и въ Ясную, откуда снова въ мартѣ 1851 года онъ ѣдетъ въ Москву; вернувшись изъ этой поѣздки, онъ писалъ въ дневникѣ, что цѣль пріѣзда въ Москву была троякая: игра, женитьба и полученіе мѣста.

И ни одна изъ этихъ цѣлей не была достигнута. Къ игрѣ онъ тогда почувствовалъ отвращеніе, сознавая всю низость этого занятія; женитьбу отложилъ, потому что на-лицо не было ни одного изъ трехъ извѣстныхъ ему основаній женитьбы: любви, разсудка, судьбы Мѣста онъ не могъ получить за неимѣніемъ какихъ-то нужныхъ для этого бумагъ. И вотъ среди этой бурной смѣны свѣтскихъ удовольствій, игры, припадковъ чувственности, увлеченій цыганами, охотой, вдругъ наступали періоды религіозности и смиренія. Такъ съ усердіемъ исполняя обрядъ говѣнія, онъ сочиняетъ даже проповѣдь, конечно, оставшуюся не прочитанной.

И тутъ же замѣчаются порывы серьезнаго, художественнаго писательства. Онъ замышлялъ еще въ 50 году написать повѣсть изъ цыганскаго быта. Другой замыселъ того же времени былъ вызванъ подражаніемъ Стэрну, его „Sentimental journey". „Сидѣлъ онъ разъ у окна задумавшись и смотрѣлъ на все происходившее на улицѣ: вотъ ходитъ будочникъ, кто онъ такой, какая его жизнь? А вотъ карета проѣхала, кто тамъ и куда ѣдетъ и о чемъ думаетъ и кто живетъ въ этомъ домѣ, какая внутренняя жизнь ихъ?.. Какъ интересно бы было все это описать, какую можно бы было изъ этого сочинить интересную книгу"!

Весь этотъ перемѣнчивый, опасный періодъ жизни былъ оборванъ внезапнымъ отъѣздомъ на Кавказъ, вызваннымъ не столько уговорами служившаго тамъ брата Николая, сколько крупнымъ проигрышемъ, который нечѣмъ было заплатить.

НА КАВКАЗѢ.

Какъ жилъ Левъ Николаевичъ въ казачьей станицѣ на Кавказѣ видно изъ автобіографической повѣсти „Казаки". Попытки сближенія съ простыми казаками, охота, наслажденіе красотами природы и непрерывная, никогда не покидавшая этого человѣка, внутренняя борьба, ярко изображенная имъ въ его произведеніяхъ,—вотъ жизнь Льва Николаевича, соотвѣтствующая этому періоду:

„Отчего я счастливъ и зачѣмъ я жилъ прежде?“ говорилъ себѣ Толстой — Оленинъ, сидя въ зелени первобытнаго кавказскаго лѣса. „Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ, кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастья!“ И вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ. „Счастье—вотъ что,—сказалъ онъ самъ себѣ:—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣкѣ вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т.-е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви—можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе..“ „Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ и въ истерическій сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить. „Вѣдь ничего для себя не нужно,—все думалъ онъ,—отчего же не жить для другихъ?..“

Изъ казачьей станицы Толстой переселяется въ Тифлисъ, сдастъ экзаменъ и осенью 1851 года поступаетъ въ 4 батарею 20-й артиллерійской бригады. Толстой принималъ участіе въ несчетныхъ стычкахъ въ качествѣ фейерверкера 4-го класса, и однажды его жизни грозила опасность отъ татарскаго плѣна. Впослѣдствіи онъ правдиво разсказалъ этотъ случай въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“.

Возвратившись въ Старогладовскую уже юнкеромъ, онъ, въ февралѣ идетъ въ походъ въ качествѣ „уноснаго фейерверкера“. Въ мартѣ онъ опять въ Старогладовской. Интересны нѣкоторыя мысли того времени, записанныя имъ въ дневникѣ: „Съ нѣкотораго времени меня сильно начинаетъ мучить раскаяніе въ утратѣ лучшихъ годовъ въ жизни. И это съ тѣхъ поръ, какъ я началъ чувствовать, что я бы могъ сдѣлать что нибудь хорошее. Интересно бы было описать ходъ своего моральнаго развитія; но не только слова, но и мысль даже недостаточна для этого“. „Есть во мнѣ что-то, что заставляетъ меня вѣрить, что я рожденъ не для того, чтобы быть такимъ какъ всѣ“.

Не даромъ впослѣдствіи Левъ Николаевичъ придавалъ

числу „28“ огромное значеніе въ своей жизни, называя его, подобно древнимъ математикамъ, „совершеннымъ“ числомъ: *) 28 августа 1852 г. онъ получилъ отъ издателя „Современника“ Н. А Некрасова письмо, извѣщавшее, что его повѣсть „Дѣтство“ будетъ напечатана въ журналѣ.

Успѣхъ первыхъ произведеній Толстого былъ настолько великъ, что съ того времени его сразу причислили къ разряду первыхъ писателей. Во всѣхъ литературныхъ кружкахъ имя молодого писателя произносилось восторженно, безъ тѣни зависти или недоброжелательства. „Современникъ“ за 1856 г., № 12-й, заканчиваетъ свою критическую статью слѣдующими словами: „Мы предсказываемъ, что все, что до сихъ поръ внесено въ нашу литературу графомъ Толстымъ, есть только залогъ того, что дастъ онъ намъ въ будущемъ, но какъ богатъ и красивъ этотъ залогъ“.

Военная карьера, несмотря на его видное положеніе, не улыбалась Льву Николаевичу. Онъ, видимо, тяготился ею и ждалъ только производства въ офицеры, чтобы выйти въ отставку. И производство это, какъ нарочно не приходило. Наконецъ пришелъ давно жданный приказъ о производствѣ Льва Николаевича въ офицеры.

19 го января онъ выѣхалъ въ Россію; 2-го февраля 1854 г. Л. Н. пріѣхалъ въ Ясную Поляну.

Его уже ждало назначеніе въ Дунайскую армію, куда онъ вскорѣ и выѣхалъ, прибывъ въ Бухарестъ 14 марта 1854 года.

Кавказскій періодъ жизни Л. Н. считаетъ однимъ изъ лучшихъ періодовъ его жизни, несмотря на всѣ уклоненія отъ смутно сознаваемаго имъ идеала. По мнѣнію Л. Н., послѣдующая военная служба его, а особенно литературная дѣятельность была постепенно нравственнымъ паденіемъ, и только возвратясь въ деревню и отдавшись всецѣло школьнымъ занятіямъ съ крестьянскими дѣтьми, онъ снова почувствовалъ возрожденіе и подъемъ духа.

Съ конца апрѣля по іюль 1854 г. русскія войска расположены были подъ стѣнами и валами Силистріи. Изъ

---

*) Знаменательно: Л. Н. Толстой родился 28 августа и покинулъ Ясную Поляну тоже 28 числа (октября мѣсяца 1910 г.). Вѣроятно, рѣшившись сдѣлать переворотъ въ своей жизни, онъ выбралъ для этого „счастливое“ число!

Силистріи Толстой перешелъ въ Яссы, въ Крымъ и Севастополь.

СЕВАСТОПОЛЬ.

Многія недѣли, и даже мѣсяцы, носилась смерть надъ улицами города; пули и бомбы такъ и свистали въ воздухѣ. Безпрерывный лязгъ оружія отнималъ послѣдній покой у обывателей. Самая ужасная и самая сильная борьба происходила на Малаховомъ курганѣ.

Офицеръ Левъ Николаевичъ Толстой принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ этихъ опасностяхъ. Его мѣсто было одно изъ самыхъ опасныхъ — на 4-мъ бастіонѣ: не проходило почти часа, чтобы надъ головами осажденныхъ не витала смерть. И несмотря на постоянное безпокойство, поэтъ находилъ въ себѣ достаточно творческой силы, чтобы написать свой первый изъ военныхъ крымскихъ разсказовъ: „Севастополь въ декабрѣ". Можетъ быть, именно волненіе этихъ дней такъ повліяло, что изъ маленькаго очерка вышло геніальное произведеніе.

За „Севастополемъ въ декабрѣ" слѣдуютъ другія произведенія Л. Н., въ которыхъ онъ все пережитое воплощалъ въ образы съ доступной ему одному и изумительной вѣрностью дѣйствительности, но въ которыхъ какъ бы умышленно отсутствуетъ художественная подкладка. Для него, съ его тонкимъ чутьемъ, не существуетъ ни хорошаго, ни худого; описывая храбрость и изображая густыми красками зло и ужасныя стороны войны, онъ вовсе не имѣетъ цѣли сдѣлать первую предметомъ подражанія, или напугать кого либо послѣдними; даже въ отдѣльныхъ дѣйствующихъ личностяхъ въ своихъ произведеніяхъ онъ не старается вывести образцы воинственныхъ добродѣтелей или отталкивающихъ примѣровъ противоположности. Всѣ люди „не могутъ быть ни злодѣями, ни героями повѣсти. Герой же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекраснъ—правда".

Среди сильныхъ и новыхъ ощущеній, Л. Н. не перестаетъ думать о себѣ: его постоянное занятіе,— внутренняя

работа надъ самимъ собой; работа эта отражается въ записяхъ его дневника: „Я дуренъ собой, неловокъ, нечистоплотенъ и свѣтски необразованъ. Я раздражителенъ, скученъ для другихъ, нескроменъ, нетерпимъ (intolérant) и стыдливъ какъ ребенокъ. Я почти невѣжа. Что я знаю, тому я выучился кое-какъ, самъ, урывками, безъ связи, безъ толку и то такъ мало. Я не воздержанъ, нерѣшителенъ, непостоянен, глупо тщеславенъ и пылокъ, какъ всѣ безхарактерные люди. Я не храбръ. Я не аккуратенъ въ жизни и такъ лѣнивъ, что праздность сдѣлалась для меня почти неодолимой привычкой. Я уменъ, но умъ мой еще ни на чемъ не былъ основательно испытанъ. У меня нѣтъ ни ума практическаго, ни ума свѣтскаго, ни ума дѣлового. Я честенъ, то есть я люблю добро, сдѣлалъ привычку любить его; и когда отклоняюсь отъ него, бываю недоволенъ собою и возвращаюсь къ нему съ удовольствіемъ, но есть вещи, которыя я люблю больше добра—славу. Я такъ честолюбивъ и такъ мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродѣтелью—первую, ежели бы мнѣ пришлось выбирать изъ нихъ. Да, я не скроменъ, оттого я гордъ въ самомъ себѣ, а стыдливъ и робокъ въ свѣтѣ.

Въ то же время, какъ видно изъ переписки Л. Н—ча съ Некрасовымъ, онъ слѣдилъ за русской литературой и дѣятельно поддерживалъ редакцію „Современника“, собирая въ Севастополѣ кружокъ сотрудниковъ.

Но, разумѣется, литературныя занятія были не главнымъ времяпрепровожденіемъ Толстого. Онъ велъ обычную жизнь офицера и былъ хорошимъ товарищемъ, о чемъ свидѣтельствуютъ его современники и сослуживцы.

Въ воспоминаніяхъ Назарьева, приводился разсказъ бывшаго товарища Толстого по Севастополю, съ видимымъ удовольствіемъ вспоминавшаго о немъ и о времени, проведенномъ съ нимъ въ одной батареѣ. Онъ даже узналъ себя въ одномъ изъ героевъ севастопольскихъ разсказовъ. „Такъ скажу —съ блаженной улыбкой повѣствовалъ старикъ, — Толстой своими разсказами и наскоро набросанными кушлетами одушевлялъ всѣхъ и каждаго въ трудныя минуты боевой жизни. Онъ былъ, въ полномъ смыслѣ, душой батареи“.

Поведеніе Льва Николаевича, какъ храбраго офицера, и связи въ высшихъ сферахъ могли обезпечить ему выгод-

ную военную карьеру. Этому способствовало также появленіе въ печати его „Севастопольскихъ очерковъ“, обратившихъ на себя вниманіе Николая и императрицы Александры Ѳеодоровны, которая, какъ, разсказываютъ, плакала, читая первый разсказъ; но тотъ же даръ творчества и положилъ предѣлъ этому успѣху. Препятствіемъ къ блестящей карьерѣ явились написанныя Толстымъ „Севастопольскія пѣсни“

Послѣ сдачи Севастополя Толстой былъ посланъ въ Петербургъ курьеромъ.

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Прибывъ 21-го ноября 1855 г. въ Петербургъ Л. Н. сразу попалъ въ кружокъ „Современника“ и былъ принятъ тамъ съ распростертыми объятіями.

Вотъ какъ разсказываетъ Левъ Николаевичъ объ этомъ времени въ своей „Исповѣди“:

„Въ это время я сталъ писать изъ тщеславія, корыстолюбія и гордости. Въ писаніяхъ своихъ я дѣлалъ то же самое, что и въ жизни. Для того, чтобы имѣть славу и деньги, для которыхъ я писалъ, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное,—я такъ и дѣлалъ. Сколько разъ я ухитрялся скрывать въ писаніяхъ своихъ подъ видомъ равнодушія и даже легкой насмѣшливости, тѣ мои стремленія къ добру, которыя составляли смыслъ моей жизни. И я достигъ этого: меня хвалили. Двадцати шести лѣтъ я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего, льстили мнѣ“.

Ко времени появленія въ Петербургѣ Льва Николаевича Толстого, болѣе интимный кружокъ „Современника“ составляли литераторы, изображенные на двухъ извѣстныхъ группахъ, т.-е. Панаевъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Толстой, Дружининъ, Островскій, Гончаровъ, Григоровичъ и Соллогубъ. Можно назвать еще изъ неизображенныхъ на группахъ В. П. Боткина, Фета и др.

Въ кружокъ петербургскихъ литераторовъ Левъ Николаевичъ принесъ свою сильную, художественную, впечатлительную натуру и свой непреклонный, часто задорный характеръ, и произвелъ бурю въ этой спокойной, умѣренной средѣ.

По свидѣтельству Фета, однажды у Некрасова онъ былъ свидѣтелемъ такой сцены:

— Я не могу признать, — сказалъ какъ-то Толстой въ кружкѣ, — чтобы высказанное вами было вашими убѣжденіями. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: „пока я живъ, никто сюда не войдетъ". Вотъ это убѣжденіе. А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіями.

— Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?— задыхаясь и голосомъ, переходящимъ въ тонкій фальцетъ (при горячихъ спорахъ это постоянно бывало), возразилъ Тургеневъ.— Здѣсь не ваше знамя! Ступайте къ княгинѣ Б-й-Б-й.

— Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія.

Въ другой разъ Толстой на общемъ собраніи, въ квартирѣ Панаева, въ присутствіи Некрасова, Гербеля, Языкова и Добролюбова, назвалъ Шекспира дюжиннымъ писателемъ и утверждалъ, что восторгъ товарищей отъ произведеній брита происходитъ изъ желанія не показаться отсталыми отъ другихъ и не имѣетъ въ сущности другой причины, какъ привычки, не обдумавъ, выдавать чужія мнѣнія.

Особенно часто были столкновенія у Толстого съ Тургеневымъ. Между ними происходили очень бурныя сцены, подобныя той, которую разсказывалъ Григоровичъ:

— „Голубчикъ, голубчикъ,—говорилъ захлебываясь и со слезами смѣха на глазахъ, Григоровичъ .. — Вы себѣ представить не можете, какія тутъ были сцены. Ахъ, Боже мой! Тургеневъ пищитъ, пищитъ, зажметъ рукою горло и съ глазами умирающей газели прошепчетъ: „не могу больше! у меня бронхитъ"! и громадными шагами начинаетъ ходить вдоль трехъ комнатъ. „Бронхитъ, ворчитъ Толстой велѣдъ, — бронхитъ воображаемая болѣзнь. Бронхитъ это металлъ"! Конечно у хозяина Некрасова душа замираетъ: онъ боится упустить и Тургенева, и Толстого, въ которомъ чуетъ капитальную опору „Современника" и приходится лавировать. Мы всѣ взволнованы, не знаемъ, что говорить. Толстой въ средней проходной комнатѣ лежитъ на сафьяновомъ диванѣ и дуется, а Тургеневъ, раздвинувъ полы своего короткаго пиджака съ заложенными въ карманы руками, продолжаетъ ходить взадъ и впередъ по

всѣмъ тремъ комнатамъ. Въ предупрежденіе катастрофы подхожу къ дивану и говорю: „Голубчикъ Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, каки онъ васъ цѣнитъ и любитъ“!

— Я не позволю ему, — говоритъ съ раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего дѣлать мнѣ на зло! Это вотъ онъ нарочно теперь ходитъ взадъ и впередъ мимо меня и виляетъ своими демократическими ляжками“.

Тургеневъ, какъ честная, правдивая натура, много разъ заявлялъ передъ публикой свое преклоненіе передъ талантомъ Толстого и даже въ разговорѣ съ однимъ французскимъ писателемъ употребилъ выраженіе Іоанна Крестителя, обращенное имъ ко Христу: „я не достоинъ развязать ремень у обуви его“. Но тѣмъ не менѣе отношенія ихъ никогда не были сердечно близкими. Только лежа на смертномъ одрѣ, въ своемъ предсмертномъ письмѣ, онъ съ нѣжностью и умиленіемъ, прося Льва Николаевича вернуться къ литературной дѣятельности, далъ ему имя, котораго не носилъ еще до него ни одинъ русскій писатель—имя „великаго писателя земли русской“. И это славное имя перешло въ вѣчность.

Изъ литературныхъ произведеній за зиму 1855 года Толстой закончилъ „Двухъ Гусаровъ“, „Мятель“, „Встрѣчу въ отрядѣ“ и „Утро помѣщика“.

Петербургская жизнь, видимо не удовлетворяла Толстого. Вскорѣ по пріѣздѣ онъ сталъ хлопотать объ отставкѣ и сталъ собираться за-границу, а въ дневникѣ записывалъ: „Могучее средство къ истинному счастью въ жизни, это безъ всякихъ законовъ пускать изъ себя во всѣ стороны, какъ паукъ, цѣлую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину. и квартальнаго“.

Въ концѣ мая, пріѣхавъ въ Москву, Толстой провелъ день въ семьѣ доктора Берса, женатаго на подругѣ дѣтства Льва Николаевича, — Исленевой, и жившаго тогда на дачѣ подъ Москвой, въ Покровскомъ. Въ дневникѣ Льва Николаевича есть такая краткая фраза объ этомъ посѣщеніи: „Дѣти намъ прислуживали. Что за милыя, веселыя дѣвочки“. Одна изъ нихъ, младшая, стала черезъ 6 лѣтъ его женой.

26 го ноября 1856 года Левъ Николаевичъ вышелъ въ отставку. Съ этого мѣсяца начался новый періодъ жизни

Л. Н., литературно-общественный, съ прорывающимся стремленіемъ къ личному счастью.

Несмотря на свою рѣзкость сужденій, на непризнаніе авторитетовъ, Л. Н. Толстой былъ желаннымъ гостемъ и драгоцѣннымъ членомъ литературнаго кружка „Современника".

Но самого Л. Н-ча эта среда далеко не удовлетворяла.

Кромѣ того, усомнившись въ истинности самой вѣры писательской, онъ сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и какъ впослѣдствіи самъ разсказывалъ, убѣдился, что „почти всѣ жрецы этой вѣры, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожные по характерамъ—много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни, но самоувѣренные и довольные собой, какъ только могутъ быть довольны люди совсѣмъ святые или такіе, которые и не знаютъ, что такое святость. Люди эти мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понялъ, что вѣра эта—обманъ. Но странно то, что, хотя всю эту ложь вѣры я понялъ скоро и отрекся отъ нее, но отъ чина, даннаго мнѣ этими людьми—отъ чина художника, поэта, учителя, я не отрекся. Я наивно воображалъ, что я поэтъ, художникъ, и могу учить всѣхъ, самъ не зная, чему я учу. Я такъ и дѣлалъ. Изъ сближенія съ этими людьми я вынесъ новый порокъ—до болѣзненности развившуюся гордость и сумасшедшую увѣренность въ томъ, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему".

Тѣмъ не менѣе, живя въ кругу этихъ людей, Толстой проникался ихъ интересами и былъ однимъ изъ дѣятельныхъ участниковъ ихъ товарищескихъ предпріятій. Между прочимъ, одно изъ важнѣйшихъ литературныхъ учрежденій „общество пособія литераторамъ и ученымъ"—Литературный фондъ" во многомъ обязанъ ему своимъ возникновеніемъ.

ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Въ этотъ періодъ своей жизни Толстой проявлялъ безпокойную дѣятельность и однимъ изъ актовъ этой дѣятельности была поѣздка его за границу, повидимому, безъ опредѣленной цѣли. Вотъ что онъ говоритъ объ этомъ въ

„Исповѣди“, съ присущей ему искренностью судя себя и окружающую его среду. „Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію еще шесть лѣтъ, до моей женитьбы. Въ это время я поѣхалъ за границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще въ которой я жилъ, потому что ту же вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ „прогрессъ“. Тогда мнѣ казалось, что этимъ словомъ выражается что-то. Я не понималъ еще того, что, мучимый, какъ всякій живой человѣкъ, вопросами, какъ мнѣ лучше жить, я отвѣчая: жить сообразно съ прогрессомъ, – отвѣчаю совершенно то-же, что отвѣтитъ человѣкъ, несомый въ лодкѣ по волнамъ и по вѣтру, на главный и единственный для него вопросъ: „куда держаться“, если онъ, не отвѣчая на вопросъ скажетъ: насъ несетъ куда то“.

Ни опытъ, пріобрѣтенный „Въ войнѣ и Мирѣ“, ни общеніе съ народомъ и цвѣтомъ общества не дали удовлетворительнаго отвѣта безпокойному уму мыслителя. Гдѣ бы и въ какомъ обществѣ онъ ни вращался, вездѣ лозунгомъ онъ слышалъ слово „прогрессъ“, и тѣ, кто произносилъ его, не казались ему ни добрыми, ни счастливыми. Неужели это плоды просвѣщенія, этотъ успѣхъ—результатъ цивилизаціи, который не можетъ сдѣлать человѣка ни нравственно чище, ни счастливѣе,—значитъ, вся цивилизація есть заблужденіе.

Но, можетъ быть, она окажется только въ Россіи въ такихъ мрачныхъ чертахъ среди этой рано начинающей жизнь и скоро старѣющей молодежи? Можетъ быть по ту сторону границы результаты ея иные? Западъ въ продолженіе 15 ти столѣтій постепенно усовершенствовалъ формы и воззрѣнія борьбы и труда, то медленно двигаясь впередъ, то отступая назадъ.

Но увеличила ли цивилизація на Западѣ эти блага, примирила ли и тамъ образованіе съ счастьемъ и нравственнымъ благородствомъ? Толстой долженъ былъ лично, своими глазами увидѣть все прежде, чѣмъ судить о томъ. И онъ отправился въ 1857 г на Западъ

Въ Парижѣ Толстой пробылъ 6 или 7 недѣль. Очень быстро проѣхалъ по Германіи, по городамъ Италіи. Самое

сильное впечатлѣніе произвела на него Швейцарія своимъ международнымъ характеромъ. Когда онъ покинулъ Швейцарію, чтобы вернуться на родину, то везъ съ собою рукопись новаго произведенія „Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова: Люцернъ“ „Люцернъ“, какъ и всѣ произведенія Толстого есть сплетеніе вымысла съ дѣйствительностью. Въ общихъ чертахъ на глазахъ Л. Н. Толстого произошло вотъ что:

Седьмого іюля 1857 года, въ Люцернѣ передъ отелемъ Швейцергофомъ, въ которомъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій-пѣвецъ въ продолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Около ста человѣкъ слушали его. Пѣвецъ три раза просилъ всѣхъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человѣкъ не далъ ему ничего и многіе смѣялись надъ нимъ.

Это не выдумка, а фактъ, положительный, который могутъ изслѣдовать тѣ, которые хотятъ, у постоянныхъ жителей Швейцергофа, справившись по газетамъ, кто были иностранцы, занимавшіе Швейцергофъ 7 іюля.

Вотъ событіе, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами“.

И изъ души Толстого вырывается крикъ удивленія передъ непостижимостью всего этого хаотическаго сцѣпленія фактовъ людскихъ отношеній съ ихъ мелкими чувствами передъ лицомъ гармоничнаго величія могучей природы. Въ патетической художественной формѣ изливаетъ авторъ настроеніе своей души и такъ заканчиваетъ разсказъ:

„Несчастное, жалкое созданіе человѣкъ со своею потребностью положительныхъ рѣшеній, брошенный въ этотъ вѣчно движущійся, безконечный океанъ добра и зла, фактовъ, соображеній, противорѣчій! Вѣками бьются и трудятся люди, чтобъ отодвинуть къ одной сторонѣ благо, къ другой неблаго. Проходятъ вѣка, и гдѣ бы, что бы не прикинулъ безпристрастный умъ на вѣсы добраго и злого, вѣсы не колеблются и на каждой сторонѣ столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человѣкъ выучился не судить и не мыслить рѣзко и положительно и не давать отвѣты на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вѣчно оставались вопросами! Ежели бы только онъ понялъ, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человѣка обнять всей истины, и справедлива по выраженію одной стороны человѣческихъ стремленій. Сдѣлали себѣ подраздѣленія въ этомъ вѣчно

движущемся, безконечномъ, безконечно-перемѣшанномъ хаосѣ добра и зла, провели воображаемыя черты по этому морю, и ждутъ, что море такъ и раздѣлится. Точно нѣтъ милліоновъ другихъ подраздѣленій совсѣмъ съ другой точки зрѣнія, въ другой плоскости Правда, вырабатываются эти новыя подраздѣленія вѣками, но и вѣковъ прошли и пройдутъ милліоны. Цивилизація—благо; варварство—зло; свобода—благо; неволя—зло. Вотъ это то воображаемое знаніе уничтожаетъ инстинктивныя, блаженнѣйшія первобытныя потребности добра въ человѣческой натурѣ. И кто опредѣлитъ мнѣ, что̀ свобода, что деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другого? У кого въ душѣ такъ непоколебимо это мѣрило добра и зла, чтобъ онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе запутанные факты? У кого такъ великъ умъ, чтобы хоть въ неподвижномъ прошедшемъ обнять всѣ факты и взвѣсить ихъ? И кто видѣлъ такое состояніе, въ которомъ бы не было добра и зла вмѣстѣ? И почему я знаю, что вижу больше одного, чѣмъ другого, не оттого, что стою не на настоящемъ мѣстѣ? И кто въ состояніи такъ совершенно оторваться умомъ хоть на мгновеніе отъ жизни, чтобы независимо сверху—взглянуть на нее? Одинъ, только одинъ есть у насъ непогрѣшимый руководитель, Всемірный Духъ, проникающій насъ всѣхъ вмѣстѣ и каждаго, какъ единицу, влагающій въ каждаго стремленіе къ тому, что должно; тотъ самый Духъ, который въ деревѣ велитъ ему расти къ солнцу, въ цвѣткѣ велитъ ему бросить сѣмя къ осени, и въ насъ велитъ намъ безсознательно жаться другъ къ другу.

И этотъ-то одинъ непогрѣшимый блаженный голосъ заглушаетъ шумное торопливое развитіе цивилизаціи Кто больше человѣкъ и кто больше варваръ: тотъ ли лордъ, который, увидавъ затасканное платье пѣвца, съ злобой убѣжалъ изъ-за стола, за его труды не далъ ему милліонной доли своего состоянія, и теперь сытый, сидя въ свѣтлой покойной комнатѣ, спокойно судитъ о дѣлахъ Китая, находя справедливыми совершаемыя тамъ убійства,—или маленькій пѣвецъ, который, рискуя тюрьмой, съ франкомъ въ карманѣ, двадцать лѣтъ, никому не дѣлая вреда, ходитъ по горамъ и доламъ, утѣшая людей своимъ пѣніемъ, котораго оскорбили, чуть не выголкали нынче, и который, усталый, голодный, пристыженный, пошелъ спать куда-нибудь на гніющей соломѣ?“

Изъ Люцерна Левъ Николаевичъ поѣхалъ по Рейну, въ Шафгаузенъ, Баденъ, Штутгартъ, Франкфуртъ и Берлинъ.

8-го августа онъ былъ уже въ Штеттинѣ и оттуда на пароходѣ прибылъ 11 августа (30 іюля) въ Петербургъ.

Въ Петербургѣ онъ пробылъ недѣлю, посѣщалъ кружокъ „Современника“, бывалъ у Некрасова и между прочимъ прочелъ ему свой разсказъ „Люцернъ“, который былъ напечатанъ въ сентябрской книжкѣ „Современника“ въ томъ же 1857 году. 6-го августа онъ выѣхалъ въ Москву и почти не останавливаясь проѣхалъ въ Тулу.

По пріѣздѣ въ Ясную Поляну онъ снова окунулся въ хозяйство.

Въ дневникѣ того времени мы, между прочимъ, находимъ такую запись:

„Вотъ какъ дорогой я ограничилъ свое назначеніе: главное, литературные труды, потомъ семейныя обязанности, потомъ хозяйство; но хозяйство я долженъ оставить на рукахъ старосты, сколько возможно: смягчать его, улучшать и пользоваться только двумя тысячами, остальное употреблять на крестьянъ. Главное—мой камень преткновенія есть тщеславіе либерализма. А такъ жить для себя—по доброму дѣлу въ день и довольно“.

Немного позже писалъ онъ:

„Самоотверженіе не въ томъ, что берете съ меня, что хотите, а трудись, и думай, и хитри, чтобы отдать себя“.

Въ это время Л. Н. читалъ и перечитывалъ двѣ замѣчательныя книги Иліаду и Евангеліе. И та и другая произвели на него сильное впечатлѣніе: „дочелъ невообразимо прелестный конецъ Иліады“, такъ выражается онъ и красота этихъ обѣихъ книгъ заставляетъ его жалѣть, что между ними нѣтъ связи. „Какъ могъ Гомеръ не знать, что добро—любовь“ восклицаетъ онъ, мысленно сравнивая эти двѣ книги. И самъ отвѣчаетъ: „Откровеніе—нѣтъ лучшаго объясненія“.

Въ концѣ октября Л. Н. поселился въ Москвѣ и сталъ проводить время на балахъ въ аристократическихъ салонахъ, или за игрой въ карты или въ обществѣ веселыхъ и легкомысленныхъ товарищей и цыганокъ. Львомъ Николаевичемъ въ это время овладѣла еще одна страсть. Золотая московская молодежь, жадная до всякихъ новинокъ, занималась въ это время съ безпримѣрнымъ соревнованіемъ гимнастическими упражненіями. Въ гимнасти-

ческомъ залѣ можно было видѣть, какъ Толстой, одѣтый съ ногъ до головы въ трико, дѣлалъ различныя упражненія: онъ былъ настолько же искуснымъ, насколько и страстнымъ гимнастомъ.

1858—59 г.г. прошли, такимъ образомъ, среди бурной жизни въ обществѣ друзей золотой молодежи и литературныхъ занятій. Озабоченные друзья Толстого часто имѣли поводъ примѣнить къ нему слова, какими гуманный императоръ Александръ I когда-то выразился о Крыловѣ: „Мнѣ жаль не тѣхъ денегъ, которыя проигралъ Крыловъ, но мнѣ жаль было бы его таланта, если-бъ онъ его проигралъ". Но особенная крѣпость, которой была одарена натура Толстого, спасла его мощный талантъ отъ гибели. Среди приготовленій къ поѣздкѣ на охоту, Толстой, преодолѣвъ всѣ препятствія, окончилъ послѣднюю часть разсказа „Три смерти" о смерти дерева.

Въ этотъ періодъ у Толстого уже намѣчалось начало тѣхъ сомнѣній, которыя впослѣдствіи послужили исходной точкой его новаго міровоззрѣнія.

„Не поэтическими нашими произведеніями можемъ мы сдѣлаться учителями людей, — говорилъ тогда Толстой, — но нашимъ вліяніемъ на нижніе слои общества можно принести пользу будущему поколѣнію". „Не учиться мы должны, но научить Марфушку и Тараску тому немногому, что мы сами знаемъ", — писалъ онъ отъ 23-го февраля 1860 г. своему другу Фету.

Отъ этого мрачнаго настроенія духа пострадала, правда, не много творческая дѣятельность Толстого, но оно ни минуту не прервало его не знающую устали наблюдательность и воспріимчивость чужихъ мыслей. Къ этому присоединился еще и проснувшійся интересъ къ дѣятельности помѣщика, который когда-то воодушевлялъ Толстого-юношу, и гдѣ онъ нашелъ тогда одно разочарованіе. Снова принялся онъ мечтать о дѣятельности въ „Ясной Полянѣ".

Толстого очень озабочивало здоровье лечившагося заграницей любимаго брата Николая, и онъ снова собрался за-границу. Къ тому же ему уже давно хотѣлось побывать въ Германіи, на мѣстѣ изучить народную жизнь и методу народнаго образованія.

ВЪ ГЕРМАНІИ.

Толстой близко познакомился съ этимъ вопросомъ. Онъ все испытывалъ лично, чтобы потомъ быть въ состояніи дѣйствовать самостоятельно и чтобы въ своемъ маленькомъ царствѣ, въ Ясной Полянѣ, даровать крестьянамъ, одновременно съ личной свободой, и драгоцѣнное благо—образованіе.

За пріятными мѣсяцами путешествія по Германіи, богатаго созерцаніемъ красивой природы, чтеніемъ полезныхъ книгъ, общеніемъ съ умнѣйшими людьми иного образованія и иныхъ міровоззрѣній,—послѣдовали тяжелыя недѣли въ жизни Толстого: любимый братъ оканчивалъ свое земное поприще съ ужасающей скоростью. Не прошло и мѣсяца, какъ Николай въ Гіерѣ, близъ Ниццы, умеръ на рукахъ своего брата.

„Я думаю, что вы уже знаете, что случилось,—писалъ Толстой Фету отъ 17 го октября 1860 г.,—онъ умеръ 20-го сентября буквально на моихъ рукахъ. Ничего въ жизни не производило на меня такого потрясающаго впечатлѣнія. Онъ былъ правъ, говоря, что нѣтъ ничего ужаснѣе смерти; и, если хорошенько вдуматься, что смерть есть исходный концъ всего живущаго, то придешь къ тому заключенію, что нѣтъ ничего хуже жизни. Къ чему всѣ заботы, старанія, если отъ всего, что называлось графомъ Николаемъ Николаевичемъ Толстымъ, ничего не осталось? Онъ никогда не говорилъ, что чувствовалъ приближеніе смерти, но я знаю, что онъ слѣдилъ за ней шагъ за шагомъ и зналъ навѣрное, сколько предстояло ему прожить. За нѣсколько минутъ до смерти онъ задремалъ. Вдругъ, вскочивъ, онъ испуганно прошепталъ: „Что это такое?“ Онъ уразумѣлъ свой переходъ въ ничто“. „Къ чему все, если завтра начнутся страданія смерти со всѣмъ ужасомъ, ложью, самообманомъ и если это все закончиться уничтоженіемъ, нулемъ. Веселая будущность! Будь полезенъ, добродѣтеленъ, счастливъ, пока ты живъ, говоритъ одинъ человѣкъ другому... но ты самъ, и счастье, и добродѣтель, и польза—все заключается въ истинѣ. Истина же, какъ я ее понялъ въ эти 32 года, есть та, что положеніе, въ которое мы поставлены, ужасно. „Бери жизнь, какъ она есть, ты самъ создалъ себѣ это положеніе.“ Но какъ же, я беру

жизнь такой, какая она есть. Какъ только человѣкъ достигаетъ высшей степени развитія, то онъ постигаетъ, что все это суета и обманъ, и что истина, которую онъ все-таки любитъ, вопреки всему, ужасна. Когда ты все это ясно увидишь, то ты испугаешься и вскрикнешь, подобно брату: Да что-же это? Понятно, пока живо желаніе знать и желать истину, люди стараются искать и говорить о ней. Это единственное, что мнѣ осталось изъ міра моральнаго. Выше я не могу подняться, и это единственное я буду исполнять, только не въ формѣ вашего искусства. Искусство—ложь, и я болѣе не могу любить ложь, хотя и красивую. Я пробуду здѣсь всю зиму, потому все равно, гдѣ не живешь".

Это, второе заграничное путешествіе, во время котораго Толстой побывалъ и во Франціи и даже въ Англіи, значительно расширило умственный кругозоръ писателя. Видѣнные имъ люди и страны дополняли его познанія, а изученіе предмета, такъ живо интересовавшаго его, и личное знакомство съ многими выдающимися людьми,—подѣйствовали на него глубоко и продолжительно. Нужно, однако считать пользу, полученную отъ этого путешествія, предпринятаго съ научной цѣлью, негативной. Онъ пріобрѣлъ извѣстную увѣренность въ своемъ отрицаніи и могъ тѣмъ тверже слѣдовать влеченію своего собственнаго ума.

Когда Толстой вернулся въ Россію, онъ засталъ въ немъ уже завершившимся великое дѣло освобожденія крестьянъ императорскимъ указомъ 19 февраля 1861 года. Дворянству и крестьянамъ предстояла трудная задача свыкнуться съ новымъ положеніемъ и условіями жизни, которыя предоставилъ въ ихъ распоряженіе законъ, при переходѣ ихъ изъ стараго состоянія. Условія освобожденія были не менѣе важны для будущаго, чѣмъ самый актъ освобожденія. Требовалось выработать правила, имѣвшія выраженіе въ идеалахъ времени, и направить корыстолюбивыя потребности и страсти на болѣе мирный путь. Большая часть дворянства не охотно примкнула къ партіи главныхъ сторонниковъ крестьянскаго вопроса: Милютина, Черкасскаго и Самарина. Только небольшое меньшинство помѣщиковъ, къ которымъ принадлежалъ и Левъ Николаевичъ Толстой, предупредивъ законодательство, дали своимъ крестьянамъ свободу.

Толстой принялъ на себя должность мирового посредника своего уѣзда и отдался ей съ тѣмъ же священнымъ рвеніемъ, съ какимъ его великое сердце относилось всегда ко всѣмъ проявленіямъ гуманности.

Эмансипація крестьянъ была дѣломъ, которому Толстой сначала отдался съ самой сердечной симпатіей и неутомимой дѣятельностью; но нѣсколькихъ лѣтъ опыта было довольно, чтобы охладить его. То, что по теоріи казалось такимъ справедливымъ, простымъ, естественнымъ,—въ дѣйствительности выходило иначе.

Толстой, также съ свойственной ему страстностью, весь отдался школьному дѣлу; двѣ зимы 1861—62 и 62—63 гг. онъ посвятилъ исключительно этому. Онъ открывалъ все новыя и новыя школы, пока число ихъ не возросло до 12-ти, доискиваясь все новаго пути и метода; преподавая самъ по различнымъ предметамъ и просиживая иногда до глубокой ночи, онъ забывалъ о часахъ отдыха и обѣдѣ.

Въ появившейся двадцать лѣтъ спустя „Исповѣди“ графъ Толстой такъ описывалъ это время своей жизни:

„Вернувшись изъ-за границы, я поселился въ деревнѣ и посвятилъ себя деревенскимъ школамъ. Занятіе это вполнѣ соотвѣтствовало моимъ наклонностямъ, такъ какъ въ немъ не было той, ставшей теперь для меня очевидной, лжи, которая ослѣпляла меня въ то время, когда я выступалъ въ роли учителя, въ литературѣ. И здѣсь, въ деревнѣ, я дѣйствовалъ во имя прогресса, но къ самому прогрессу я относился уже критически. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ часто идетъ не въ томъ направленіи, въ какомъ онъ долженъ былъ бы идти, и что къ непосредственнымъ людямъ, крестьянамъ, слѣдуетъ относиться свободно, безъ всякихъ предвзятыхъ теорій, предоставляя имъ избрать тотъ путь прогресса, который, по ихъ мнѣнію, является для нихъ желательнымъ и хорошимъ. Въ дѣйствительности же я вертѣлся около одной и той же задачи, заключавшейся въ томъ, что я желалъ учить другихъ, не зная самъ чему. Въ высшихъ сферахъ писательской дѣятельности нельзя — это я понималъ хорошо — учить, учить, не зная чему учишь; я видѣлъ, какъ каждый писатель училъ чему-нибудь другому, и какъ они постоянными спорами только скрываютъ отъ самихъ себя свое собственное невѣжество. Здѣсь, имѣя дѣло съ крестьянскими дѣтьми, можно будетъ избѣжать этихъ затрудненій, предо-

ставивъ дѣтямъ учиться тому, чему они сами пожелаютъ. Теперь мнѣ самому становится смѣшно при мысли о томъ, на какія ухищренія я пускался для того, чтобы удовлетворить своему капризному желанію—учить, хотя въ глубинѣ души я и тогда зналъ, что не въ состояніи учить тому, что, дѣйствительно, важно и необходимо. Послѣ года занятій въ школѣ я вторично отправился за границу для того, чтобы на мѣстѣ узнать, какъ слѣдуетъ поступать, если желаешь учить, а самъ ничего не знаешь".

Мнѣ казалось, что за границей я постигъ это искусство. Вооруженный всей этой премудростью, я вернулся въ Россію въ годъ освобожденія крестьянъ, сдѣлался мировымъ посредникомъ и началъ учить простой народъ въ школѣ, а образованныхъ людей при помощи журнала, который я издавалъ. Дѣло, казалось, шло прекрасно, но я чувствовалъ, что душевно и умственно я не совсѣмъ здоровъ, и что долго работать въ этомъ направленіи не сумѣю. Быть можетъ, я тогда уже впалъ бы въ то отчаяніе, которое овладѣло мною пятнадцать лѣтъ спустя, если бы для меня не существовало одной еще неизвѣданной жизни, сторонней, въ которой я надѣялся найти спасеніе: а именно, семейной жизни. Въ теченіе года исполнялъ я обязанности мирового посредника и работалъ для школы и надъ журналомъ. Это меня настолько утомило, что мнѣ казалось, что я схожу съ ума. Борьба, которую мнѣ приходилось вести въ качествѣ мирового посредника, была для меня такъ тяжела, моя педагогическая дѣятельность такъ темна, а журнальная дѣятельность, въ основѣ которой всегда лежало только одно желаніе — учить другихъ и скрывать, что я самъ не знаю того, чему я учу и чему слѣдуетъ учить — до того непріятна, что я заболѣлъ скорѣе душевнымъ, нежели физическимъ недугомъ, бросилъ все и уѣхалъ въ степь къ башкирамъ — дышать свѣжимъ воздухомъ, пить кумысъ и жить чисто животною жизнью. Вернувшись оттуда я женился.

Льва Николаевича Толстого съ юныхъ лѣтъ связывали съ семействомъ Берсъ самыя сердечныя и дружескія отношенія. Однажды между Л. Н. и второй дочерью доктора Берса, Софьей произошло свиданіе. Оно произошло приблизительно такъ, какъ это описано впослѣдствіи въ „Аннѣ Карениной", хотя слова объясненія и всѣ фразы были совсѣмъ другія.

Софья Андреевна отлично владѣла тремя языками и читала въ подлинникахъ лучшія произведенія русской, нѣмецкой, французской и впослѣдствіи англійской литературы. Эта дѣвушка могла вполнѣ оцѣнить по достоинству человѣка подобнаго Льву Николаевичу Толстому; она поняла, что достигаетъ своего высшаго идеала, когда такой всѣми уважаемый писатель говоритъ ей о своей любви. Никто не зналъ о знаменательномъ событіи, происшедшемъ въ домѣ.

28-го августа, въ день своего рожденія, когда Л. Н. минуло 34 года въ его записи видно колебаніе — самоосужденіе и борьба; онъ пишетъ:

„Всталъ съ привычной грустью Придумалъ общество для учениковъ мастерскихъ. Сладкая, успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о бракѣ, твое призваніе другое и дано за то много".

Но потребность семейнаго счастья взяла верхъ и желаніе любви перешло наконецъ въ настоящую, страстную любовь, которая уже не знала никакихъ преградъ. И все таки, не смотря на силу этой страсти, Левъ Николаевичъ и тутъ сумѣлъ проявить свою честность, свою любовь къ правдѣ. Уже сдѣлавъ предложеніе и получивъ согласіе, онъ далъ своей невѣстѣ прочесть свои дневники холостой жизни, въ которыхъ съ самообличеніемъ и голою искренностью описаны были всѣ увлеченія молодости, всѣ паденія и всѣ душевныя бури, пережитыя Львомъ Николаевичемъ.

Чтеніе этого дневника было ударомъ и невыразимымъ страданіемъ для молодой дѣвушки, видѣвшей въ своемъ героѣ идеалъ всѣхъ добродѣтелей. Страданіе это было такъ сильно и борьба пережитая такъ трудна, что она минутами колебалась не порвать ли уже установившуюся связь. Но любовь разрушила всѣ колебанія и она, выплакавъ ночами свои страданія, отдала Льву Николаевичу дневникъ и онъ прочелъ въ ея взорѣ прощеніе и еще болѣе, уже закаленную сильную любовь.

23 сентября 1862 года была отпразднована свадьба.

Л. Н. тридцать четыре года С. А. восемнадцать. Тотчасъ послѣ свадьбы уѣхали они въ Ясную поляну и провели въ ней почти безвыѣздно около двадцати лѣтъ, въ совершенномъ уединеніи, никогда не скучая, ни въ комъ не нуждаясь. Это лучшіе годы Л. Толстого, въ которые онъ

создалъ „Войну и Миръ“ и „Анну Каренину“,—высшій подъемъ и расцвѣтъ его силъ. „Любовь ея къ мужу безгранична, пишетъ братъ Софьи Андреевны, близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцомъ и идеаломъ супружескаго счастія. Недаромъ говорили ея родители: „Сонѣ лучшаго счастья пожелать нельзя!“

Мы видимъ въ „Воспоминаніяхъ“ Фета эту Наташу или Китти, одинъ изъ самыхъ безупречныхъ и законченныхъ женскихъ образовъ помѣщичьей русской культуры—„всю въ бѣломъ, съ огромною связкою тяжелыхъ ключей за поясомъ“—простую, тихую, всегда веселую и большею частью беременную, потому что у нея тринадцать человѣкъ дѣтей. „Она семь разъ переписала „Войну и Миръ“, и одновременно съ этимъ трудомъ, говоритъ Берсъ, и съ заботами хозяйки дома, доходившими до подробностей въ кухнѣ, она сама успѣвала кормить, учить и обшивать дѣтей до десятилѣтняго возраста“. Когда родилась у нихъ вторая дочь, и мать заболѣла, такъ что была при смерти и послѣ нѣсколькихъ попытокъ все-таки не могла кормить,—увидавъ, что дочь ея кормитъ другая женщина, она плакала отъ ревности къ ней, тотчасъ удалила кормилицу, и ребенокъ былъ вскормленъ на рожкѣ. „Левъ Николаевичъ находилъ эту ревность естественною и восхищался чадолюбіемъ жены“.

Чадолюбіе, чадородіе—здѣсь не кажутся слишкомъ торжественными эти ветхозавѣтныя слова, напоминающія древнихъ библейскихъ патріарховъ Авраама, Исаака и Іакова, которые получили завѣтъ отъ Бога Израиля: плодитесь, множитесь и наполняйте землю. Что бы ни думали мы о семейномъ счастіи Л. Толстого нельзя не согласиться, что есть въ этомъ нѣчто цѣлое, твердое, стройное, если не совершенное, то, по крайней мѣрѣ, завершенное, а слѣдовательно прекрасное, какъ сказалъ бы народъ—благолѣпное, то-есть, именно самое рѣдкое въ теперешней русской жизни—ни живой, ни мертвой, окончательно не разрушенной, а только изъѣденной, обезображенной, какъ постыдною болѣзнью, разлагающимъ семью карамазовскимъ ядомъ.

Мы, слабые, дерзкіе, слишкомъ жадно устремленные къ будущему, привыкли мало цѣнить законченныя формы прошлаго, это „благолѣпіе“, „благообразіе“, эти цѣпкіе, жи-

вотнорастительные корни всякой человѣческой культуры, глубоко уходящіе въ подземную, родную, живую животную темноту и теплоту, которыми однако только и питается и, наперекоръ всякимъ „сѣрымъ теоріямъ“, вѣчно зеленѣетъ „златое дерево жизни“. Намъ кажутся цинично-грубыми и мѣщанскими эти, можетъ быть, только слишкомъ откровенныя слова Николая Ростова въ эпилогѣ „Войны и Мира“:

„Все это поэзія и бабьи сказки—все это благо ближняго. Мнѣ нужно, чтобы наши дѣти не пошли по міру, мнѣ надо устроить наше состояніе, пока я живъ; вотъ и все“.

„Вся жизнь моя, говоритъ объ этомъ времени Толстой—сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ къ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше“.

Онъ даже увѣряетъ, будто бы и „писательству предавался“ въ это время, то есть во время созданія „Войны и Мира“ и „Анны Карениной“, исключительно „какъ средству для улучшенія своего матеріальнаго положенія“, поучая тому, что для него „было единой истиной,—что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше“.

Возвращаясь домой съ охоты или изъ краткихъ невольныхъ дѣловыхъ поѣздокъ, разсказываетъ Берсъ, онъ каждый разъ выражалъ свое волненіе такъ: „только бы дома все было благополучно!“

Это не мѣщанство,—справедливо говоритъ г. Мережковскій—это неизмѣримо глубже и первобытнѣе; это вѣчный голосъ природы, неодолимое чутье жизни, которое заставляетъ звѣря устраивать логово, птицу—гнѣздо и человѣка—зажигать огонь семейнаго очага.

„Я двѣ недѣли женатъ, пишетъ Л. Н. Фету, и счастливъ и новый, совсѣмъ новый человѣкъ... Теперь какъ писать? Теперь незримыя, даже зримыя усилія, и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ—она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня“.

„Левъ Николаевичъ, разсказываетъ Берсъ, ежедневно

похвалитъ день за красоту его и часто прибавитъ"—уже совсѣмъ въ духѣ „великаго язычника": „Какъ у Бога много богатствъ! У Него каждый день отличается чѣмъ-нибудь отъ другого".

„Чудесная жара, пишетъ онъ Фету, купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности. Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Давно я такъ не радовался на міръ Божій, какъ нынѣшній годъ. Стою, разиня ротъ, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего". И это—самые для Л. Н. тяжкіе, страшные годы, когда онъ думалъ о самоубійствѣ, замышлялъ „Исповѣдь".

УСИЛЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

Первые годы своей жизни въ Ясной Полянѣ, Н. Л. чувствовалъ дѣйствительное возрожденіе и полной грудью вдыхалъ новую, охватившую его, атмосферу семейной жизни.

Эта перемѣна условій жизни самого Льва Николаевича ведетъ за собой нѣкоторыя перемѣны въ окружающей его средѣ. Такъ, 15 октября онъ прекращаетъ школьныя занятія. Изданіе журнала „Ясная Поляна" тяготитъ его, журналъ опаздываетъ, и онъ рѣшается его прекратить.

Вскорѣ послѣ женитьбы Л. Н—чъ началъ писать „Войну и Миръ".

Въ 6-ой главѣ 1-ой части, написанной въ концѣ 63 г. или началѣ 64 года, т.-е. черезъ годъ съ небольшимъ послѣ свадьбы, князь Андрей такъ говоритъ Пьеру:

— „Никогда, никогда не женись, мой другъ! Вотъ тебѣ мой совѣтъ: не женись до тѣхъ поръ, пока ты не скажешь себѣ, что ты сдѣлалъ все, что могъ, и до тѣхъ поръ, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбралъ, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись старикомъ, никуда негоднымъ... А то пропадетъ все, что въ тебѣ есть хорошаго и высокаго. Все истратится по мелочамъ. „—Моя жена, — прибавилъ князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна изъ тѣхъ рѣдкихъ женщинъ, съ ко-

торою можно быть покойнымъ за свою честь. Но, Боже мой, чего бы я не далъ теперь, чтобъ не быть женатымъ! Это я тебѣ одному и первому говорю, потому что я люблю тебя". Чувство органической зависимости отъ жены, отъ семьи, Л. Н—чъ прекрасно выражаетъ въ „Аннѣ Карениной", описывая первое время женитьбы Левина и Кити.

Выходъ въ свѣтъ „Казаковъ" и затѣмъ „Поликушки" снова обращаетъ вниманіе литературныхъ друзей Л. Н—ча, но онъ, увлеченный инымъ, практическимъ дѣломъ, смотритъ какъ то издали на свою прежнюю литературную дѣятельность.

Порой Левъ Николаевичъ, какъ бы отрываясь отъ своей кипучей дѣятельности, закрывая на все глаза, снова уходитъ въ самого себя и хотя издали, но уже замѣчаетъ своего страшнаго, тогда еще рѣдко посѣщавшаго его, призрака—дракона смерти. 1-го марта въ дневникѣ его кратко, но ясно выражено это состояніе: „мысль о смерти".

Запись дневника 6-го октября 1863 года кратко, но ясно отражаетъ намъ эти періоды борьбы съ самимъ собою. „Я качусь, качусь подъ гору смерти и едва чувствую въ себѣ силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю безсмертіе. Выбирать незачѣмъ. Выборъ давно сдѣланъ—литература, искусство, педагогика, семья. Непослѣдовательность, робость, лѣнь, слабость—вотъ мои враги".

Изъ литературныхъ опытовъ этого года слѣдуетъ упомянуть о двухъ мало извѣстныхъ неизданныхъ произведеніяхъ Льва Николаевича. Онъ написалъ шуточную комедію, подъ заглавіемъ „Нигилистъ". Содержаніе такое: мужъ и жена, у нихъ учитель „нигилистъ". Мужъ ревнуетъ жену, и выходятъ разные qui pro quo. Кончается благополучно. Эта комедія была поставлена на домашнемъ спектаклѣ и прошла съ блестящимъ успѣхомъ. Мужа играла графиня С. А., жену — ея сестра Т. А. На сценѣ является богомолка-странница, которую играла сестра Л. Н—ча, гр. Марья Николаевна, такъ вошедшая въ свою роль, что на сценѣ импровизировала цѣлыя тирады. Кромѣ того, Л. Н—чъ тогда же написалъ комедію „Зараженное семейство" и въ январѣ 1864 года повезъ ее въ Москву, желая поставить на казенномъ театрѣ. Но такъ какъ сезонъ уже подходилъ къ концу, то ему это не удалось. Комедія эта до сихъ поръ лежитъ неизданной, въ руко-

писи. Раньше „Войны и мира“ Л. Н—чъ задумывалъ написать романъ „Декабристы“. Отрывки этого романа, напечатанные въ 3-мъ томѣ полнаго собранія сочиненій, снабжены слѣдующимъ примѣчаніемъ:

„Печатаемыя здѣсь три главы романа подъ заглавіемъ „Декабристы“ были написаны еще прежде, чѣмъ авторъ принялся за „Войну и миръ“. Въ то время онъ задумывалъ романъ, котораго главными дѣйствующими лицами должны быть декабристы, но не написалъ его, потому что, стараясь создать его, онъ невольно переходилъ мыслью къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описывать: семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныхъ имъ лицъ; наконецъ онъ остановился на времени войскъ съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ „Войнѣ и мирѣ“. Въ концѣ этого романа видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года“.

Время наполеоновскихъ войнъ недаромъ привлекло вниманіе Л. Н—ча. Историческій и психологическій анализъ этихъ событій привелъ его къ созданію особаго философскаго взгляда на исторію, и весь романъ является какъ бы дивной иллюстраціей къ этому взгляду. Для детальной разработки этой картины послужили, съ одной стороны, особое отношеніе автора къ жизни и духу русскаго народа, явившагося главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ этой эпопеѣ.

„ВОЙНА И МИРЪ“.

Писаніе „Войны и Мира“ было прервано самымъ неожиданнымъ трагическимъ образомъ. Вотъ какъ сообщаетъ объ этомъ несчастіи гр. С. А. своей сестрѣ: 1-го октября 1864 года. „..Лева поѣхалъ въ ненавистные тебѣ Телятинки съ борзыми и на Машкѣ, которая давно уже стояла. Вдругъ выскочилъ русакъ. Лева кричитъ: ату его! и пускается во весь духъ его травить Машка, не привычная къ охотѣ, ужасно быстрая въ скаку, натыкается на

очень узкую, но глубокую рытвину, перепрыгнуть не въ состояніи, спотыкается и падаетъ Лева падаетъ съ нея, ушибается, и рука его вывихнулась. Конечно, лошадь убѣжала, а Лева почти безъ памяти, съ ужасной болью въ рукѣ, остается на мѣстѣ. Кое-какъ собрался онъ съ силами, всталъ и поплелся; до шоссе было съ версту; какъ онъ дошелъ, одному Богу извѣстно". Въ концѣ концовъ Л. Н-чу московскіе врачи принуждены были сдѣлать операцію. Какъ только Л. Н—чъ немного оправился, онъ снова взялся за свой романъ. Но не будучи въ состояніи владѣть рукой, онъ диктовалъ его Татьянѣ Андреевнѣ. Вскорѣ онъ заключилъ условіе съ Катковымъ о напечатаніи его романа въ „Русскомъ Вѣстникѣ"; Катковъ платилъ ему по 300 руб. за печатный листъ. Кромѣ историческихъ документовъ и бесѣдъ съ людьми, помнящими описываемую эпоху, Л. Н—чу приходилось изучать и тѣ мѣста, гдѣ происходили великія событія.

Такъ, онъ осмотрѣлъ мѣстность Бородинскаго сраженія и самъ составилъ планъ его, который приложенъ къ роману. Два дня Левъ Николаевичъ ходилъ и ѣздилъ по той мѣстности, гдѣ за полстолѣтія до того пало болѣе ста тысячъ человѣкъ, а теперь красуется великолѣпный памятникъ съ золотыми надписями. Онъ дѣлалъ свои замѣтки и рисовалъ планъ сраженія, напечатанный впослѣдствіи въ романѣ „Война и миръ.

Онъ цѣлые дни проводилъ въ библіотекѣ Румянцевскаго музея, роясь въ цѣнныхъ архивахъ того времени, изучая масонскія книги, акты и рукописи.

Трудно себѣ представить всю ту гигантскую работу, которую пришлось выполнить Л. Н—чу при собираніи и разработкѣ и облеченіи въ художественную форму всего этого матеріала.

Многіе типы, кажущіеся намъ чуднымъ произведеніемъ художественной фантазіи, являются портретами, списанными съ натуры, послѣ глубокаго и серьезнаго изученія источниковъ.

Самъ Л Н—чъ говоритъ о своей исторической работѣ такъ: „Вездѣ, гдѣ въ моемъ романѣ говорятъ и дѣйствуютъ историческія лица, я не выдумывалъ, а пользовался матеріалами, изъ которыхъ у меня во время моей работы образовалась цѣлая библіотека книгъ, заглавія которыхъ я не нахожу надобности выписывать здѣсь, но на которыя

всегда могу сослаться". „Наташа" и та почти списана Л. Н. съ натуры. Много чертъ въ нее вошло изъ типа его свояченицы, меньшой сестры графини, теперь Татьяны Андреевны Кузьминской; вошли также въ нее и черты графини С. А. По ея словамъ, Л. Н—чъ такъ выражался про Наташу: „Я взялъ Таню, переголокъ ее съ Соней и вышла Наташа".

Вѣрной сотрудницей его была графиня Софья Андреевна, переписывавшая ему его черновики. Работа Л. Н—ча требовала постоянныхъ поправокъ и новой переписки. Такъ что работа, сдѣланная Софьей Андреевной, громадна,—подсчитать всѣ эти поправки и переписки невозможно.

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦѢНКА „ВОЙНЫ И МИРА".

В. П. Боткинъ въ письмѣ Фету отъ 26 марта 1868 г. изъ Петербурга говорилъ, что „успѣхъ Толстого дѣйствительно необыкновенный. Здѣсь всѣ читаютъ его, и не только читаютъ, но и приходятъ въ восторгъ. Заключая одну изъ своихъ критическихъ статей, Н. Н. Страховъ говорилъ такъ: „Полная картина человѣческой жизни. Полная картина тогдашней Россіи. Полная картина того, что называется исторіей и борьбой народовъ. Полная картина всего, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе. Вотъ что такое „Война и миръ". Нѣкоторые критики до того были увлечены помимо своей воли жизненной правдой произведенія, что неблагопріятный оборотъ въ жизни его героевъ принимали за личное оскорбленіе и обрушивались на Толстого бурными потоками осужденій и обличеній за то, что онъ смѣлъ, напримѣръ, не женить Ростова на Сонѣ и т. д. Или что Ростовъ не такъ совсѣмъ долженъ былъ сдѣлать предложеніе княжнѣ Маріѣ. Но часть критики не поняла и не оцѣнила по достоинству геніальнаго произведенія. Такъ, Н. В. Шелгуновъ, писалъ о „Войнѣ и мирѣ": „.. Еще счастье, что гр. Толстой не обладаетъ могучимъ талантомъ, что онъ живописецъ военныхъ пейзажей и солдатскихъ сценъ. Если бы къ слабой опытной мудрости гр. Толстого

придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на землѣ не нашлось бы такого сильнаго проклятія, которое бы слѣдовало на него обратить".

Д. И. Писаревъ въ „Отечественныхъ Запискахъ" въ статьѣ „Старое барство" говорилъ слѣдующее:

„Новый, еще не оконченный романъ гр. Толстого можно назвать образцовымъ произведеніемъ по части патологіи русскаго общества. Въ этомъ романѣ цѣлый рядъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, написанныхъ съ самымъ величественнымъ и невозмутимымъ эпическимъ спокойствіемъ, ставитъ и рѣшаетъ вопросъ о томъ, что дѣлается съ человѣческими умами и характерами при такихъ условіяхъ, которыя даютъ людямъ возможность обходиться безъ знаній, безъ энергіи и безъ труда".

Овсянико-Куликовскій въ одной изъ своихъ позднѣйшихъ статей возвеличиваетъ историческое значеніе „Войны и мира" до степени народнаго эпоса и называетъ „Войну и миръ" русскими „Иліадой и Одиссеей".

Философская идейная часть „Войны и мира" встрѣтила мало сочувствія въ публикѣ, еще меньше пониманія. Даже Н. Н. Страховъ, больше комментировавшій, чѣмъ критиковавшій „Войну и миръ", и тотъ, относясь сочувственно къ выраженнымъ въ романѣ идеямъ, говоритъ, что было бы лучше, если бы философія исторіи была выдѣлена въ отдѣльный трактатъ, отчего выиграла бы ясность выраженныхъ мыслей.

Только одинъ проф. Овсянико-Куликовскій въ своей книгѣ о Толстомъ призналъ единство всѣхъ элементовъ (художественнаго, историческаго и философскаго) „Войны и мира", ихъ взаимно дополняющее значеніе.

ЛЮБОВЬ КЪ БЛИЖНЕМУ И ВЗГЛЯДЫ НА ЗЕМЕЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.

Въ 1865 году Л. Н. Толстой еще продолжаетъ вести свой дневникъ. 7-го марта онъ кратко записываетъ: „Начинаю любить сына", а въ сентябрѣ 1864 г. со своею всегдашнею искренностью онъ записалъ: „Сынъ мало бли-

:покъ" Очевидно, что чувства Левина къ новорожденному сыну, описанныя въ „Аннѣ Карениной", списаны Л. Н. съ натуры, съ самого себя.

Порой Л. Н. охватывала жажда любви къ себѣ и другимъ. Очевидно, благополучная семейная жизнь не могла удовлетворить его. Она отвлекала его своей суетой отъ его внутренней работы, но не могла подавить въ немъ живущаго въ немъ строгаго судьи. Такъ, въ февралѣ 1865 года онъ писалъ Т. А. Берсъ: „Да, вотъ я разсуждаю ужъ 2-ой день, что очень грустно оттого, что на свѣтѣ всѣ эгоисты, изъ которыхъ первый я самъ. Я не упрекаю никого, но думаю, что это очень скверно и что нѣтъ эгоизма только между мужемъ и женой, когда они любятъ другъ друга. Мы живемъ теперь 2 мѣсяца одни одинешеньки съ дѣтьми, которые первые эгоисты, и никому до насъ дѣла нѣтъ. Въ Петербургѣ насъ забыли и въ Москвѣ, думаемъ, тоже. И самъ понемножку забываешь. Я не могу разсказать, что я хочу, но ты очень молода и потому, можетъ-быть, поймешь, а мнѣ два дня все это одно въ головѣ. И особенно Феты навели меня на эту мысль. Какъ хорошо тому жить и съ тѣмъ жить, кто умѣетъ любить! Ты, пожалуйста, напиши (все равно, правда или неправда ли), что ты насъ любишь — для насъ. Я Дорку (собачку) полюбилъ за то, что она не эгоистка. Какъ бы это выучиться такъ жить, чтобы всегда радоваться другому счастью".

Любопытна слѣдующая запись въ дневникѣ, рисующая взгляды Толстого на земельную собственность:

„1865 г. августа 18 го. Ясная Поляна. Всемірно-историческая задача Россіи состоитъ въ томъ, чтобы внести въ міръ идею общественнаго устройства поземельной собственности.

„La propriété — c'est le vol" останется больше истиной, чѣмъ истина англійской конституціи, до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать родъ людской. Эта истина абсолютная, но есть и вытекающія изъ нея истины относительныя — приложенія. Первая изъ этихъ относительныхъ истинъ есть воззрѣніе русскаго народа на собственность. Русскій народъ отрицаетъ собственность самую прочную, самую независимую отъ труда и собственность, болѣе всякой другой стѣсняющую право пріобрѣтенія собственности другими людьми, собственность поземельную.

Это не есть мечта—она фактъ, выразившійся въ общинахъ крестьянъ, въ общинахъ казаковъ. Эту истину понимаетъ одинаково ученый русскій и мужикъ, который говоритъ: пусть запишутъ насъ въ казаки и земля будетъ вольная. Эта идея имѣетъ будущность. Все это я видѣлъ во снѣ 13-го августа", заключаетъ свою запись Толстой.

Мы видимъ такимъ образомъ, что великая идея уничтоженія земельной собственности, распространяемая Толстымъ и вызвавшая его симпатіи къ проекту Генри Джорджа, зародилась еще сорокъ лѣтъ тому назадъ. Сонъ есть несомнѣнно отраженіе дѣйствительности. И если Л. Н. могъ видѣть или, вѣрнѣе, думать во снѣ съ такою ясностью, то это служитъ намъ доказательствомъ того, какъ напряженно занимала его эта мысль наяву.

Въ тихой яснополянской жизни были особыя, мѣстныя увеселенія. Съѣзжались родные, сосѣди и праздникъ Рождества проводили особенно весело. Порой эти увеселенія принимали неудержимый характеръ, особенно когда въ нихъ принималъ участіе Сергѣй Николаевичъ Толстой, со своей страстной, веселой артистической натурой.

Л. Н—чъ продолжалъ заниматься скульптурой и лѣпилъ бюстъ своей жены. Вѣроятно, онъ не кончилъ этой работы, такъ какъ она въ Ясной Полянѣ не сохранилась. Послѣдующіе годы протекаютъ безъ особо выдающихся событій.

ОТНОШЕНІЕ КЪ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

Лѣтомъ 1856 г. произошло событіе, въ которомъ и Л. Н-чу пришлось принимать участіе. Это событіе была казнь Шибунина, рядового пѣхотнаго полка, расположеннаго близъ Ясной Поляны. Л. Н. участвовалъ въ этомъ дѣлѣ, какъ защитникъ подсудимаго.

Начался судъ. Прочитали опредѣленіе о преданіи Шибунина военно-полевому суду, замѣнявшее собою обвинительный актъ, удостовѣрявшее, что подсудимый, питая злобу къ ротному командиру, давно задумалъ свое намѣреніе и осуществилъ только въ тотъ злополучный день

6-го іюня, для чего умышленно выпилъ полтора штофа водки. Судебное слѣдствіе скоро окончилось. Слово было предоставлено представителю обвиненія. Прокуроръ сказалъ сухую, совершенно формальную рѣчь, всю пересыпанную статьями закона, ссылкой на нихъ. Наступила очередь для защитника. Прошло нѣсколько мгновеній общаго напряженнаго вниманія, и Левъ Николаевичъ поднялся съ мѣста. Рѣчь его, увѣренная, спокойная, ясная, сразу настолько овладѣла общимъ вниманіемъ, что задніе ряды привстали и придвинулись къ переднимъ.

Но несмотря на всю силу этихъ аргументовъ, рядовой Шибунинъ былъ приговоренъ къ смертной казни чрезъ разстрѣляніе. Вѣсть объ ужасномъ приговорѣ съ быстротою молніи разнеслась среди окрестнаго населенія. Къ арестованному начали собираться цѣлыя толпы, слезно умолявшія караульнаго унтера „хоть однимъ глазкомъ взглянуть на несчастненькаго". Но просьбы ихъ были напрасны, и „несчастненькаго" не показывали имъ Народъ оставлялъ у караульнаго для Шибунина, кто что могъ съѣдобнаго, по своимъ средствамъ. Были и такіе, которые приносили большіе куски домашняго деревенскаго холста.

Казнь была совершена 9-го августа. Шибунинъ все время стоялъ съ потупленными глазами, ни одинъ мускулъ на лицѣ его не дрогнулъ; онъ шелъ твердымъ шагомъ, не говоря ни одного слова. Собралась около столба, къ которому былъ привязанъ Шибунинъ, масса народа. Женщины рыдали и падали въ обморокъ. По совершеніи казни народъ неудержимою волной бросился къ свѣжей могилѣ. Черезъ часъ явился кѣмъ-то приглашенный деревенскій священникъ, и началось почти непрерывное служеніе заказныхъ панихидъ. Къ вечеру на могилу были накиданы восковыя свѣчи, куски холста и мѣдные гроши. На слѣдующій день исторія съ панихидами повторилась. Даже изъ дальнихъ деревень сталъ собираться на эти панихиды народъ и несъ свою лепту. Дошла вѣсть и до мѣстнаго станового пристава. Онъ пріѣхалъ лично и приказалъ сравнять могилу казненнаго. Около опушки лѣса поставили деревенскій караулъ съ приказомъ не допускать любопытныхъ и служенія панихидъ. Можно себѣ представить, что дѣлалось въ душѣ Л. Н. при видѣ совершившагося передъ его глазами.

ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Осенью 69 года Левъ Николаевичъ закончилъ и сдалъ въ печать 6-й томъ „Войны и мира“ и почувствовалъ себя снова свободнымъ для новой дѣятельности На этотъ разъ онъ обратился снова къ педагогикѣ и со всей энергіей отдался этому дѣлу. Второй періодъ его педагогической дѣятельности имѣлъ характеръ вывода и приложенія тѣхъ данныхъ, которыя онъ добылъ въ первомъ періодѣ этой дѣятельности.

Въ 70 году онъ принялся за изученіе драмы, читаетъ Шекспира, Гёте, Мольера и собирается читать Софокла и Эврипида. Кромѣ того, онъ начинаетъ изучать греческій языкъ, въ нѣсколько мѣсяцевъ одолѣваетъ его настолько, что читаетъ à livre ouvert Ксенофонта и наконецъ переутомляется и заболѣваетъ.

Въ своихъ педагогическихъ занятіяхъ второго періода Левъ Николаевичъ не ограничился изданіемъ Азбуки; создавъ свою систему обученія, онъ рѣшилъ проводить ее въ практику, и, кромѣ домашней школы, гдѣ эта система практиковалась успѣшно, ему хотѣлось распространить ее и на сосѣднія школы. Для этого онъ собиралъ учителей къ себѣ въ усадьбу, и въ томъ самомъ флигелѣ, гдѣ помѣщалась первая Яснополянская школа, осенью 1873 года происходили засѣданія кружка созванныхъ Львомъ Николаевичемъ учителей, которымъ онъ объяснялъ свою систему и тутъ же провѣрялъ ее на собранныхъ изъ сосѣднихъ деревень неграмотныхъ дѣтяхъ.

АННА КАРЕНИНА.

Въ 1873 году умирала любимая тетушка Л Н., Ергольская. Она лежала въ своей комнатѣ на диванѣ, и старшій сынъ Л. Н., 10-тилѣтній Сергѣй, читалъ ей вслухъ повѣсти Пушкина. Софья Андреевна сидѣла тутъ же съ работой. Старушка задремала, и чтеніе остановилось. Книга Пушкина лежала на столѣ, открытая на той страницѣ, гдѣ на-

чинается разсказъ „Отрывокъ“. Въ это время вошелъ въ комнату Левъ Николаевичъ. Увидавъ книгу, онъ взялъ ее и прочелъ начало „Отрывка“: *Гости съѣхались на дачу*.. „Вотъ какъ надо начинать, сказалъ вслухъ Левъ Николаевичъ Пушкинъ нашъ учитель. Это сразу вводитъ читателя въ интересъ самаго дѣйствія. Другой бы сталъ описывать гостей, комнаты, а Пушкинъ прямо приступаетъ къ дѣлу“. Кто-то изъ присутствующихъ шутя предложилъ Льву Николаевичу воспользоваться этимъ началомъ и написать романъ. Л. Н—чъ удалился въ свою комнату и тутъ же набросалъ начало романа „Анны Карениной“, которая въ первомъ варіантѣ начиналась такъ: „Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ“, и потомъ уже Л. Н. приставилъ дѣйствительное начало романа, фразу, выражающую подмѣченный имъ психологическій законъ: „Всѣ счастливыя семьи похожи другъ на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“. Это было 19 марта 1873 г Романъ началъ печататься только съ января 1875 года, такъ какъ Л. Н. еще много поправлялъ въ корректурѣ. Романъ печатался въ четыре пріема въ началѣ 75, 76 и 77 годовъ и затѣмъ 8-я часть съ эпилогомъ вышла прямо отдѣльнымъ изданіемъ.

Интересъ, возбужденный въ обществѣ этимъ романомъ былъ огромный. Говорятъ, что московскія дамы засылали своихъ агентовъ въ университетскую типографію, гдѣ печатался романъ, чтобы выѣдать у наборщиковъ о дальнѣйшей судьбѣ героевъ романа.

Достоевскій, сдѣлалъ такую оцѣнку романа: „Анна Каренина“ есть совершенство какъ художественное произведеніе, подвернувшееся какъ разъ кстати, и такое, съ которымъ ничто подобное изъ европейскихъ литературъ въ настоящую эпоху не можетъ сравниться, а во-вторыхъ, и по идеѣ своей это уже нѣчто наше, свое, родное, и именно то самое, что составляетъ нашу особенность передъ европейскимъ міромъ, что составляетъ уже наше національное „новое слово“ или, по крайней мѣрѣ, начало его, — такое слово, котораго именно не слыхать въ Европѣ и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ея гордость

ПЕРЕДЪ ДУХОВНЫМЪ ПЕРЕРОЖДЕНІЕМЪ.

Къ началу 70-хъ годовъ у Л. Н. назрѣлъ вопросъ воспитанія дѣтей, литературныя работы уже не поглощали его такъ безъ остатка, какъ прежде, и семейно-хозяйственные интересы и связанныя съ ними заботы и хлопоты создали цѣлую новую область отношеній Въ концѣ 70 хъ годовъ во Л. Н— чѣ снова подымаются прежніе вопросы, мучившіе его до женитьбы, его внутренняя жизнь приближается къ кризису, и семейная жизнь надламывается, и 80 ые годы уже не представятъ цѣлости и гармоніи въ жизни его семьи.

Чувствуя необходимость поправить свое здоровье, онъ ѣдетъ на кумысъ, а по возвращеніи въ Ясную Поляну узналъ объ ужасномъ событіи, совершившемся безъ него Быкъ заболалъ на смерть одного изъ его работниковъ Было возбуждено судебное слѣдствіе, и Л. Н. былъ привлеченъ къ отвѣтственности. Дѣло это, въ которомъ Л. Н. юридически былъ только весьма отдаленной причиной, доставило Л. Н. много душевныхъ страданій.

„...Страшно подумать, страшно вспомнить о всѣхъ мерзостяхъ, которыя мнѣ дѣлали, дѣлаютъ и будутъ дѣлать... писалъ Л. Н. — Съ сѣдой бородой, шестью дѣтьми и съ сознаніемъ полезной и трудовой жизни, съ твердой увѣренностью, что я не виноватъ, съ презрѣніемъ, котораго я не могу не имѣть къ новымъ судамъ, сколько я ихъ видѣлъ съ однимъ желаніемъ, чтобы меня оставили въ покоѣ... Невыносимо жить въ Россіи — со страхомъ, что каждый мальчикъ, которому лицо мое не понравилось, можетъ заставить меня сидѣть на лавкѣ передъ судомъ, а потомъ въ острогѣ“...

1876 годъ начинается для Л. Н не весело. 1-го марта Л. Н—чъ пишетъ Фету: „... У насъ все не совсѣмъ хорошо. Жена не оправляется съ послѣдней болѣзни, кашляетъ, худѣетъ, — лихорадка, то мигрень А потому и нѣтъ у насъ въ домѣ благополучія и во мнѣ душевнаго спокойствія, которое мнѣ особенно нужно теперь для работы. Конецъ зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время“...

Въ этотъ періодъ начавшихся уже въ немъ религіозныхъ исканій Л Н—чъ увлекался музыкой, вѣроятно, находя въ ней нѣкоторое успокоеніе Къ этому же году

слѣдуетъ отнести знакомство Л. Н—ча съ однимъ замѣчательнымъ русскимъ человѣкомъ извѣстнымъ композиторомъ, Петромъ Ильичемъ Чайковскимъ.

Въ своихъ воспоминаніяхъ объ этомъ періодѣ жизни Л. Н. г. Берсъ такъ говоритъ о распредѣленіи времени дня Л. Н и объ его отношеніяхъ къ домашнимъ:

„Утромъ онъ приходилъ одѣваться въ свой кабинетъ, гдѣ я спалъ постоянно подъ гравированнымъ портретомъ извѣстнаго философа Шопенгауэра. Передъ кофе мы шли вдвоемъ на прогулку или ѣздили верхомъ купаться. Утренній кофе въ Ясной Полянѣ — едва ли не самый веселый періодъ дня. Тогда собирались всѣ. Оживленный разговоръ съ шуточками Льва Николаевича и планами на предстоящій день длится довольно долго, пока онъ не встанетъ со словами: „надо работать“, и уходитъ въ особую комнату со стаканомъ крѣпкаго чая. „Никто не долженъ былъ входить къ нему во время занятій. Даже жена никогда не дѣлала этого. Одно время такой привилегіей пользовалась старшая дочь его, когда была еще ребенкомъ. Откровенно говоря, я былъ всегда радъ тѣмъ днямъ, когда онъ не работалъ, потому что весь день находился въ его обществѣ. Нельзя передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое постоянно царило въ Ясной Полянѣ. Источникомъ его былъ всегда Левъ Николаевичъ. Въ разговорѣ объ отвлеченныхъ вопросахъ, о воспитаніи дѣтей. о внѣшнихъ событіяхъ его сужденіе было всегда самое интересное. Въ игрѣ въ крокетъ, въ прогулкѣ онъ оживлялъ всѣхъ своимъ юморомъ и участіемъ, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было также простой мысли и самаго простого дѣйствія, которымъ бы Л. Н.—чъ не умѣлъ придать интереса и вызвать къ нимъ хорошаго и веселаго отношенія въ окружающихъ“.

Другой близко знавшій Л. Н. человѣкъ кн. Д. Оболенскій такъ характеризовалъ Толстого: „Чѣмъ бы не увлекался Левъ Николаевичъ, все дѣлалъ онъ съ убѣжденіемъ, твердо вѣруя въ то, что дѣлаетъ, а увлекается онъ всегда во всю. Я помню гр. Л. Н—ча свѣтскимъ человѣкомъ, видалъ его на балахъ, и помню какъ то его замѣчаніе: „Посмотрите, сколько поэзіи въ бальномъ туалетѣ женщины, сколько изящества, сколько мысли, сколько прелести хотя бы въ приколотыхъ къ платью цвѣтахъ“. Я помню

его страстнымъ охотникомъ, пчеловодомъ и садоводомъ, помню его увлеченіе сельскимъ хозяйствомъ, сажающаго лѣса и плодовые сады, занятаго коневодствомъ и многимъ другимъ".

ДУХОВНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНІЕ.

1876 годъ слѣдуетъ считать началомъ коренного духовнаго перерожденія Л. Н. Толстого. Правда, эту дату можно принять началомъ перерожденія въ смыслѣ узкомъ, эпизодическомъ, ибо, строго говоря, кризисъ Л. Н. начался съ первыхъ дней его сознательной жизни

Повидимому еще въ 74-мъ году Л. Н—чъ задумалъ писать нѣчто подобное „Исповѣди", т.-е. произведеніе, выражающее мысль о необходимости религіи, какъ основы жизни. Въ его записной книжкѣ 1874 года находится такой набросокъ предисловія къ задуманной книгѣ:

„Есть языкъ философіи, я имъ не буду говорить. Я буду говорить языкомъ простымъ. Интересъ философіи общій всѣмъ и судьи всѣ. Философскій языкъ выдуманъ для противодѣйствія возраженію. Возраженія я не боюсь, я ищу. Я не принадлежу ни къ какому лагерю. И прошу читателей не принадлежать. Это первое условіе для философіи. Матеріалистамъ я долженъ возразить въ предисловіи. Они говорятъ, что, кромѣ земной жизни, ничего нѣтъ. Я долженъ возразить потому, что если бы это было такъ, то мнѣ бы и не о чемъ писать. Проживя подъ 50, я убѣдился, что земная жизнь ничего не даетъ, и тотъ умный человѣкъ, который вглядится въ земную жизнь серьезно: труды, страхъ, упреки, борьба, — зачѣмъ? родъ сумасшествія, тотъ сейчасъ застрѣлится, и Гартманъ... Шопенгауэръ правъ. Но Шопенгауэръ давалъ чувствовать, что есть что-то, отчего онъ не застрѣлился. Вотъ это-то что-то есть задача той книги. Чѣмъ мы живемъ? — Религія".

Религіозные вопросы все чаще и чаще захватываютъ его интересъ. Характерна слѣдующая замѣтка въ письмѣ графини С. А. къ ея сестрѣ, писанномъ въ сентябрѣ того же года: „Левочка постоянно говоритъ, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радуетъ, нечего больше

ждать отъ жизни". Старая жизнь для него дѣйствительно кончалась. Онъ несъ ее только уже по инерціи, но нужна была большая встряска душевная, чтобы быть въ состояніи сбросить ее.

Это заглядываніе „за предѣлы жизни" стало скоро для Л. Н—ча почти постояннымъ настроеніемъ души. Черезъ годъ онъ пишетъ Фету: „Вы въ первый разъ говорите мнѣ о Божествѣ—Богѣ. А я давно уже не перестаю думать объ этой главной задачѣ. И не говорите, что намъ нельзя думать; не только можно, но должно. Во всѣ вѣка лучшіе, т.-е. настоящіе, люди думали объ этомъ. И если мы не можемъ такъ же, какъ они, думать объ этомъ, то мы обязаны найти какъ".

Біографъ Л. Н.—П. И. Бирюковъ разсказываетъ: „Л. Н. метался отъ ужаса и, боясь конца, хотѣлъ приблизить его. Жизнь его держалась на волоскѣ, но какая то сила еще удерживала его, ему смутно казалось, что есть еще надежда найти разумный исходъ, и вотъ онъ обращается къ наукѣ опытной и наукѣ умозрительной, ища отвѣта на мучающіе его вопросы. Но ни въ той, ни въ другой наукѣ онъ отвѣта не находитъ. Опытное знаніе игнорируетъ вопросы о конечныхъ цѣляхъ существованія міра и человѣка. Добросовѣстныя же умозрительныя науки ставятъ эти вопросы, но отвѣта на нихъ не даютъ

Тогда онъ обращается къ классической мудрости, вопрошаетъ Сократа, Шопенгауэра, Соломона и Будду, и отвѣты ихъ только подтверждаютъ безнадежность его положенія. „Жизнь тѣла есть зло и ложь. И потому уничтоженіе этой жизни тѣла есть благо, и мы должны желать его", говоритъ Сократъ. „Жизнь есть то, чего не должно быть,—зло, и переходъ въ ничто есть единственное благо жизни", говоритъ Шопенгауэръ. „Все въ мірѣ и глупость, и мудрость, и богатство, и нищета, и веселье, и горе—все суета и пустяки. Человѣкъ умретъ и ничего не останется. И это глупо", говоритъ Соломонъ. „Жить съ сознаніемъ неизбѣжности страданій, ослабленія, старости и смерти нельзя,—надо освободить себя отъ жизни, отъ всякой возможности жизни", говоритъ Будда.

Итакъ исканіе отвѣта въ знаніяхъ не дало ему удовлетворенія, и его мученія продолжались.

Л. Н. смутно чувствовалось сомнѣніе въ истинности всѣхъ доводовъ, приводящихъ къ такой безнадежности,

такому отчаянію. Къ сомнѣнію приводили такого рода разсужденія: „Если мой разумъ—творецъ жизни, то какъ же онъ приводитъ меня къ отрицанію ея? Если же разумъ есть сынъ жизни, послѣдствіе ея, то тѣмъ болѣе, какъ можетъ онъ отрицать то, что породило его"?

Наконецъ, жизнь милліоновъ живущихъ и знающихъ разсужденія о тщетѣ жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ видящихъ смыслъ въ ней, не даетъ права легко рѣшиться на послѣднее, отчаянное средство—самоубійство. Всѣ эти смутные доводы Л. Н—чъ объединяетъ подъ однимъ названіемъ: „сознанія жизни". Эта сила спасла его. Она не дала ему убить себя и обратила его взоры на жизнь рабочаго народа. И когда онъ вглядѣлся въ жизнь народа, онъ увидалъ, что смыслъ жизни ему давала вѣра. Вѣра не основана на выводахъ разума, но она всеобща, гдѣ вѣра, тамъ жизнь. И потому она истинна. Вѣра есть знаніе смысла жизни. Вѣра есть сила жизни.

ВѢРА И „ИСПОВѢДЬ".

Л. Н. понялъ, что онъ заблудился, что *его* жизнь была зло, а не жизнь вообще. Онъ полюбилъ хорошихъ людей, возненавидѣлъ себя и призналъ истину. Чтобы понять жизнь, надо творить ее.

Этотъ моментъ жизни Л. Н—ча слѣдуетъ отнести къ 1878 году. Міръ сошелъ въ его душу, но процессъ еще не былъ законченъ. Онъ присталъ къ народной вѣрѣ. Но главная основа вѣры—Богъ еще не былъ для него ясенъ, онъ искалъ Его.

Во время этихъ исканій Л. Н—чъ замѣтилъ въ душѣ своей колебанія отъ полнаго отчаянія къ неизмѣримой радости бытія, и онъ замѣтилъ, кромѣ того, что эти колебанія совпадали съ рѣшеніемъ его разума и чувства объ отверженіи Бога или принятіи Его. И онъ сказалъ себѣ:

„Что же такое эти оживленія и умиранія? Вѣдь я не живу, когда теряю вѣру въ существованіе Бога; вѣдь я бы уже давно убилъ себя, если бы у меня не было смут-

ной надежды найти Его. Вѣдь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его, Такъ чего же я ищу еще?—воскликнулъ во мнѣ голосъ. Такъ вотъ Онъ. Онъ есть то, безъ чего нельзя жить. Знать Бога и жить—одно и то же. Богъ есть жизнь".

И онъ спасся отъ отчаянія, жизнь вернулась къ нему, та самая сила жизни, которая влекла его на первыхъ порахъ его жизни, только теперь она въ немъ стала сознательной.

Вѣра была найдена, оставалось очистить ее отъ наростовъ времени и невѣжества. И для него скоро ясно раздвоилось его отношеніе къ православной вѣрѣ. Сближеніе съ народомъ, странниками, сектантами, раскольниками, чтеніе житій святыхъ, пологовъ—давало смыслъ. Бесѣда же съ богословами вызывала только дурное чувство осужденія ихъ, отталкивала его отъ испов'ѣдуемой имъ вѣры, и жизнь снова начинала для него терять смыслъ.

Онъ понялъ, что тогда какъ для него и для народа вѣра есть смыслъ жизни, для богослововъ и вѣрующихъ высшаго круга вѣра есть исполненіе передъ людьми известныхъ человѣческихъ обязанностей, не задѣвающихъ самой основы жизни.

Въ двухъ вопросахъ онъ кореннымъ образомъ разошелся съ представителями церкви:

1) Отношеніе къ людямъ другихъ вѣръ, въ которыхъ онъ видѣлъ своихъ братьевъ, лишь инымъ путемъ пришедшихъ къ исповѣдуемой ими истинѣ, тогда какъ представители церкви видѣли въ нихъ злѣйшихъ враговъ своихъ.

2) Отношеніе къ насилію, казнямъ и войнамъ. Для него это было преступленія. И онъ отпалъ отъ церкви.

Но чтобы съ полнымъ сознаніемъ выйти изъ нея, отдѣлить въ христіанскомъ ученіи золото отъ песка, онъ подвергнулъ снова тщательному изслѣдованію и ученіе церкви и самый источникъ христіанскаго ученія — Евангеліе.

Зимой 1878 — 79 года Л. Н—чъ, уже просвѣщенный вѣрою, писалъ свою „Исповѣдь".

Вотъ какъ изображаетъ его настроеніе того времени графиня С. А. въ письмахъ къ своей сестрѣ: 8 ноября. „... Левочка же теперь совсѣмъ ушелъ въ свое писаніе. У него остановившіеся странные глаза, онъ почти ничего не

разговариваетъ, совсѣмъ сталъ не отъ міра сего и о житейскихъ дѣлахъ рѣшительно неспособенъ думать". 5 марта 1879 г. „...Левочка читаетъ, читаетъ, читаетъ... пишетъ очень мало, но иногда говоритъ: теперь уясняется, или: ахъ, если Богъ дастъ, то то, что я напишу, будетъ очень важно"!

Опубликовать свою „Исповѣдь" Л. Н. намѣревался въ 1882 году, для чего отдалъ рукопись въ журналъ „Рус. Мысль".

Но цензура запретила ее къ печати и она была вырѣзана изъ книжки „Русской Мысли" Вскорѣ она была напечатана за границей, въ Женевѣ, Эльпидинымъ, а затѣмъ переведена на всѣ европейскіе языки.

Это было первое сочиненіе Л. Н—ча, запрещенное русской цензурой и разошедшееся по всей Россіи въ тысячахъ копій, рукописныхъ, гектографіяхъ, литографіяхъ и другихъ тайныхъ воспроизведеніяхъ.

Лѣтомъ 1897 года Л. Н—чъ ѣздилъ въ Кіевъ и посѣтилъ Кіево-Печерскую лавру. Въ письмахъ къ С. А., писанныхъ съ дороги, попадаются такіе отзывы объ этой поѣздкѣ: 13 го іюня. „Кіевъ очень притягиваетъ меня". 14-го. „Все утро до 3-хъ ходилъ по соборамъ пещерамъ, монахамъ и очень недоволенъ поѣздкой. Не стоило того. Въ 7 час. пошелъ въ Лавру, къ схимнику Антонію, и нашелъ мало поучительнаго. Что дастъ Богъ завтра". Но и и завтра повторится то же разочарованіе. Очевидно, поѣздка эта не удовлетворила его и по всей вѣроятности способствовала скорѣйшему отпаденію его отъ православной церкви.

Какъ только Л. Н—чъ круто повернулъ свою жизнь или, вѣрнѣе, сталъ по мѣрѣ своихъ силъ осуществлять тѣ основы жизни, которыя всегда жили въ его душѣ, такъ его болѣе слабые друзья стали отставать отъ него и смотрѣть на него уже издали. Однимъ изъ первыхъ отсталъ Фетъ.

И Л. Н—чъ принимается за усердное чтеніе Евангелія. Это чтеніе вызвало въ немъ снова напряженную рабо у мысли и чувства, и результатомъ этой работы явилось произведеніе, названное имъ такъ: „Соединеніе и переводъ 4-хъ Евангелій"

„Истина евангельскаго ученія,—говоритъ Л Н—чъ,—не нуждается въ доказательствахъ".

Окончивъ изслѣдованіе Евангелія, извлекши изъ него существенныя основы христіанства, Л. Н—чъ получилъ огромное удовлетвореніе своихъ стремленій, и его умственная и душевная дѣятельность направилась, съ одной стороны, на изложеніе въ положительномъ смыслѣ своего міросозерцанія и, съ другой стороны, на проведеніе этого міросозерцанія въ свою личную жизнь. Оглянувшись вокругъ себя, онъ ужаснулся передъ той пропастью, которая отдѣляла усвоенныя имъ и его окружающими формы жизни отъ того идеала, который предсталъ передъ нимъ во всей своей ослѣпительной чистотѣ.

Общественная и политическая жизнь также поразила его рѣзкими контрастами съ тѣмъ ученіемъ, которое на словахъ исповѣдуется такъ называемымъ христіанскимъ обществомъ.

Въ Россіи наступало смутное время, и первый громъ грянулъ 1-го марта 1881 года.

ПИСЬМО КЪ ИМП. АЛЕКСАНДРУ III.

Въ 1881 году Л. Н. находился еще въ исключительныхъ обстоятельствахъ—говоритъ П. И. Бирюковъ.—Какъ видно изъ предыдущихъ главъ, въ немъ только-что закончился душевный кризисъ и была имъ окончена большая, радостная для него работа надъ изученіемъ Евангелія, въ которомъ ему удалось схватить самую сущность ученія Христа, ученіе о любви, смиреніи и прощеніи, и сознаніе этого открывшагося ему свѣта дѣлало его особенно чувствительнымъ къ страданіямъ людей и ко всѣмъ отступленіямъ людей отъ божескихъ законовъ. Онъ смотрѣлъ на весь окружающій его міръ съ высоты Нагорной проповѣди.

Находясь въ такомъ настроеніи, конечно, онъ не могъ сочувствовать казни, совершенной надъ Александромъ II. Но онъ не могъ также примириться и съ слѣдовавшими за ней казнями убійцъ Александра II.

Вотъ что, между прочимъ, писалъ Л. Н. Имп. Александру III.

„Ваше Императорское Величество—писалъ Л. Н.—Я,

ничтожный, не призванный и слабый, плохой человѣкъ, пишу русскому Императору и совѣтую ему, что ему дѣлать въ самыхъ сложныхъ, трудныхъ обстоятельствахъ, которыя когда-либо бывали. Я чувствую, какъ это странно, неприлично, дерзко, и все-таки пишу. Я думаю себѣ: ты напишешь, письмо твое будетъ не нужно, его не прочтутъ, или прочтутъ и найдутъ, что это вредно, и накажутъ тебя за это. Вотъ и все, что можетъ быть. И дурного въ этомъ для тебя не будетъ ничего такого, въ чемъ бы ты раскаялся. Но если ты не напишешь и потомъ узнаешь, что никто не сказалъ царю то, что ты хотѣлъ сказать, и что царь потомъ, когда уже ничего нельзя будетъ перемѣнить, подумаетъ и скажетъ: „если бы тогда кто нибудь сказалъ мнѣ это",—если это случится такъ, то ты вѣчно будешь раскаиваться, что не написалъ того, что думалъ. И потому я пишу Вашему Величеству то, что я думаю.

„Вы стоите на распутьи. Нѣсколько дней, и если восторжествуютъ тѣ, которые говорятъ и думаютъ, что христіанскія истины только для разговоровъ, а въ государственной жизни должна проливаться кровь и царствовать смерть, Вы навѣки выйдете изъ того блаженнаго состоянія чистоты и жизни съ Богомъ и вступите на путь тьмы государственныхъ необходимостей, оправдывающихъ все и даже нарушеніе закона Бога для человѣка.

„Не простите, казните преступниковъ, Вы сдѣлаете то, что изъ числа сотенъ Вы вырвете трехъ, четырехъ, и зло родитъ зло, и на мѣсто трехъ, четырехъ вырастутъ 30, 40, и сами навѣки потеряете ту минуту, которая одна дороже всего вѣка,—минуту, въ которую Вы могли бы исполнить волю Бога и не исполнили ея и сойдете навѣки съ того распутья, на которомъ Вы могли выбрать добро вмѣсто зла, и навѣки завязнете въ дѣлахъ зла, называемыхъ государственной пользой (Мо. 5, 25).

„Простите, воздайте добромъ за зло, и изъ сотенъ злодѣевъ десятки перейдутъ отъ дьявола къ Богу и у тысячъ, у милліоновъ дрогнетъ сердце отъ радости и умиленія при видѣ примѣра добра съ престола въ такую страшную для сына убитаго отца минуту.

„Государь! Если бы Вы сдѣлали это, позвали этихъ людей, дали бы имъ денегъ и услали ихъ куда-нибудь въ Америку и написали бы манифестъ съ словами вверху: „а

Я говорю: любите враговъ своихъ", не знаю, какъ другіе, но я, плохой вѣрноподданный, былъ бы собакой, рабомъ Вашимъ. Я бы плакалъ отъ умиленія, какъ я теперь плачу всякій разъ, когда бы я слышалъ Ваше имя. Да что я говорю: „не знаю, что другіе"! Знаю, какимъ бы потокомъ разлились бы по Россіи добро и любовь отъ этихъ словъ.

„Истины Христовы живы въ сердцахъ людей, и одинѣ онѣ живы, и любимъ мы людей только во имя этихъ истинъ.

„И Вы, царь, провозгласили бы не словомъ, а дѣломъ эту истину. „Что такое революціонеры? Это люди, которые ненавидятъ существующій порядокъ вещей, находятъ его дурнымъ и имѣютъ въ виду основы для будущаго порядка вещей, который будетъ лучше.

„Убивая, уничтожая ихъ, нельзя бороться съ ними. Не важно ихъ число, а важны ихъ мысли. Для того, чтобы бороться съ ними, надо бороться духовно. Ихъ идеалъ есть общій достатокъ, равенство, свобода; чтобы бороться съ ними, надо поставить противъ нихъ идеалъ такой, который бы былъ выше ихъ идеала, включалъ бы въ себя ихъ идеалъ. Французы, англичане теперь борются съ ними и такъ же безуспѣшно

„Есть только одинъ идеалъ, который можно противопоставить имъ,—тотъ, изъ котораго они выходятъ, не понимая его и кощунствуя надъ нимъ,—тотъ, который включаетъ ихъ идеалъ, идеалъ любви, прощенія и воздаянія добра за зло. Только одно слово прощенія и любви христіанской, сказанное и исполненное съ высоты престола, и путь христіанскаго царствованія, на который предстоитъ вступить Вамъ, можетъ уничтожить то зло, которое точитъ Россію. Какъ воскъ отъ лица огня, растаетъ всякая революціонная борьба передъ царемъ-человѣкомъ, исполняющимъ законъ Христа.

Левъ Толстой".

Письмо это долго странствовало. Л. Н. пришло сначала на мысль передать письмо черезъ Побѣдоносцева. Къ этому его побудило воспоминаніе о добромъ отношеніи Поб[illegible]ева къ одному замѣчательному человѣку, временно бывшему близкимъ по духу Л. Н—чу, именно къ А. К. Малышеву. Но Побѣдоносцевъ письма не передалъ и возвратилъ его.

Получивъ обратно письмо Л. Н. къ царю, Н. Н. Страховъ сдѣлалъ еще попытку довести его до свѣдѣнія государя, и черезъ профессора Константина Бестужева-Рюмина передалъ его великому князю Сергѣю Александровичу для передачи Александру III.

Л. Н. стало извѣстно, что оно было передано царю, но о дальнѣйшей судьбѣ его онъ ничего не зналъ.

НОВОЕ МІРОВОЗЗРѢНІЕ.

Л. Н. вступилъ въ 80-е годы обновленный душою, съ новымъ жизнепониманіемъ, съ новымъ взглядомъ на свой внутренній и на внѣшній, окружавшій его міръ. А міръ этотъ оставался все тотъ же, и потому столкновеніе съ нимъ стало неизбѣжно, и послѣдующая жизнь Л. Н. представляетъ цѣлый рядъ этихъ столкновеній, эпизодовъ борьбы съ міромъ, часто побѣды надъ нимъ и иногда отступленій; но онъ всегда съ самообладаніемъ переживалъ эти удары и возвращался въ свое религіозное спокойствіе духа, съ теченіемъ времени все менѣе и менѣе нарушаемое.

Прежніе друзья его, члены его семьи и многіе общественные дѣятели не могли слѣдовать за нимъ по пути его развитія и продолжали относиться къ нему съ прежними интересами и требованіями и, видя равнодушіе его или отрицательное отношеніе къ нимъ, чувствовали боль, не находя участливаго отзыва въ любимомъ человѣкѣ и, смотря по высотѣ ихъ нравственнаго уровня, или внимательно прислушивались къ новымъ тонамъ его души, или переносили на него свою горечь и обвиняли его въ безсердечіи, безразличіи, квіетизмѣ, а болѣе легкомысленные и злонамѣренные поднимали вопросъ о состояніи его психики и о томъ, не слѣдуетъ ли оградить общество отъ его вреднаго вліянія?

Въ этотъ періодъ Л. Н. совершилъ поѣздку въ самарское имѣніе. Поводомъ были хозяйственныя дѣла. Но Л. Н. уже не могъ заниматься ими со спокойной совѣстью. Онъ постоянно видѣлъ контрастъ богатства и бѣдности, праздности и труда. И не будучи въ состояніи отдаться вто-

рому, онъ не могъ съ увлеченіемъ продолжать и перваго и томился и искалъ исхода.

Когда онъ вернулся домой, мечты его объ участіи въ общей семейной жизни сразу разлетѣлись. Самарская жизнь всегда была дорога Л. Н. своей первобытной простотой, и, окунувшись въ нее, снова испытавъ ея прелесть, Л. Н. еще сильнѣе почувствовалъ тотъ невыносимый ему тонъ праздности и роскоши, который охватывалъ порою Ясную Поляну. Тамъ былъ въ это время съѣздъ гостей и готовился любительскій спектакль. И въ дневникѣ Л. Н. появляется мрачная запись:

18 августа. „Театръ. Пустой народъ. Изъ жизни вычеркнуты дни 19, 20, 21". 22 августа Л. Н. посѣтилъ Тургеневъ, который, увлекшись общимъ безшабашнымъ весельемъ собравшейся молодежи, къ удивленію всѣхъ, протанцовалъ въ залѣ парижскій канканъ. Въ этотъ день въ дневникѣ Л. Н. появилась краткая запись: „Тургеневъ—cancan. Грустно. Встрѣча народа на дорогѣ радостная".

Все это время у Л. Н. было тяжело на душѣ. Семья его собиралась на зиму въ городъ, и это очень безпокоило его, но противиться этому онъ не чувствовалъ въ себѣ силы.

1 сентября онъ поѣхалъ въ Пирогово къ брату. 2-го вернулся оттуда и пишетъ въ дневникѣ: „Умереть часто хочется. Работа не забираетъ".

Въ половинѣ сентября 1881 года вся семья Толстого перебралась въ Москву. Для Л. Н. это было большое испытаніе. 5 октября онъ пишетъ въ своемъ дневникѣ: „Прошелъ мѣсяцъ. Самый мучительный въ моей жизни. Переѣздъ въ Москву. Всѣ устраиваются, когда же начнутъ жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что такъ люди. Несчастные. И нѣтъ жизни. „Вонь, камни, роскошь, нищета, развратъ. Собрались злодѣи, ограбившіе народъ, ... и— пируютъ. Народу больше нечего дѣлать, какъ, пользуясь страстями этихъ людей, выманивать у нихъ назадъ награбленное. Мужики на это ловчѣе. Бабы дома, мужики трутъ полы и тѣла въ баняхъ и ѣздятъ извозчиками".

Какъ же относились къ угнетенному самочувствію Л. Н. близкіе, любящіе его люди?

Вотъ выписка изъ письма графини Софьи Андреевны: 14 октября 1881 года. Москва. „... Завтра мѣсяцъ какъ

мы тутъ, и я никому ни слова не писала. Первыя двѣ недѣли я ежедневно плакала, потому что Левочка впалъ не только въ уныніе, но даже въ какую-то отчаянную апатію. Онъ не спалъ и не ѣлъ, самъ à la lettre плакалъ иногда, и я думала, просто, что я съ ума сойду. Ты бы удивилась, какъ я тогда измѣнилась и похудѣла".

Въ январѣ 1882 года Москва готовилась къ трехдневной переписи, назначенной на 23, 24 и 25 января. Льву Николаевичу пришло на мысль воспользоваться переписью, при которой счетчиками и ихъ руководителями будетъ обнаружена вся московская нищета, и предложить этимъ людямъ изъ московскаго интеллигентнаго общества не прерывать завязаннаго такимъ образомъ общенія, а продолжать его и увлечь другихъ для братской любовной помощи городской нуждѣ.

И онъ написалъ извѣстную статью „О переписи" и вслѣдъ за этимъ въ своей книгѣ, озаглавленной: „Такъ что же намъ дѣлать?", Л. Н. съ неподражаемой искренностью высказался по вопросу о благотворительности.

Что такое благотворительность, Л. Н. понялъ изъ слѣдующаго случая:

Однажды вечеромъ, въ субботу, плотникъ Семенъ, съ которымъ Левъ Николаевичъ пилилъ дрова, подходя къ Дорогомиловскому мосту, подалъ старику-нищему три копѣйки и спросилъ двѣ копѣйки сдачи Старикъ показалъ на рукѣ двѣ трехкопѣечныя и одну копѣйку. Семенъ посмотрѣлъ, хотѣлъ взять копѣйку, но потомъ раздумалъ, снялъ шапку, перекрестился и прошелъ, оставивъ старику три копѣйки.

У Семена, какъ извѣстно было Льву Николаевичу, сбереженіе равнялось 6 рублямъ 50 копѣйкамъ, а у него, Льва Николаевича, 600 тысячъ рублей. „Семенъ, подумалъ онъ, далъ 3 копѣйки, а я 20. Что же далъ онъ и что я. Что бы я долженъ былъ дать, чтобы сдѣлать то, что сдѣлалъ Семенъ? У него было 600 копѣекъ, онъ далъ изъ нихъ одну и потомъ еще двѣ. У меня было 600 тысячъ. Чтобъ дать то, что Семенъ, мнѣ надо дать 3.000 рублей и просить 2 000 сдачи, и если бы не было сдачи, оставить и эти двѣ тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о томъ, какъ живутъ на фабрикахъ и почемъ печенка на Смоленскомъ".

Нельзя было не сдѣлать послѣдняго потрясающаго вывода изъ этого разсчета:

„Я дамъ 100 тысячъ и все не стану въ то положеніе, въ которомъ можно дѣлать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысячъ. Только когда у меня ничего не будетъ, я въ состояніи дѣлать хоть маленькое добро. То, что съ перваго раза сказалось мнѣ при видѣ голодныхъ и холодныхъ у Ляпинскаго дома, именно то, что я виноватъ въ этомъ, и что такъ жить, какъ я живу, нельзя, и нельзя, и нельзя—это было одно правда".

Все зданіе, воздвигнутое съ такою мукою, съ такимъ отчаяннымъ напряженіемъ силъ, сразу обвалилось, рухнуло—и снова пришлось ему обличать себя и всенародно каяться:

„Я весь разслабленный, ни на что негодный паразитъ. И я, та вошь, пожирающая листъ дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лѣчить его".

Только теперь, казалось ему, понялъ онъ слово Христа: тотъ, кто не оставитъ всего—и дома, и дѣтей, и полей—для того, чтобы идти за Нимъ, тотъ не Его ученикъ.

И новый переворотъ, новое перерожденіе совершилось въ немъ.

„Раздай имущество, иди за Христомъ".

Л. Н. стало ясно, что онъ не только „возненавидѣлъ себя" и не нашелъ истины, какъ думалъ, когда писалъ „Исповѣдь", но и не начиналъ ее искать. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ увѣрился, что на этотъ разъ уже окончательно и навсегда все стало для него яснымъ и осуществленіе новой истины казалось ему простымъ: „стоитъ только человѣку не желать имѣть земли и денегъ", чтобы войти въ царствіе Божіе. Онъ убѣдился, что зло, отъ котораго міръ погибаетъ—собственность—„не есть законъ судьбы, воля Бога или историческая необходимость, а есть суевѣріе, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное", и что освободиться отъ этого суевѣрія, разрушить его такъ же легко, какъ „разрушить слабую паутину".

И онъ рѣшилъ исполнить заповѣдь Христа, покинуть все—и домъ и дѣтей и поля, раздать свои 600 тысячъ и сдѣлаться нищимъ, чтобы имѣть право дѣлать добро.

„Объ отношеніи къ своему состоянію, сообщаетъ Берсъ, Левъ Николаевичъ говорилъ мнѣ, что онъ хо-

тѣлъ избавиться отъ него, какъ отъ зла, которое тяготило его при его убѣжденіяхъ; но онъ поступалъ сначала неправильно, желая перенести это зло на другого, то-есть *непремѣнно раздать его*, и этимъ породилъ другое зло, а именно—*энергическій протестъ и большое неудовольствіе своей жены*. Вслѣдствіе этого протеста онъ предлагалъ ей перевести все состояніе на ея имя, и когда она отказалась, онъ то же, и безуспѣшно, предлагалъ своимъ дѣтямъ".

Еще, однако, поразительнѣе то, что сообщаетъ Берсъ о чувствахъ „переродившагося" Л. Толстого къ женѣ: „Теперь къ женѣ своей Левъ Николаевичъ относится съ оттѣнкомъ требовательности, упрека и даже неудовольствія, обвиная ее въ томъ, что она препятствуетъ ему раздать состояніе и продолжаетъ воспитывать дѣтей въ прежнемъ духѣ. Жена его, въ свою очередь, считаетъ себя правою и сѣтуетъ на такое отношеніе къ ней мужа. Въ ней поневолѣ развились страхъ и отвращеніе къ ученію (толстовскому), послѣдствіямъ его. Между ними даже установился тонъ взаимнаго противорѣчія, въ которомъ слышатся жалобы другъ на друга. Раздать состояніе чужимъ людямъ и пустить дѣтей по міру, когда никто не хочетъ исполнять того же, она не только не находитъ возможнымъ, но и считала своимъ долгомъ воспрепятствовать этому, какъ мать.

— Мнѣ теперь трудно,—писала объ этомъ времени С. А.—я все должна дѣлать одна, тогда какъ прежде была только помощницей. Состояніе и воспитаніе дѣтей—все на моихъ рукахъ. Меня же обвиняютъ за то, что я дѣлаю это и не иду просить милостыню! Неужели я не пошла бы съ нимъ, если-бъ у меня не было малыхъ дѣтей? А онъ все забылъ для своего ученія".

„Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояніе для дѣтей, *готова была просить власти объ учрежденіи опеки надъ его имуществомъ*".

„ДА ИЛИ НѢТЪ".

Итакъ, Толстой отказался отъ собственности и рѣшилъ слѣдовать за Христомъ. По этому поводу Д. Мережковскій говорилъ въ извѣстной своей книгѣ:

„Мы знаемъ, какъ поступали въ такихъ же точно случаяхъ христіанскіе подвижники прошлыхъ вѣковъ. Когда Пьетро Бернардоне, отецъ св. Франциска Ассизскаго, подалъ епископу жалобу, обвиняя сына въ томъ, что онъ расточаетъ имѣніе, хочетъ раздать его бѣднымъ, Францискъ, снявъ съ себя одежду до послѣдней рубашки, сложилъ платье вмѣстѣ съ деньгами къ ногамъ отца и сказалъ: „до сей поры называлъ я Пьетро Бернардоне отцомъ моимъ. Но теперь, желая послужить Богу, возвращаю этому человѣку все, что я взялъ отъ него, и отнынѣ буду говорить: не отецъ мой Пьетро Бернардоне, а Господь небесный мой Отецъ". И совершенно голымъ, какимъ вышелъ изъ утробы матери, прибавляетъ легенда, бросился Францискъ въ объятія Христа.

„Такъ же поступилъ любимый русскимъ народомъ угодникъ, Алексѣй Божій человѣкъ, тайно бѣжавшій изъ родительскаго дома. Такъ и донынѣ поступаютъ всѣ русскіе подвижники, пожелавшіе исполнить заповѣдь Христа: кто не покинетъ и дома, и полей, и дѣтей во имя Мое, тотъ не достоинъ Меня.

Роздалъ Власъ свое имѣніе,
Самъ остался босъ и голъ
И сбирать на построеніе
Храма Божьяго пошелъ...
Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла.
. . . . . .
Съ той поры мужикъ скитается
Вотъ ужъ скоро тридцать лѣтъ,
Подаяніемъ питается,
Строго держитъ свой обѣтъ.

„Такъ вотъ, что должно было совершиться: всякій писатель русской земли долженъ былъ сдѣлаться подвижникомъ русскаго народа — явленіе небывалое, единственное въ нашей культурѣ—снова найденный религіозный путь черезъ бездну, вырытую Петровскимъ преобразованіемъ между нами и народомъ.

„Недаромъ взоры людей съ такою жадностью устре-

мѣны на него — не только на все, что онъ пишетъ, но еще гораздо больше на все, что онъ дѣлаетъ, на самую частную, внутреннюю, семейную и домашнюю жизнь его. Нѣтъ, тутъ не одно праздное любопытство. Тутъ слишкомъ важное для всѣхъ насъ, для всего будущаго русской культуры. Тутъ уже никакое опасеніе быть нескромнымъ не должно насъ удерживать. Не самъ ли онъ сказалъ: „у меня нѣтъ никакихъ тайнъ ни отъ кого на свѣтѣ— пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю".

Что же онъ дѣлаетъ?

„Не желая противиться женѣ насиліемъ, говоритъ Берсъ, онъ сталъ относиться къ своей собственности такъ, какъ будто ея не существуетъ, и отказался отъ своего состоянія, сталъ игнорировать его судьбу и пересталъ имъ пользоваться, если не считать того, что онъ живетъ подъ кровлею Яснополянскаго дома". Конечно, Христосъ насилія не проповѣдывалъ. Онъ не требовалъ, чтобы человѣкъ отнималъ имѣніе у жены и дѣтей, чтобы раздать его бѣднымъ, но онъ дѣйствительно требовалъ—и какъ точно, какъ ясно — чтобы, если нельзя человѣку освободиться иначе отъ собственности, онъ покинулъ вмѣстѣ со своими полями, домомъ, имѣніемъ и жену, и дѣтей, взялъ крестъ свой и шелъ за Нимъ, чтобы онъ по крайней мѣрѣ понялъ до конца это слово: „враги человѣку домашніе его".

Но вѣдь это свыше силъ человѣческихъ, это—возстаніе на собственную плоть и кровь? „Онъ старается закрывать глаза и весь уходитъ въ исполненіе своей программы жизни. Онъ не хочетъ видѣть денегъ, по возможности избѣгаетъ даже брать ихъ въ руки и никогда не носитъ при себѣ" (Анна Сейронъ). И ему настолько удалось примирить волю жены съ волею Бога, что „въ послѣднее время, замѣчаетъ Берсъ, Софья Андреевна стала относиться спокойнѣе къ ученію своего мужа—она свыклась". Такъ вотъ новый способъ, оставаясь верблюдомъ, проходить сквозь игольное ушко — „не брать денегъ въ руки", „не носить ихъ при себѣ" и „закрывать глаза".

И, основываясь на этихъ данныхъ, Мережковскій патетически восклицалъ: „полно, не иронія ли это, не самая ли злая насмѣшка надъ нимъ, надъ нами и надъ ученіемъ Христа? И ежели это имѣетъ какой-нибудь смыслъ передъ судомъ человѣческимъ, то передъ Божьимъ судомъ, что же,

наконецъ, исполнилъ ли онъ заповѣдь Христа или не исполнилъ, роздалъ ли имѣніе или не роздалъ? Тутъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ, не можетъ быть середины, тутъ одно: или да, или нѣтъ".

— Да!—отвѣтилъ Левъ Николаевичъ Толстой своимъ уходомъ, запечатлѣлъ смертью и это „да" онъ скажетъ и предъ престоломъ Всевышняго.

Источники, на основаніи которыхъ составленъ біографическій очеркъ Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой—Полное собраніе сочиненій.

П. Бирюковъ—Левъ Николаевичъ Толстой. Біографія. Т. I и II. Москва 1905—1908.

Международный альманахъ о Толстомъ, составленный П. Сергѣенко. Москва 1909.

П. Сергѣенко — Какъ живетъ и работаетъ Л. Н. Толстой. Москва 1898.

Л. Н. Толстой—Краткая біографія—Русская библіотека, выпускъ IX. СПБ. 1879.

Р. Левенфельдъ—Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочиненія. Переводъ съ нѣмецкаго А. В Перелыгиной. Москва 1897.

С. А. Берсъ—Воспоминанія о гр. Л. Н. Толстомъ. Смоленскъ. 1894.

Д. Мережковскій—Л. Толстой и Достоевскій. Т. I и II. СПБ. 1909.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій—Собраніе сочиненій, т. III, Л. Н. Толстой. СПБ. 1910.

Д. В. Григоровичъ—Литературныя воспоминанія. Полное собр. соч. Т. XII.

А. Фетъ—Мои воспоминанія 1848—1889 гг. Москва 1890.

И. П. Панаевъ—Литературныя воспоминанія. СПБ. 1888.

И. С. Тургеневъ — Первое собраніе писемъ. 1840—1883. Изд. Литер. фонда. СПБ. 1885.

Н. П. Загоскинъ—Гр. Л. Н. Толстой и его студенческіе годы. Истор. Вѣстн. кн. I. 1894.

А. Е. Головачева-Панаева—Русскіе писатели и артисты. Воспоминанія 1824—1870 гг. СПБ. 1890.

Брокгаузъ и Ефронъ—Энциклопедическій словарь.

Начало новой жизни

Л. Н. Толстого.

ОТЪѢЗДЪ ИЗЪ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ.

29 октября 1910 года близкій родственникъ Л. Н. Толстого кн. Д. Д. Оболенскій напечаталъ въ газетахъ слѣдующія телеграммы:

„Въ тулѣ распространился престранный слухъ. Пріѣхавшій изъ Ясной Поляны посланный разсказалъ, что вчера, 28 октября, въ 5 ч. утра, Левъ Николаевичъ Толстой ушелъ изъ дома съ докторомъ Маковецкимъ и вторыя сутки неизвѣстно гдѣ находится; графиня Софья Андреевна въ отчаяніи. Левъ Николаевичъ Толстой оставилъ ей письмо, что онъ рѣшился послѣдніе дни своей жизни провести въ одиночествѣ. Сосѣди подтверждаютъ этотъ слухъ".

„Въ Ясной Полянѣ узналъ, что слухъ, сообщенный вамъ объ отъѣздѣ гр. Толстого, вѣренъ. Въ письмѣ, оставленномъ графинѣ, онъ пишетъ, что не можетъ далѣе жить, окруженный роскошью, и какъ многіе старики, удаляется изъ мірской жизни въ полное уединеніе. Проситъ не искать его и не пріѣзжать, если откроется его мѣстопребываніе, и простить причиняемое огорченіе".

На другой день кн. Оболенскій, пріѣхавъ въ Ясную Поляну, узналъ о внезапномъ отъѣздѣ Толстого такія подробности: 28-го октября, около 3-хъ часовъ ночи, Софья Андреевна, проснувшись, услыхала рядомъ въ комнатѣ, гдѣ спалъ Левъ Николаевичъ, его характерные шаги. Нѣсколько обезпокоенная за здоровье мужа, графиня встала и заглянула къ нему.

Левъ Николаевичъ ходилъ по комнатѣ и на ея вопросъ отвѣтилъ, что онъ принимаетъ содовые порошки. Затѣмъ попросилъ ее итти спать и самъ затворилъ за нею дверь.

Какъ оказалось послѣ, Левъ Николаевичъ въ это время, съ помощью доктора Маковецкаго, уже собиралъ кое-какія нужныя для дороги вещи. Уложившись, они тихо вышли изъ дому, распорядились спѣшно заложить лошадей и поѣхали на стацію „Щекино". По словамъ кучера, Левъ Николаевичъ страшно торопился. На станціи „Щекино" Л. Н. взялъ билеты до одной изъ ближайшихъ станцій Московско-Курской жел. дор. и уѣхалъ съ первымъ проходившимъ мимо станціи поѣздомъ.

Послѣ разговора съ мужемъ, графиня крѣпко заснула и проснулась только въ десятомъ часу. Не видя Льва Николаевича, она отправилась въ его комнату и тамъ нашла его письмо. Въ немъ Л. Н. писалъ, что содержаніе письма, конечно, огорчитъ ее, что онъ давно съ трудомъ переносилъ роскошь, его окружающую, противъ которой онъ всегда ополчался. По примѣру многихъ стариковъ, онъ рѣшилъ уйти изъ міра и окончить дни свои въ полномъ уединеніи. Дальше Л. Н. проситъ не искать его, а если все-таки мѣстопребываніе его будетъ открыто, то не пріѣзжать къ нему и тѣмъ не усиливать взаимнаго огорченія. Въ заключеніе—просьба простить за причиненное имъ огорченіе и, если въ чемъ еще онъ виноватъ передъ нею, тоже простить его. Онъ, съ своей стороны, также прощаетъ ей все.

Въ Ясной Полянѣ произошло страшное смятеніе. Софья Андреевна покушалась на самоубійство, бросившись въ прорубь, но была спасена дочерью. Послѣ этого она вторично покушалась на самоубійство, но снова была спасена. Успокоивало всѣхъ нѣсколько то, что Л. Н. уѣхалъ не одинъ, а съ очень преданнымъ ему докторомъ Душаномъ Петровичемъ Маковецкимъ. Съ словакомъ Маковецкимъ Л. Н. сошелся сначала по перепискѣ, а года четыре назадъ Мако-

вецкій пріѣхалъ въ Ясную Поляну и лично познакомился съ Толстымъ, оставилъ свою богатую практику и посвятилъ себя цѣликомъ наблюденію за здоровьемъ Л. Н.

Младшая дочь Л. Н. Александра Львовна Толстая послѣдовала за своимъ отцомъ на слѣдующій день послѣ его отъѣзда. Александрѣ Львовнѣ было извѣстно мѣстопребываніе Л. Н. По отъѣздѣ отца, Александра Львовна цѣлый день была занята приведеніемъ въ порядокъ бумагъ Л. Н., а также ухаживала за С. А. Толстой, для которой отъѣздъ мужа явился тяжкимъ ударомъ. Передъ отъѣздомъ Александры Львовны никто изъ всей семьи, собравшейся въ виду исключительнаго случая въ Ясную Поляну, не пытался, считаясь съ волею Л. Н., выраженной въ послѣднемъ письмѣ, узнавать, куда онъ уѣзжаетъ. Рѣшено было и въ дальнѣйшемъ, считаясь опять же съ волей Л. Н., не предпринимать шаговъ къ его возвращенію.

Отъѣздъ Л. Н. Толстого изъ Ясной Поляны не явился внезапнымъ для близкихъ великому писателю лицъ. Совершенно неожиданнымъ былъ лишь моментъ этого удаленія.

Объясненія близкихъ къ Л. Н. лицъ о причинѣ оставленія имъ Ясной Поляны не содержали въ себѣ ничего, что было бы непонятнымъ или неожиданнымъ. Извѣстно, что Л. Н. много лѣтъ тяготился несоотвѣтствіемъ его жизни въ Ясной Полянѣ съ его ученіемъ и желаніями. Въ послѣднее время, какъ увѣряютъ, чувство неудовлетворенія обострилось вслѣдствіе новыхъ фактовъ, и послѣдствіемъ явилось его послѣднее рѣшеніе. Недавнія поѣздки Л Н. и въ Коренево и въ Кочеты были по существу попытками съ его стороны измѣнить, по возможности, условія жизни, что, однако, не принесло ему удовлетворенія. Обо всемъ этомъ Л. Н. не любилъ говорить, и объ его тяжелыхъ переживаніяхъ друзьямъ приходилось самимъ дѣлать печальныя заключенія.

Наканунѣ своего ухода изъ дому великій старецъ обошелъ всѣхъ своихъ друзей и разсказалъ каждому въ от-

дѣльности свой послѣдній сонъ. Живой, бодрый, Толстой воодушевленно разсказывалъ, что снилось ему, будто онъ поднимается на гору. Внезапно онъ оступился и упалъ. Стало тяжело, онъ почувствовалъ боль, а затѣмъ сильный толчекъ въ сердце и... проснулся. И только проснувшись онъ понялъ, что это былъ сонъ. На душѣ сразу стало такъ хорошо, легко. Не чувствовалось ни боли, ни тяжести.

— Точно также,—заключилъ свой разсказъ Толстой,— бываетъ и въ жизни. Трудной и тяжелой кажется она, а придетъ смерть, и человѣкъ съ необыкновенной ясностью вдругъ увидитъ, что все это было только сномъ, а не настоящей жизнью.

Отправляясь въ дорогу, Левъ Николаевичъ взялъ съ собой всего 38 рублей. Младшая дочь его Александра Львовна, знавшая о намѣреніи отца покинуть Ясную Поляну, вложила въ карманъ Маковецкаго 300 рублей. Уѣзжая, Левъ Николаевичъ абсолютно не хотѣлъ ничего брать съ собой, но Маковецкій уговорилъ его взять бѣлье, книги, а самъ захватилъ необходимые медикаменты. Вслѣдъ за Львомъ Николаевичемъ и докторомъ Маковецкимъ изъ Ясной Поляны уѣхала дочь Льва Николаевича Александра Львовна, исполнявшая послѣ высылки Гусева обяаанности секретаря отца.

Спустя день, выяснилось, что, пріѣхавъ на станцію „Щекино“, Левъ Николаевичъ долго ходилъ по платформѣ, усталъ, озябъ и, когда, наконецъ, помѣстился въ вагонѣ, то, по свидѣтельству очевидцевъ, упалъ на предложенную ему докторомъ Д. П. Маковецкимъ подушку. Отъ „Щекина“ Левъ Николаевичъ поѣхалъ въ „Горбачево“ со сравнительными удобствами—55 верстъ по желѣзной дорогѣ. Доѣхавъ до ст. „Горбачево“ Левъ Николаевичъ и его врачъ Д. П. Маковецкій взяли билеты дальше, въ Козельскъ. Оба они ѣхали въ грязномъ, набитомъ рабочими вагонѣ 3-го класса, прицѣпленномъ къ товарному поѣзду.

Въ „Бѣлевѣ“ Левъ Николаевичъ выходилъ въ буфетъ

и съѣлъ яичницу. Левъ Николаевичъ былъ въ хорошемъ настроеніи духа. Одѣтъ онъ былъ въ коричневое ватное пальто и каракулевую шапку. Пріѣхавъ въ „Козельскъ“ въ 5 часовъ вечера, Левъ Николаевичъ направился въ Оптину пустынь, гдѣ не былъ уже семнадцать лѣтъ. Входя въ монастырскую гостиницу, Левъ Николаевичъ, обращаясь къ гостинику, сказалъ:

— Михаилъ, можетъ-быть, вамъ непріятно мое посѣщеніе? Я, вѣдь, отверженный церковью Левъ Толстой...

О. Михаилъ отвѣтилъ:

— Мы всѣмъ рады...

Переночевавъ въ Оптиной пустыни, Левъ Николаевичъ ходилъ на слѣдующій день къ старцу Іосифу и долго бесѣдовалъ съ нимъ. Вокругъ монастырской гостиницы цѣлый день толпились богомольцы и монахи. Утромъ со стороны Ясной Поляны пріѣхалъ еще одинъ человѣкъ — молодой, высокій, темноволосый господинъ въ высокихъ сапогахъ. Вновь прибывшій долго и горячо разговаривалъ о чемъ-то съ Львомъ Николаевичемъ. Въ 4-мъ часу дня Левъ Николаевичъ уже съ двумя спутниками—докторомъ и вновь прибывшимъ,—поѣхалъ на лошадяхъ въ Шамардино.

Прощаясь съ Оптиной пустынью, Левъ Николаевичъ въ книгѣ монастырской гостиницы написалъ:

„Левъ Толстой благодаритъ за пріемъ“.

Селеніе Шамардино находится въ 12-ти верстахъ отъ Оптиной пустыни. Въ Шамардинѣ женскій монастырь, гдѣ въ числѣ инокинь—сестра Льва Николаевича, Марія Николаевна Толстая. Шамардинскій монастырь—настоящая трудовая обитель. Основана она извѣстнымъ Амвросіемъ. Около 500 сестеръ работаютъ тамъ въ разныхъ мастерскихъ, даже въ слесарной. Левъ Николаевичъ высказывалъ намѣреніе погостить въ Шамардинѣ долго.

31 октября въ 7 час. вечера въ Шамардино пріѣхала и Александра Львовна съ компаніонкой. Какъ разсказываютъ

шамардинскія монахини, Александра Львовна долго уговаривала отца:

— Нѣтъ, папа, ѣдемъ, ѣдемъ скорѣе!

Въ ту же ночь, въ 5 час. утра, выѣхали всѣ четверо въ Козельскъ на трехъ извозчикахъ: Левъ Николаевичъ и Д. П. Маковецкій ѣхали порознь, а Александра Львовна и ея компаньонка—вмѣстѣ. Шелъ проливной дождь. Пріѣхали на ст. „Козельскъ“ къ третьему звонку. Сѣли въ поѣздъ безъ билетовъ. Левъ Николаевичъ казался очень сумрачнымъ. Къ нему подошелъ какой-то инженеръ съ дамой, но Левъ Николаевичъ сурово отклонилъ бесѣду и легъ спать въ отдѣльномъ купэ 2-го класса. Въ „Бѣлевѣ“ спутники Л. Н. взяли билеты до ст. „Горбачево“, оттуда—до станціи „Дворики“, Рязанско-Уральской жел. дор., изъ „Двориковъ“ — въ Ростовъ-на-Дону. Но на станціи „Астапово“ Л. Н. почувствовалъ сильное недомоганіе и былъ вынужденъ сойти съ поѣзда и остановиться въ квартирѣ начальника станціи И. И. Озолина.

Всего же за четыре дня Левъ Николаевичъ при скверныхъ условіяхъ проѣхалъ 511 верстъ по желѣзной дорогѣ, изъ нихъ 325 верстъ—уже больнымъ.

ВЪ „ЯСНОЙ ПОЛЯНѢ“ ПОСЛѢ ОТЪѢЗДА.

Съ отъѣздомъ Льва Николаевича опустѣла и „Ясная Поляна“ и все близкое кругомъ. Даже на полустанкѣ Козлова-Засѣка никого не появлялось.

Кн. Оболенскій, пріѣхавъ 29 октября вечеромъ въ „Ясную Поляну“, засталъ всю семью Толстого въ сборѣ: четырехъ сыновей (пятый Левъ Львовичъ—былъ въ Парижѣ), и Татьяну Львовну Сухотину, только-что передъ нимъ пріѣхавшую изъ Кочетовъ. Видъ у всѣхъ—разсказываетъ кн. Оболенскій—убитый, растерянный, глубокое горе читается въ выраже-

ніи лицъ, въ отрывочныхъ фразахъ, въ движеніяхъ. На Софью Андреевну смотрѣть жутко: глаза заплаканы, сильно горбится, словно горе пригибаетъ ее къ землѣ. По разсказамъ близкихъ, въ послѣдніе дни Левъ Николаевичъ временами былъ какъ-бы въ какой-то тревогѣ, но ничего не говорилъ и даже не намекалъ о своемъ намѣреніи. Правда, нѣсколько разъ высказывалъ желаніе „написать русскаго Робинзона". Можетъ-быть, — дѣлаютъ догадки домашніе,— этими словами онъ намекалъ на свое рѣшеніе. Софья Андреевна не можетъ примириться съ мыслью, что, послѣ 48-лѣтней жизни вмѣстѣ, Левъ Николаевичъ могъ уйти не простившись. Особенно же ее ужасала мысль, что она, быть-можетъ, больше не увидитъ его. Въ разговорѣ, между прочимъ, вспомнили, какъ во время переселенія духоборовъ Л. Н. хотѣлъ уѣхать съ ними въ Америку, чтобы зажить тамъ новой, полной труда, жизнью. Тогда, какъ извѣстно, семьѣ удалось удержать его дома.

Приходитъ на память и другой эпизодъ... Одно время Л. Н. интересовался судьбой извѣстнаго старца Кузьмича, котораго народная молва называла ушедшимъ изъ міра въ Сибирь императоромъ Александромъ Павловичемъ. По этому поводу Левъ Николаевичъ говорилъ тогда, что и ему слѣдуетъ уйти, снять съ себя справедливые, по его мнѣнію, упреки въ томъ, что онъ, не признавая собственности, проповѣдуя слова Христа: „Отдай все и послѣдуй за мной", позволяетъ себѣ пользоваться всѣми мірскими благами, подъ предлогомъ необходимости жить съ семьей. Но какія, въ сущности, были эти б л а г а? Трудно было жить скромнѣе и проще, чѣмъ жилъ онъ. Только чистыя комнаты да приличный, очень умѣренный столъ,—вотъ и все, что „позволялъ" себѣ, живя съ семьей, Левъ Николаевичъ.

Послѣ отъѣзда Л. Н. его сыновья долго совѣтовались между собой, какъ поступить, и рѣшили ничего не предпринимать такого, что бы шло въ разрѣзъ съ желаніями и намѣреніями отца. Разсказы о томъ, что Чертковъ прини-

малъ участіе въ неожиданномъ отъѣздѣ Льва Николаевича, являются басней. Чертковъ самъ позднѣе другихъ узналъ о совершившемся.

— Можетъ-быть, на рѣшеніе Льва Николаевича повліяли недоразумѣнія между графиней и Чертковымъ, слухъ о которыхъ проникъ въ англійскую печать?—спросилъ кн. Оболенскій.

— Нѣтъ,—отвѣтили сыновья и Татьяна Львовна.

По ихъ словамъ, никогда Левъ Николаевичъ не былъ такъ добръ, кротокъ и трогательно благожелателенъ, какъ за послѣднее время. Своимъ отношеніемъ къ окружающимъ онъ, безъ преувеличенія, распространялъ вокругъ себя какую-то лучезарную доброту. Прежде, бывало, онъ спорилъ, горячился, говорилъ иногда очень рѣзко. За послѣдніе дни, напротивъ, неотразимой душевностью своихъ доводовъ Левъ Николаевичъ прямо умилялъ оппонентовъ. Никакихъ семейныхъ неудовольствій въ яснополянскомъ домѣ тоже не было.

Сопоставляя все слышанное въ этотъ вечеръ и то, что раньше приходилось лично слышать отъ самого Льва Николаевича относительно удаленія изъ міра, приходится сказать, что совершившійся фактъ былъ давно предрѣшенъ Львомъ Николаевичемъ, и онъ, въ сущности, поступилъ такъ, какъ давно повелѣвало ему его внутреннее сердце.

Корреспондентъ „Русск. Слова“ былъ въ Ясной Полянѣ вслѣдъ за кн. Оболенскимъ и такъ разсказалъ о своемъ посѣщеніи:

— Графиня Софья Андреевна Толстая встрѣтила меня на верхней ступенькѣ лѣстницы, ведущей во второй этажъ яснополянскаго дома. Сгорбленная, графиня опиралась на руку своего сына Андрея Львовича такъ, что было ясно, что безъ постороннней помощи она стоять не можетъ. Блуждающіе глаза Софьи Андреевны выражали внутреннюю муку. Голова ея тряслась. Одѣта она была въ небрежно накинутый капотъ. Повидимому, только-что встала. Мы вошли во

внутреннія комнаты, и началась бесѣда. Прерывающимся отъ волненія голосомъ графиня разсказывала о событіяхъ той роковой ночи, когда Левъ Николаевичъ покинулъ Ясную Поляну. Около трехъ часовъ ночи, услыхавъ, что Левъ Николаевичъ не спитъ,—графиня вошла къ нему и спросила, не надо ли чего.

— Оставь меня, мнѣ нездоровится, я принимаю лѣкарство,—отвѣтилъ Левъ Николаевичъ.

Графиня удалилась. Спустя полчаса, въ спальню Льва Николаевича пробѣжала комнатная собачка и подняла тамъ шумъ. Боясь, что собачка перепутаетъ бумаги Льва Николаевича,—Софъя Андреевна опять пошла къ мужу. Левъ Николаевичъ лежалъ на постели. Увидавъ вощедшую графиню, онъ замѣтилъ, какъ бы про себя:

— Опять трогаютъ мои бумаги.

Послѣ этого замѣчанія графиня удалилась къ себѣ и заснула. Тутъ произошло что-то роковое. Обыкновенно, графиня каждые 2—3 часа вставала посмотрѣть Льва Николаевича. Въ эту же ночь она съ четырехъ часовъ проспала, ни разу не поднявшись, до десяти часовъ утра. А утромъ нашла только письмо Льва Николаевича съ извѣщеніемъ, что онъ уѣхалъ.

Какъ безумная, бросилась графиня на дворъ, оттуда—къ пруду, вбѣжала на плотикъ, поскользнулась и упала въ воду. Ее вытащили изъ ледяной воды. И нервное напряженіе ея было такъ велико, что она совсѣмъ не простудилась.

На этомъ мѣстѣ разсказа Софья Андреевна начинаетъ уже черезчуръ волноваться.

— Виновникомъ всего происшедшаго я считаю одного изъ друзей Льва Николаевича,—воплемъ вырывается у нея.—Это онъ, этотъ другъ, настроилъ моего старичка на уходъ...

И называетъ фамилію. Вошедшій докторъ проситъ больше не безпокоить больную. Но Софья Андреевна сама продол-

жаетъ говорить. Безпорядочныя, путающіяся въ измученной головѣ, воспоминанія мчатся одно за другимъ.

Софья Андреевна разсказываетъ о себѣ, объ удачахъ и неудачахъ своихъ дѣтей, о безконечной любви къ ней Льва Николаевича. Когда Софья Андреевна этой осенью уѣзжала на нѣсколько дней въ Тулу,—Льву Николаевичу кто-то сказалъ, что она не вернется. И надо было видѣть его радость при встрѣчѣ. Этой радости Софья Андреевна и выразить не умѣетъ. Софья Андреевна вспоминаетъ свои споры съ Львомъ Николаевичемъ по поводу его желанія отдать свои произведенія въ общее пользованіе. Софья Андреевна указывала, что при современныхъ условіяхъ на книгахъ Льва Николаевича будутъ наживаться богатые издатели и только.

— Такъ не лучше ли, чтобы книги остались у тѣхъ, кто намъ близокъ; кого мы родили и воспитали, и кто нуждается,—у нашихъ дѣтей...

— Но и здѣсь въ этихъ моихъ убѣжденіяхъ,—задыхается Софья Андреевна,—я встрѣтила противодѣйствіе со стороны друга Льва Николаевича, который вмѣшивался въ нашу частную жизнь...

Докторъ мягко, но рѣшительно еще разъ предлагаетъ Софьѣ Андреевнѣ кончить бесѣду и успокоиться. Больная подчиняется.

Андрей Львовичъ сообщилъ своему собесѣднику, что на семейномъ совѣщаніи рѣшено исполнить волю Льва Николаевича и оставить его въ покоѣ.

О Софіи Андреевнѣ Андрей Львовичъ разсказалъ, что послѣ отъѣзда Льва Николаевича Софья Андреевна такъ разнервничалась, что дѣти, опасаясь за нее, вызвали изъ Москвы трехъ докторовъ. Доктора давали лѣкарства, совѣтовали не волноваться. А Софья Андреевна въ отвѣтъ на все это заявляла, что уморитъ себя голодомъ. Прошло пять дней съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ Левъ Николаевичъ. Софья Андреевна за все это время ничего не ѣла. 1 ноября Софья Андреевна получила отъ Льва Николаевича нѣжное письмо.

Александра Львовна знала объ отъѣздѣ отца. Сначала Левъ Николаевичъ не хотѣлъ брать ее съ собой.

— Ты нужна матери, мнѣ же будешь только мѣшать, окружая меня роскошью,—говорилъ Левъ Николаевичъ.

— Отецъ, я буду служить тебѣ,—отвѣтила Александра Львовна.

Говоря о послѣднихъ минутахъ пребыванія Льва Николаевича въ Ясной Полянѣ, Андрей Львовичъ сообщилъ такую подробность:

Когда вещи были уложены, — Левъ Николаевичъ самъ побѣжалъ въ конюшню велѣть запрягать лошадей, но по дорогѣ въ темнотѣ наткнулся на кусты, упалъ и потерялъ шапку. Послѣ этого, онъ вернулся обратно, взялъ фонарь и тогда уже вторично пошелъ за кучеромъ.

У дочери Льва Николаевича Татьяны Львовны Сухотиной отъѣздъ Л. Н. вызвалъ воспоминаніе о томъ, какъ однажды она съ отцомъ проѣзжала на тройкѣ по какой-то деревнѣ Мценскаго уѣзда.

— Въ слѣдующій разъ,—сказалъ внезапно Левъ Николаевичъ,—я пойду здѣсь пѣшкомъ съ палочкой и буду стучаться въ избы незнакомыхъ крестьянъ. Тогда я узнаю настоящій народъ. Вѣдь, въ Ясной Полянѣ для меня крестьяне—не народъ, а Сидоръ, Карпъ, Иванъ, которыхъ я знаю прекрасно...

— Папа̀,—засмѣялась въ отвѣтъ Татьяна Львовна,—ты знаешь, что изъ этого выйдетъ?! Первая попавшаяся баба выгонитъ тебя въ шею. А въ лучшемъ случаѣ будешь спать съ телятами и обзаведешься насѣкомыми...

— Вотъ и хорошо,—совершенно серьезно отозвался Левъ Николаевичъ.

МАРІЯ НИКОЛАЕВНА ТОЛСТАЯ.

Марія Николаевна Толстая, которую первой посѣтилъ Л. Н. послѣ отъѣзда изъ Ясной Поляны, всего на два года моложе брата. Въ Шамардинскомъ монастырѣ она живетъ уже лѣтъ пятнадцать—въ отдѣльномъ домикѣ, вмѣстѣ съ гр. Коновницыной. Кстати, Шамардинскій монастырь основанъ тѣмъ оптинскимъ старцемъ Амвросіемъ, съ которымъ Л. Н. Толстой нѣсколько разъ бесѣдовалъ.

Съ Маріей Николаевной у Л. Н. связаны самыя дорогія воспоминанія его дѣтства и юности. Она способствовала сближенію Толстого съ И. С. Тургеневымъ. Около с. Спасскаго, гдѣ Тургеневъ проводилъ каждое лѣто, лежало с. Покровское, имѣніе гр. В. Н. Толстого, мужа Маріи Николаевны. Тургеневъ былъ съ ними знакомъ. Съ Маріей Николаевной его связывала тѣсная дружба на почвѣ идеалистическихъ интересовъ.

Теперь Марія Николаевна—строгая и суровая на видъ женщина, съ нависшими бровями, придающими сходство съ Львомъ Николаевичемъ, а въ шестидесятые годы она была молодымъ, привлекательнымъ существомъ, съ необыкновенно своеобразнымъ духовнымъ обликомъ. Она никогда не старалась казаться чѣмъ-нибудь, а всегда была тѣмъ, чѣмъ она была, независимо выражая все, что думала. Поэтически трогательный образъ Вѣры Ельцовой въ тургеневскомъ „Фаустѣ“ сотканъ авторомъ изъ характерныхъ чертъ графини Маріи Николаевны.

„Она,—писалъ Тургеневъ,—съ перваго раза поражала удивительнымъ спокойствіемъ всѣхъ движеній и рѣчи... Ясность невинной души свѣтилась во всемъ ея существѣ... Все шумное ей было чуждо. Съ самаго ранняго дѣтства она не знала, что такое ложь: она привыкла къ правдѣ, она думала ею. На вѣру она ничего не принимала; авторитетомъ ее нельзя было запугать; она не спорила, но и не поддавалась“.

Тургеневъ смотрѣлъ на с. Покровское какъ на художественный оазисъ въ Орловской губерніи и постоянно здѣсь бывалъ. Со словъ Маріи Николаевны, Тургеневъ познакомился съ ея братьями—Николаемъ, Сергѣемъ, Дмитріемъ и Львомъ Николаевичами, и очень заинтересовался ими.

Написавъ что-нибудь, Тургеневъ привозилъ свѣже-написанное для прочтенія къ Толстымъ и чутко прислушивался къ замѣчаніямъ графини Маріи Николаевны. Однажды онъ прочелъ ей „Рудина“ и добивался узнать, производитъ ли Рудинъ впечатлѣніе дѣйствительно умнаго человѣка. Вспоминая это время, гр. М. Н. Толстая называетъ его „очаровательнымъ временемъ“.

Разногласія у нихъ возникали изъ-за стиховъ. Тургеневъ любилъ стихи. Гр. М. Н. Толстая чувствовала къ нимъ какое-то непонятное недовѣріе, какъ къ чему-то фальшивому. Въ с. Покровское Тургеневъ привезъ однажды новую книжку „Современника“ съ очеркомъ „Исторіи моего дѣтства“, подписаннымъ незнакомыми буквами Л. Н.

— Здѣсь,—сказалъ онъ графинѣ,—напечатанъ преталантливый очеркъ какого-то автора. Но еще интереснѣе, что очеркъ сильно напоминаетъ ваши разсказы о Ясной Полянѣ.

Начали читать. Съ первыхъ же словъ на графиню повѣяло знакомыми картинами. Рѣшили, что разсказъ написанъ гр. Н. Н. Толстымъ, имѣвшимъ наклонность къ литературному творчеству. Относительно Льва Николаевича, бывшаго тогда на Кавказѣ, и подозрѣнія не было. Своей предшествовавшей разгульной жизнью онъ исключалъ всякую мысль о серьезномъ литературномъ творчествѣ. Когда послѣ севастопольской кампаніи въ Петербургъ пріѣхалъ гр. Л. Н. Толстой и посѣтилъ Тургенева, онъ, подготовленный разсказами гр. Маріи Николаевны, встрѣтилъ молодого графа, какъ друга, несмотря на разность лѣтъ.

Овдовѣвъ, гр. Марія Николаевна поступила въ Шамардинскій монастырь, но часто ѣздила въ Ясную Поляну къ брату, къ которому она питаетъ самую нѣжную любовь. Разность религіозныхъ воззрѣній нисколько не мѣшала этой любви. Когда Л. Н. отлучили отъ церкви, графинѣ-монахинѣ было запрещено ея духовнымъ начальствомъ посѣщать брата. Но она ходатайствовала о разрѣшеніи продолжать поѣздки въ Ясную Поляну и получила это разрѣшеніе.

Левъ Николаевичъ нѣсколько разъ бывалъ у своей сестры и жилъ въ Шамардинѣ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ОПТИНА ПУСТЫНЬ.

Въ послѣдніе дни своей жизни Левъ Николаевичъ побывалъ въ Оптиной пустыни въ четвертый разъ.

Въ первый разъ гр. Толстой прибылъ въ Оптину пустынь въ обществѣ Н. Н. Страхова. Это было 22-го іюля 1877 г. Вторично онъ посѣтилъ монастырь въ 1881 году. Онъ прибылъ туда въ крестьянской одеждѣ и въ лаптяхъ со своимъ конторщикомъ и учителемъ. Они пришли пѣшкомъ изъ Ясной Поляны. Когда они подошли къ монастырскимъ воротамъ, былъ уже вечеръ, и монастырскій колоколъ звонилъ къ ужину. Ихъ костюмъ ввелъ въ заблужденіе монастырскихъ служекъ: тѣ не пустили ихъ въ чистыя комнаты къ трапезѣ, а помѣстили съ нищими. На утро гр. Л. Н. Толстой отправился осматривать монастырь и, между прочимъ, зашелъ въ монастырскую книжную лавку. Слышитъ онъ, какъ какая-то баба просить подать ей Евангеліе за пятачокъ. Монахъ отвѣтилъ ей, что за эту цѣну всѣ Евангелія вышли, остались только дорогія. Графъ Л. Н. Толстой, когда узналъ, что баба торгуетъ Евангеліе

для своего сына, взялъ съ прилавка Евангеліе, заплатилъ за него полтора рубля и отдалъ бабѣ.

— Вотъ возьми,—сказалъ онъ ей,—сама читай и сына своего учи, потому что Евангеліе утѣшаетъ нашу жизнь.

Этотъ эпизодъ огласился въ монастырѣ. Гр. Л. Н. Толстого узнали и онъ долженъ былъ посѣтить и игумена, и старца Амвросія. Выйдя отъ послѣдняго, онъ восторженно сказалъ:

— Этотъ о. Амвросій совсѣмъ святой человѣкъ. Поговорилъ съ нимъ, и какъ-то легко и отрадно стало у меня на душѣ. Вотъ когда съ такимъ человѣкомъ говоришь, то чувствушь близость Бога.

Въ третій разъ графъ Л. Н. Толстой посѣтилъ Оптину пустынь въ 1890 году. Въ историческомъ описаніи Козельской Оптиной пустыни разсказываются слѣдующія подробности этого посѣщенія. Гр. Л. Н. Толстой пріѣхалъ туда съ семействомъ. Онъ отпустилъ Софью Андреевну и дѣтей къ старцу о. Амвросію, самъ же пошелъ къ одному своему родственнику—добровольному послушнику монастыря. Онъ разговорился съ нимъ о скитскихъ правилахъ. Хвалилъ установленный въ скиту порядокъ, въ силу котораго не допускаютъ туда женщинъ. Говорилъ о цѣли жизни. Софья Андреевна и дѣти вернулись отъ старца въ самомъ лучшемъ расположеніи духа. Тогда писатель рѣшилъ и самъ побывать у о. Амвросія. Послѣ свиданія со старцемъ Л. Н. Толстой зашелъ къ писателю К. Н. Леонтьевву, проживавшему въ то время въ Оптиной пустыни. Съ К. Н. Леонтьевымъ графъ былъ давно знакомъ.

— Какъ это ты, образованный человѣкъ, сдѣлался вѣрующимъ и рѣшился тутъ жить?—спросилъ онъ его.

Леонтьевъ отвѣтилъ:

— Поживи здѣсь, такъ самъ увѣруешь.

— Еще бы, запрутъ тебя здѣсь, такъ поневолѣ увѣришь!

— Я твою философію, братъ, не читаю, а только беллетристику,—продолжалъ Леонтьевъ,—пиши въ старости

и отъ восьмидесятилѣтнихъ авторовъ выходили знаменитыя творенія.

Во время чая разговорились про о. Амвросія.

— Вотъ человѣкъ хорошій!—сказалъ Л. Н. Толстой.—Я былъ у него и завтра думаю опять побывать. Онъ преподаетъ Евангеліе, только не совсѣмъ чистое, а вотъ, на, возьми мое Евангеліе.

Онъ вынулъ изъ кармана книжку и подалъ ее Леонтьеву. Тотъ, въ отвѣтъ на это, досталъ брошюру Елеонскаго, въ которой доказывались тождественность и неповрежденность Евангелія и отвергались мнѣнія Толстого, и подалъ ее графу.

— Я знаю ее, — сказалъ Толстой, — брошюра дѣльная, она рекламируетъ и мое Евангеліе.

Леонтьевъ вспылилъ:

— Какъ это возможно, чтобы здѣсь въ пустыни быть, гдѣ такой старецъ, какъ о. Амвросій, и говорить о своемъ Евангеліи? Это можно развѣ въ какой-нибудь глуши, въ Томскѣ, что-ли!

Толстого эти слова обидѣли.

— Что-жъ? — рѣзко отвѣтилъ онъ ему. — У тебя много знакомыхъ, пиши въ Петербургъ, можетъ быть, сошлютъ меня въ Томскъ.

Сказавъ это, Толстой ушелъ къ себѣ въ гостинницу и, не побывавъ у старца, уѣхалъ въ Ясную Поляну.

Леонтьева очень интересовала упомянутая бесѣда о. Амвросія съ гр. Л. Н. Толстымъ, и онъ просилъ Е. узнать подробности о ней отъ самаго старца. О. Амвросій только одно передалъ, что Толстой просидѣлъ у него около часу.

— При входѣ Толстого въ мою келью я благословилъ его, и онъ поцѣловалъ мою руку. А когда сталъ прощаться, то, чтобы избѣжать благословенія, поцѣловалъ меня въ щеку. Гордъ очень.

Разсказывая это, старецъ едва дышалъ, — такъ сильно утомила его бесѣда съ графомъ.

ОТЗЫВЫ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ДѢЯТЕЛЕЙ ОБЪ УХОДѢ ТОЛСТОГО.

Князь Крапоткинъ въ „Times“ указалъ, что выраженіе „уходъ въ монастырь“ не можетъ быть примѣнено въ отношеніи Толстого. Примиреніе Толстого съ офиціальной церковностью Кропоткинъ считаетъ невозможнымъ: 30 лѣтъ своей жизни Толстой посвятилъ обоснованію универсальной раціоналистической религіи, пріемлемой одинаково для христіанъ, буддистовъ, евреевъ, мусульманъ, приверженцевъ Лао-Цзе и даже свободомыслящихъ. Крапоткинъ пишетъ, что онъ не удивился, когда услышалъ про рѣшеніе Толстого уйти отъ міра, отречься отъ семьи, отъ роскоши. Душевную драму Толстого переживали тысячи людей изъ современнаго общества. Но чтобы Толстой, переживая эту драму, въ концѣ-концовъ пошелъ въ тѣ круги, гдѣ еще много приверженцевъ Побѣдоносцева, въ это Крапоткинъ не вѣритъ.

И. И. Мечниковъ: Во время моего недавняго пребыванія въ Ясной Полянѣ Левъ Николаевичъ былъ вполнѣ уравновѣшенъ и ничѣмъ не обнаруживалъ, что онъ тяготится жизнью въ семьѣ. Нынѣшній его уходъ,—очевидно, результатъ сложныхъ душевныхъ переживаній, судить о которыхъ со стороны трудно. Зная характеръ Софьи Андреевны и ея самопожертвованіе Толстому, я не допускаю никакихъ мелочныхъ стимуловъ въ рѣшеніи Льва Николаевича Толстого. Поѣздка въ монастырь, вѣроятнѣе всего, вызвана желаніемъ Льва Николаевича повидаться съ Маріей Николаевной и не свидѣтельствуетъ о рѣшеніи его замаливать подъ клобукомъ грѣхи.

А. И. Купринъ: Софья Андреевна создала для Льва Николаевича удобства и комфортъ, безъ которыхъ Левъ Николаевичъ едва ли могъ благополучно перенести частыя болѣзни. Нужны были для этого и средства. И Софья Андреевна, боготворя своего мужа, терпѣливо переносила

упреки въ алчности. Она всѣ непріятности брала на себя, ограждая Льва Николаевича отъ неизбѣжныхъ жизненныхъ матеріальныхъ мелочей. Между тѣмъ, какъ геній, Левъ Николаевичъ долженъ бы быть окруженъ заботами не только своей семьи, но и всего общества. Польское общество сумѣло оцѣнить національнаго писателя Генрика Сенкевича, который, сравнительно съ Львомъ Николаевичемъ, величина небольшая. Если русское общество само не сдѣлало этого въ отношеніи Льва Николаевича, то это вынуждена была сдѣлать Софья Андреевна. Впрочемъ, русское общество тѣмъ и отличается, что привыкло требовать отъ своихъ писателей сплошныхъ подвиговъ.

Русскіе писатели могутъ умирать отъ голода, чахотки, либо пьянства, а общество будетъ требовать отъ нихъ осуществленія въ жизни на собственномъ примѣрѣ проповѣдуемыхъ идей. Условія дѣйствительности, однако, не всегда даютъ возможность осуществлять проповѣдуемое. Ницше, напримѣръ, въ своихъ произведеніяхъ производилъ перевороты, опрокидывалъ троны, а въ дѣйствительности былъ тихій, скромный, безобидный человѣкъ, и никто не думалъ ставить ему этого на видъ.

На уходъ Льва Николаевича А. И. Купринъ смотритъ не какъ на попытку провести въ жизнь свои идеи, но какъ на естественное въ его годы желаніе уединиться. Какъ большой и умный звѣрь, Левъ Николаевичъ почувствовалъ приближеніе смерти и сдѣлалъ попытку уйти и незамѣтно для окружающихъ перейти въ лучшій міръ. Но что легко удается животнымъ,—не удалось величайшему современнику. Въ уходѣ старика есть красота вмѣстѣ съ жестокостью. Красиво умереть гдѣ-нибудь въ лѣсу подъ деревомъ, лечь, свернуться въ клубочекъ и умереть, чтобы никто не зналъ и не видѣлъ.

Д. С. Мережковскій: Бѣгство Толстого—не только его личная драма, но и великое знаменіе времени. Гер-

ценъ говоритъ о впечатлѣніи отъ писемъ Чаадаева на тогдашнее русское общество:

— Выстрѣлъ въ глухую полночь.

Бѣгство Толстого въ глухую полночь нашихъ дней— такой же выстрѣлъ.

Вѣдь, домъ его—не Ясная Поляна, а вся Россія.

Почему же онъ ушелъ отъ насъ?

Дѣлаемъ видъ, что не знаемъ, но знаетъ кошка, чье мясо съѣла. Знаетъ нынѣшняя „истинно-русская" Россія, почему ушелъ отъ нея Толстой.

Говорилъ, кричалъ, плакалъ, вопилъ, умолялъ: „Опомнитесь, что вы дѣлаете! А если не хотите опомниться, то сдѣлайте и со мною то же, что съ другими. Накиньте намыленную веревку на мою старую шею".

Никто не услышалъ. Презрѣніе было въ томъ, что его щадили, не трогали, не обращали вниманія. Пусть, молъ, себѣ кричитъ старикашка, надрывается. Собака лаетъ,— вѣтеръ носитъ. И вотъ умолкъ, ушелъ.

> Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
> Обагряющихъ руки въ крови
> Уведи меня въ станъ погибающихъ
> За великое дѣло любви.

Выжили. Вытолкали. Отверженный. „Отлученный".

Толстой—совѣсть Россіи, и вотъ совѣсть ушла.

— Развѣ по немъ эта жизнь,—говорятъ яснополянскіе мужики и могъ бы сказать весь русскій народъ, не „истинно русскій", а просто русскій. Развѣ по немъ все, что дѣлалось и дѣлается сейчасъ въ Россіи. Совѣсть ушла, и слава Богу. Спокойнѣе. Свободнѣе. Теперь уже никто не помѣшаетъ, не испугаетъ, не пристыдитъ, не обрычитъ, не закричитъ на ухо:

— Опомнитесь! Что вы дѣлаете!

А, вѣдь, чего добраго, и обезпокоятся? Толстой въ бѣгахъ.

Совѣсть въ бѣгахъ, и для великой Россіи это какъ будто

и не совсѣмъ прилично. Ученики его духоборы тоже все бѣгали, бѣгали и, наконецъ, должны были убѣжать на край свѣта,—въ Канаду. Что, если и Толстому придется бѣжать?

Ну, что жъ, скатертью дорога. Да провались онъ, сгинь съ лица земли, — никто и не почешется. Но если не они, мертвецы,—то, можетъ-быть, живая Россія содрогнется, опомнится:

— Что я дѣлаю!

Да, еще одно. Это уже обо мнѣ лично. Когда я писалъ свою книгу „Левъ Толстой и Достоевскій", я обвинялъ Толстого въ непослѣдовательности, а выходитъ, что ошибся. И какъ я этому радъ! Не вѣрилъ въ чудо, а вотъ увидѣлъ. Вѣдь, то, что сейчасъ съ Толстымъ происходитъ, — чудо. Оттого и радость такая, и красота ослѣпляющая, почти невыносимая.

Кажется, если съ нимъ, величайшимъ изъ русскихъ людей, то, можетъ-быть, и со всей Россіей такое же чудо произойдетъ.

Александръ Свентоховскій: „Своимъ послѣднимъ шагомъ Л. Н. Толстой поднялся еще въ сто разъ выше прежняго во мнѣніи всего міра. Онъ теперь соединилъ слово съ дѣломъ.

Всѣмъ намъ, почитателямъ Толстого, это даетъ высокое нравственное удовлетвореніе, и я лично, узнавъ объ этомъ фактѣ, подумалъ: „Наконецъ, совершилось то, что должно было совершиться". Толстой показалъ всему міру, что способенъ воплотить въ своей жизни то высокое ученіе, которое проповѣдовалъ". Въ заключеніе онъ привелъ фактъ изъ жизни Бетховена, какъ свидѣтельство, что идеи, захватывающія великихъ людей, неминуемо должны воплощаться ими въ жизни.

— На одномъ вечерѣ Бетховенъ сыгралъ сонату. Затѣмъ, уже нѣсколько часовъ спустя послѣ концерта, отдыхая, окруженный восхищенными его игрой почитателями,

онъ во время ужина вдругъ выбѣжалъ изъ комнаты, кинулся въ концертный залъ, подбѣжалъ къ роялю и взялъ одинъ только аккордъ. Именно этого аккорда, онъ „чувствовалъ“, недоставало его сонатѣ. Теперь она была геніально закончена. Такой же аккордъ всей своей жизни взялъ теперь и Толстой. Честь ему и слава!

В. В. Розановъ: Ухода Л. Н. Толстого изъ своего дома, или, правдивѣе и грубѣе, отъ своей семьи давно слѣдовало ожидать, потому что никакой связи между этимъ домомъ и имъ не было... Все было въ антагонизмѣ, при чемъ антагонизмъ этотъ грубой стороной былъ обращенъ къ нему. Онъ жилъ въ немъ узникомъ, пассивнымъ, молчаливымъ, покоряющимся чужому укладу, при чемъ его воля, въ особенности его идеалы, не принимались ни въ какое вниманіе. Онъ ихъ, конечно, высказывалъ вслухъ. Но въ то время, какъ онъ только „вслухъ“, всѣ кругомъ его говорили громко въ направленіи діаметрально противоположномъ, и, что особенно важно, „все дѣлалось“ въ направленіи противоположномъ. Весь способъ жизни здѣсь не могъ не быть ему противнымъ. Изъ искусственной жизни онъ ушелъ „въ природу“, которую всегда любилъ, горячѣе всего любилъ. Я здѣсь разумѣю просто естественность и натуральность отношеній быта, рѣчей, словъ... Все „по душѣ“ и все „по вкусу“. Жизнь дома была ясно и не „по душѣ“, и не „по вкусу“. Вопросъ былъ только въ волѣ, въ рѣшимости. Энергичный всегда, особенно энергичный въ твореніяхъ, онъ „дома“ не былъ энергиченъ. Но вотъ рѣшимость нашлась, слава Богу. Радостная вѣсть облетѣла всю Россію. Всѣ этой вѣсти улыбнулись. Многіе восхитились. Можетъ-быть, кой-кто теперь утеръ слезу умиленія. „Такъ надо было давно“. „Дома“ были тоже правы, но по-своему, по-земному. Были правы „по-обыкновенному“, по человѣчески. И только рѣшительно и окончательно неправы въ томъ, что не приняли въ соображеніе, вниманіе и „къ исполненію“ того, какой великій и исключительный чело-

вѣкъ въ немъ жилъ. Ѳиміаму было много, но это вовсе не то, что нужно великому и праведному человѣку. Уходъ его—актъ правды и побѣда.

И. М. Трегубовъ: Поступку Толстого я и мои духовные братья (общество свободныхъ христіанъ) рады и привѣтствуемъ его. Конечно, ему было тяжело находиться въ постоянной коллизіи съ окружающей его обстановкой. Теперь ему много легче. Но, вѣдь, желаніе Толстого покинуть свой домъ—не новость. Точно не помню,—кажется, еще въ восьмидесятыхъ годахъ, въ періодъ переворота своихъ религіозныхъ воззрѣній,—Л. Н. Толстой хотѣлъ уйти, но Софья Андреевна чуть не на колѣняхъ просила его остаться. Онъ остался, не желая огорчать своихъ близкихъ.

Когда его спросили, какъ примиряетъ онъ свое ученіе со своею жизнью, онъ говорилъ, что нужно любить и близкихъ людей. Но, конечно, въ этомъ была доля непослѣдовательности, которую онъ теперь устранилъ. Своимъ уходомъ Л. Н. Толстой воплотилъ въ жизнь свое ученіе, и думается мнѣ, что большое значеніе для духовной реформы Россіи будетъ имѣть этотъ поступокъ. Народъ заинтересуется этимъ дѣломъ, впрочемъ, и теперь уже заинтересовался.

М. А. Стаховичъ, вернувшійся изъ Ясной Поляны 17-го октября, разсказывалъ о томъ тяжеломъ и необычайномъ впечатлѣніи, какое произвелъ на него въ это его посѣщеніе Левъ Николаевичъ.

— Казалось,—говоритъ М. А.,—что онъ поглощенъ какой-то тяжелой внутренней работой, что онъ стоитъ на порогѣ большого рѣшенія. Я невольно вспомнилъ Толстого при другихъ подобныхъ случаяхъ, когда ему предстояли важныя рѣшенія. То же сосредоточенное выраженіе лица, тотъ же взглядъ, обнаруживающій глубокую внутреннюю работу, даже тонъ голоса его какъ будто измѣнился.

Толстой нарушалъ въ послѣднее время свой обычный образъ жизни. Вставалъ рано, нерѣдко до 8 часовъ, и, къ

удивленію моему, явился рано утромъ ко мнѣ въ комнату, чего никогда не дѣлалъ, предпочитая по утрамъ совершать одинокія прогулки.

ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ДѢЯТЕЛЕЙ.

Шпильгагенъ высказалъ слѣдующее мнѣніе: Я думаю, что Толстой дѣйствовалъ подъ вліяніемъ минуты, за которую нельзя его дѣлать отвѣтственнымъ. Я съ тревогой слѣжу за подробностями и искренно желаю, чтобы мои выводы оказались ошибочными. Я съ негодованіемъ отвергаю слухи, будто отъѣздъ этотъ—реклама. Толстой слишкомъ честенъ и незапятнанъ, чтобы можно было допустить подобную мысль.

Зудерманъ: Я настолько ошеломленъ происшедшимъ, что совѣсть запрещаетъ мнѣ высказаться. Газетныхъ сообщеній слишкомъ недостаточно, чтобы можно было составить ясное представленіе о мотивахъ ухода.

Стриндбергъ: На 83-мъ году, послѣ геніально выполненной работы, Толстой нашелъ возможнымъ покинуть міръ. Я, на 62-мъ году, также готовъ на это при первой возможности.

Анатоль Франсъ, Октавъ Мирбо, Анатоль Леруа Больe и другіе писатели отказались высказать свое мнѣніе по поводу рѣшенія Льва Николаевича. Они еще „не составили опредѣленнаго мнѣнія, такъ какъ совершенно не выяснены фактическія причины, побудившія Л. Н. сдѣлать этотъ шагъ“.

Бернардъ Шоу, ярый противникъ философіи Толстого, называетъ его уходъ въ міръ однимъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ его поступковъ.

Толстовецъ Альмеръ Модъ, много писавшій о Тол-

стомъ, восхищенъ его послѣднимъ шагомъ. Онъ говоритъ, что его „уходъ“ подниметъ учителя въ глазахъ его учениковъ на недосягаемую высоту.

Въ такомъ же духѣ высказывается и другой англійскій толстовецъ, авторъ его біографіи Джорджъ Перрисъ.

Профессоръ Масарикъ: Уходъ изъ міра Толстого доказываетъ, что духовная эволюція въ немъ продолжается. Я недавно видѣлся съ Л. Н. и вынесъ убѣжденіе, что его мучаютъ новыя безпокойныя исканія.

Профессоръ философіи Рейхъ:

Четырнадцать лѣтъ тому назадъ Бьернсонъ говорилъ мнѣ: „Толстой утверждаетъ, что онъ живетъ какъ крестьянинъ, а на самомъ дѣлѣ онъ живетъ иначе“. То же думала и вся Европа, которая сочтетъ теперешнее рѣшеніе его послѣдовательнымъ. Будда также ушелъ отъ жизни.

Профессоръ богословія, глава Австрійской протестантской церкви Циммерманъ: Линія жизни Толстого вела къ этому пункту. Онъ взялъ примѣромъ Христа, удалившагося въ пустыню, послѣдовалъ слову Христа, призывавшаго ради Него оставить отца, мать, жену, дѣтей. Если бы Толстой не послѣдовалъ этому завѣту, онъ, возможно, покончилъ бы жизнь самоубійствомъ. Одно несомнѣнно; Толстой является намъ теперь просвѣтленнымъ, не надломленнымъ. Возможно, что на его рѣшеніе имѣла косвенное вліяніе теперешняя реакція въ Россіи.

Профессоръ эстетики и литературы, директоръ Бургтеатра, баронъ Бергеръ: Толстой пожелалъ, хотя бы въ концѣ жизни осуществить свой идеалъ полностью. Если онъ не могъ жить по своей правдѣ, то желаетъ умереть въ ней.

Драматургъ Шенгерръ: Толстой долженъ былъ, подобно великимъ библейскимъ старцамъ, отказаться отъ повседневности. Такого рѣшенія слѣдовало ожидать, какъ послѣдовательнаго шага, вытекающаго изъ его ученія. Кромѣ того, въ преклонномъ возрастѣ сильна потребность въ фи-

зическомъ покоѣ. Возможно, что это симптомъ близости смерти.

Богословъ, профессоръ философіи Мюльнеръ: Рѣшеніе не соотвѣтствуетъ ученію Толстого. Прежде, чѣмъ уйти отъ міра, онъ долженъ былъ бы раздать имущество. Его уходъ есть трагедія требованій идеала. Толстой бѣжалъ отъ требованій и ожиданій міра.

Поэтесса Марія-делла-Грація: Каждый изъ насъ — немного Толстой. Каждый хотѣлъ бы воздвигнуть хотя бы тонкую стѣну между собой и міромъ ради покоя и возможности сосредоточиться въ себѣ. Несказанно жаль мнѣ его жену.

Профессоръ скандинавской литературы Гранъ: Рѣшеніе его согласовать жизнь съ ученіемъ свидѣтельствуетъ объ удивительной жизненной энергіи и силѣ воли апостола и подвижника.

Члены нобелевскаго комитета отказались высказаться въ качествѣ таковыхъ. Предсѣдатель комитета, бывшій министръ Левеландъ, высказалъ слѣдующее мнѣніе: Рѣшеніе Толстого вызвало въ Норвегіи оживленный интересъ. Мы преклоняемся передъ великимъ писателемъ и мыслителемъ и чувствуемъ къ нему самыя живѣйшія симпатіи.

Профессоръ славянскихъ языковъ Брокъ: Все міросозерцаніе и постепенное развитіе мыслей великаго писателя вели къ этому послѣднему шагу.

Норвежскій критикъ Нерупъ: Я нахожу этотъ шагъ вполнѣ послѣдовательнымъ.

Нѣмецкій критикъ Альфредъ Керръ: Я убѣжденъ, что Толстого побудили къ уходу изъ міра исключительно этическіе мотивы. Въ этомъ поступкѣ нѣтъ и тѣни позы. Онъ находится въ полной гармоніи съ проповѣдью. Онъ не могъ примириться съ контрастомъ между словомъ и дѣломъ.

Директоръ „Schiller Theater“ Левенфельдъ: Толстой

поступаетъ какъ геній, какъ натура, не способная жить въ разладѣ съ совѣстью, мириться съ пошлымъ оппортюнизмомъ.

Соціологъ Вестермаркъ: Человѣчество должно поклоняться поступку Толстого, вытекающаго изъ его ученія. Теперь нельзя упрекать его въ несоотвѣтствіи словъ съ дѣломъ.

Профессоръ всеобщей литературы Хирнъ: Я пришелъ къ заключенію, что поступокъ, хотя запоздавшій, послужитъ къ укрѣпленію нравственнаго авторитета Толстого.

Профессоръ русской литературы Мандельштамъ ставитъ уходъ Толстого въ связь съ ранѣе высказаннымъ желаніемъ покончить жизнь самоубійствомъ. Это тоже самоубійство своего рода: онъ отказался отъ жизни, не вынеся ея страданій.

Личный другъ и послѣдователь Толстого Энрефельдъ: Случившееся меня не удивило. Въ послѣднее время Толстой часто говорилъ о намѣреніи уйти изъ міра, и если не сдѣлалъ этого раньше, то потому, что надѣялся до послѣдней минуты переубѣдить семью. Какъ другъ и поклонникъ Толстого, радуюсь за него отъ души. Его рѣшеніе безповоротно. Онъ не вернется.

Профессоръ римскаго университета сенаторъ Барцелотти: Послѣдній шагъ Толстого служитъ естественнымъ результатомъ его религіозно-философскихъ исканій и выводовъ, къ которымъ онъ могъ притти какъ мыслитель наканунѣ своей кончины. Вообще же намъ чрезвычайно трудно судить поступки такихъ великихъ людей, каковъ этотъ мощный писатель.

Брандесъ: Если сообщеніе о Л. Н. Толстомъ вѣрно, то поступокъ его трогателенъ. Онъ показываетъ только, что старецъ долго чувствовалъ угнетеніе и теперь рѣшился жить согласно своимъ идеаламъ.

Публицисты Гарденъ, Цабель и профессора Штейнъ и Освальдъ выражаютъ увѣренность, что

Л. Н. Толстого побудили къ уходу внутренній разладъ и потребность согласовать свою жизнь съ проповѣдуемымъ ученіемъ.

Секретарь нобелевскаго комитета въ Стокгольмѣ Нильсенъ: „Нѣтъ ничего неожиданнаго въ поступкѣ Л. Н. Толстого. Напротивъ, удивительно, что Левъ Николаевичъ давно не покинулъ отъ предковъ унаслѣдованнаго дворянскаго дома. Отчаяніе графини непонятно. Славянофилы Достоевскій и Гоголь искали спокойствія въ уединеніи. Если Левъ Николаевичъ въ своихъ исканіяхъ разочаруется, онъ вернется къ своей семьѣ".

Соціологъ Дегрефъ пораженъ энергіей духа великаго писателя, на склонѣ жизни нашедшаго силу порвать со всѣмъ, что при его возрастѣ связываетъ людей неразрывными цѣпями.

Сенаторъ, писатель и адвокатъ Пикаръ сознается, что до сихъ поръ весьма скептически относился къ теоріямъ и проповѣди Л. Н. Толстого, но теперь не можетъ не признать его искренности.

Племянникъ знаменитаго географа Элизэ Реклю, виднѣйшаго послѣдователя Толстого въ Бельгіи, профессоръ Поль Реклю вспоминаетъ слова своего дяди: „Толстому суждено увлекать и поражать міръ".

Лидеръ соціалистовъ Вандервельде признаетъ за ученіемъ Толстого лишь моральное, даже только религіозное значеніе и находитъ, что событія его личной жизни не представляютъ общественнаго интереса.

Леонъ Додэ: Л. Н. Толстой не любитъ Шекспира. Между тѣмъ, поэтъ далъ въ „Королѣ Лирѣ" портретъ старца, бродящаго теперь въ ненастную погоду въ поискахъ пріюта. Толстой бѣжитъ отъ своей славы въ неизвѣстность.

Анри Рошфоръ: Толстой служитъ олицетвореніемъ культа самоложертвованія, и его примѣръ дастъ плоды,

особенно въ славянскомъ мірѣ. Наступитъ моментъ, когда въ каждой крестьянской избѣ будетъ изображеніе Толстого.

ДУХОВЕНСТВО ОБЪ УХОДѢ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Епископъ тульскій Парѳеній: Я лишенъ возможности сообщить содержаніе моей бесѣды съ Толстымъ, (бесѣда происходила въ нынѣшнемъ году, наединѣ) и никому въ православной Руси я этого сказать не могу. Я былъ въ Ясной Полянѣ, долго бесѣдовалъ со Львомъ Николаевичемъ. Старецъ просилъ меня, чтобы я никому не говорилъ о нашей бесѣдѣ. „Я говорю съ вами,—сказалъ мнѣ Толстой,—какъ всякій христіанинъ говоритъ съ пастыремъ церкви на исповѣди". Поэтому наша бесѣда должна сохраниться втайнѣ. Говорить же вообще объ уходѣ Толстого изъ Ясной Поляны въ монастырь, не касаясь того впечатлѣнія, которое старецъ произвелъ на меня при нашей встрѣчѣ,—рѣшительно невозможно.

Еп. екатеринбургскій Митрофанъ: Рѣшеніе Льва Николаевича уйти изъ міра преосвященный Митрофанъ разсматриваетъ какъ актъ обратнаго возвращенія его къ церкви. О симптомахъ въ этомъ направленіи владыкѣ уже передавала сестра Льва Николаевича, инокиня Марія Николаевна, при послѣднемъ свиданіи преосвященнаго съ нею весной нынѣшняго года, при проѣздѣ его въ Екатеринбургъ.

Епископъ Митрофанъ считаетъ Льва Николаевича глубоко религіознымъ и искреннимъ человѣкомъ.

Еп. томскій и алтайскій Макарій: Преждевременно судить, какое отношеніе займутъ церковь и синодъ къ его шагу. Надо узнать, куда онъ ушелъ,—въ

православіе или буддизмъ. Если въ православіе, то церковь радостно приметъ заблудшаго сына, хотя для этого понадобится отреченіе Толстого отъ его противохристіанскаго ученія столь же торжественное, какъ отлученіе.

Еп. чигиринскій Павелъ: Уходъ Толстого говоритъ о многомъ. Можетъ-быть, онъ на самомъ дѣлѣ мучился въ послѣднее время своимъ отпаденіемъ отъ вѣры православной и отъ церкви, и рука Божія направила его на путь истинный. Если вѣрить газетнымъ сообщеніямъ, Толстой въ Оптиной пустыни долго бесѣдовалъ со старцемъ Іосифомъ. Это еще болѣе говоритъ въ пользу предположенія объ его возвращеніи къ церкви. Православные христіане будутъ радоваться этому, ибо, надо отдать справедливость, Толстой - великій человѣкъ, онъ—міровая извѣстность. Помню, сколько шума было, когда онъ былъ отлученъ отъ церкви.

Еп. Никонъ: По всѣмъ даннымъ, имѣющимся у меня, я склоненъ думать, что во всей этой исторіи нѣтъ ничего такого, что заставило бы насъ видѣть въ этомъ религіозный переворотъ въ душѣ Толстого по отношенію къ церкви.

Вѣдь, Толстой не только противъ официальной церкви, онъ противъ самого Христа. Я вспоминаю разсказъ, слышанный мною отъ покойнаго В. Соловьева.

Однажды онъ встрѣтился съ Л. Н. Толстымъ и во время бесѣды о Христѣ Л. Н. назвалъ Богочеловѣка своимъ личнымъ врагомъ. Это и послужило главнымъ поводомъ къ разрыву между В. Соловьевымъ и Л. Н. Толстымъ.

У Л. Н. Толстого есть сестра, живущая въ Оптиной пустыни, пользующаяся въ высшихъ духовныхъ сферахъ большимъ уваженіемъ. Она постоянно находилась въ оживленной перепискѣ со своимъ братомъ, который нынѣ, быть-можетъ, и пожелалъ увидѣться съ нею, на склонѣ своихъ лѣтъ. Ради этого, быть-можетъ, онъ туда и направился.

Еп. Евлогій (членъ Гос. Думы): по моему глубокому убѣжденію, монастырь можетъ принять Л. Н., если даже онъ и явился туда не для раскаянія, а просто ища отдыха душѣ своей.

Архіепископъ новгородскій Арсеній: — Я затрудняюсь охарактеризовать тотъ процессъ, который нынѣ совершается въ душѣ Л. Н. Толстого. Трудно сказать пока, намѣренъ ли Левъ Николаевичъ искренно отказаться отъ своихъ первоначальныхъ религіозныхъ взглядовъ на православіе, отказаться отъ религіи человѣчества и вернуться къ той Божественной чистой христіанской религіи, въ которой живутъ милліоны русскихъ людей. Если это такъ, то, конечно, церковь должна радоваться, должна ликовать.

Признаніе Толстымъ официальной церкви, уходъ его въ монастырь принесутъ, несомнѣнно, громадную пользу церкви. Подумайте только, какое впечатлѣніе это должно произвести не только на его послѣдователей, такъ-называемыхъ толстовцевъ, но и на тѣхъ многочисленныхъ людей, которые именуютъ себя православными, но на самомъ дѣлѣ далеки отъ православія.

Говорятъ, что Толстой поселился въ обители или, во всякомъ случаѣ, недалеко отъ монастыря. Если это вѣрно, то въ этомъ, по-моему, нѣтъ ничего непріемлемаго для церкви. Л. Н. Толстой самъ ушелъ отъ церкви, самъ вынудилъ высшую церковную власть предать его анаѳемѣ. Если онъ вернулся или просто собирается вернуться въ лоно церкви, то послѣдняя не можетъ не принять его.

Директоръ департамента духовныхъ дѣлъ инославныхъ исповѣданій А. Н. Харузинъ: На вопросъ, какъ относится министерство внутреннихъ дѣлъ къ толстовскому событію, и не считаетъ ли правительство этотъ фактъ могущимъ способствовать распространенію ученія толстовцевъ, А. Н. Харузинъ отвѣтилъ:

— Толстовцевъ, какъ секту, мы не знаемъ. Мы при-

знаемъ сектантами лишь такія религіозныя сообщества, которыя представляютъ извѣстныя догматическія особенности. Синодскія сферы толкуютъ этотъ вопросъ гораздо шире, разсматривая его съ точки зрѣнія канонической. И, въ сущности, вопросъ о томъ, что слѣдуетъ называть сектой,—вопросъ очень спорный. На кіевскомъ съѣздѣ долго и ожесточенно спорили о томъ, слѣдуетъ признавать іоаннитовъ сектантами или нѣтъ. Рѣшили, что нѣтъ, но все-таки, въ виду широкаго распространенія іоаннитскаго ученія, за ними учрежденъ надзоръ, сосредоточенный въ департаментѣ духовныхъ дѣлъ. О толстовцахъ въ нашемъ вѣдомствѣ даже никогда не поднимался вопросъ. Сектантами они не являются, такъ какъ догматы ученія ихъ не выражены опредѣленно и представляютъ скорѣе выраженіе міросозерцанія отдѣльныхъ лицъ. Для насъ толстовцы представляются скорѣе соціальной организаціей, чѣмъ религіозной, и потому, конечно, они не могутъ подлежать надзору департамента духовныхъ дѣлъ, ибо если стать на точку зрѣнія признанія толстовцевъ сектой, то намъ пришлось бы искать сектантовъ среди нашей интеллигенціи, выслушивать религіозное мнѣніе каждаго, и, конечно, это былъ бы путь неправильный, не соотвѣтствующій закону и, наконецъ, даже не могущій принести реальной пользы.

— Уходъ Толстого интересуетъ насъ, какъ интересуетъ всю Россію, какъ все то, что такъ или иначе касается великаго и геніальнаго писателя, и только.

ПРИЧИНЫ УХОДА Л. Н. ТОЛСТОГО ИЗЪ „ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ".

Въ виду получаемыхъ мною со всѣхъ сторонъ запросовъ въ связи съ уходомъ Льва Николаевича Толстого изъ Ясной Поляны и въ виду того, что всеобщій интересъ къ его судьбѣ

вполнѣ естественъ и законенъ, я считаю себя обязаннымъ сообщить то немногое, что, какъ близкій другъ Л. Н—ча, имѣю право высказать въ данномъ случаѣ.

О причинахъ его ухода, касающихся интимной стороны его семейной жизни, распространяться, разумѣется, не подобаетъ. И вообще я не сомнѣваюсь въ томъ, что тѣ, кому дорогъ Л. Н., согласятся съ тѣмъ, что къ этому его поступку слѣдуетъ отнестись въ томъ же духѣ, въ которомъ онъ его совершилъ. Совершилъ же онъ его между прочимъ ради того, чтобы удалиться въ уединеніе. А потому, чѣмъ меньше люди будутъ разбирать причины его ухода, тѣмъ пріятнѣе это будетъ ему самому и тѣмъ больше они проявятъ къ нему истинной деликатности.

Въ этомъ смыслѣ лучше всего, конечно, было бы, чтобы никому, кромѣ ближайшихъ ему лицъ, не было извѣстно о перемѣнѣ, совершившейся въ личной жизни Л. Н—ча. Но такъ какъ это невозможно, а, наоборотъ, все, касающееся его жизни, неизбѣжно получаетъ широкую огласку, то молчать нельзя, а необходимо дать хоть нѣкоторыя правдивыя свѣдѣнія въ противовѣсъ тѣмъ ложнымъ и нежелательнымъ слухамъ, которые уже стали проникать въ печать.

Съ своей стороны могу только сказать, что предпринятый Л. Н—чемъ шагъ онъ предварительно долго обдумывалъ, и что если онъ, наконецъ, рѣшился на него, то только потому, что почувствовалъ передъ своей совѣстью, что не можетъ поступить иначе. И всѣ тѣ, которые знаютъ и понимаютъ то, чѣмъ живетъ Л. Н—чъ, не станутъ сомнѣваться въ томъ, что, какъ бы ни поступилъ онъ и въ будущемъ, руководить имъ будетъ въ серьезныхъ рѣшеніяхъ его жизни всегда это же самое стремленіе поступать не такъ, какъ ему хочется, а какъ велитъ ему Богъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, чтобы человѣкъ его возраста искалъ для себя возможности тихой, сосредоточенной жизни для того, чтобы приготовиться къ смерти, приближеніе которой онъ не можетъ не чувствовать.

Друзьямъ Л. Н—ча пріятно будетъ узнать, что со времени своего ухода изъ Ясной Поляны онъ бодръ, дѣятеленъ и вообще физически чувствуетъ себя хорошо, а душевно продолжаетъ живо интересоваться и откликаться на то, что дѣлается на свѣтѣ. Такъ, напримѣръ, онъ успѣлъ уже окончить весьма содержательное новое письмо-статью *) въ связи съ вопросомъ о смертной казни и собирается приняться за осуществленіе нѣкоторыхъ изъ тѣхъ художественныхъ замысловъ, которые неотступно слагаются въ его душѣ. Ко всему непосредственно его окружающему и встрѣчаемому имъ онъ продолжаетъ относиться съ величайшимъ вниманіемъ, интересомъ и обычной его чуткостью и отзывчивостью.

Ушелъ Л. Н—чъ съ другомъ своимъ, докторомъ Маковецкимъ, жившимъ съ нимъ уже много лѣтъ и обществомъ котораго дорожилъ не ради его медицинской спеціальности (къ которой, какъ извѣстно, Л. Н—чъ относился отрицательно), а въ виду своей личной дружбы и довѣрія къ нему. Ближайшая помощница Л. Н—ча, дочь его Александра Львовна, вчера къ нему поѣхала.

Л. Н—чъ желаетъ, чтобы его мѣстопребываніе оставалось, по возможности, не извѣстнымъ. А потому всякое разыскиваніе его со стороны кого бы то ни было будетъ прямымъ и тяжелымъ для него нарушеніемъ его воли. Мы можемъ только пожелать ему въ той скромной обстановкѣ, среди близкаго его сердцу, простого русскаго народа, въ которой онъ ищетъ уединенія и сосредоточенія, безпрепятственно найти то, чего жаждетъ его душа и чего онъ такъ заслужилъ своими неустанными и безстрашными трудами въ интересахъ, духовныхъ и матеріальныхъ, страждущаго и порабощеннаго человѣчества.

В. Чертковъ.

*) Эта статья напечатана въ началѣ настоящаго сборника. *Ред.*

ГР. А. Л. ТОЛСТОЙ ОБЪ УХОДѢ ОТЦА.

Графъ Андрей Львовичъ Толстой по поводу отъѣзда своего великаго отца изъ „Ясной Поляны“ сдѣлалъ въ печати слѣдующее заявленіе: Причины, по которымъ удалился мой отецъ, коренятся въ давнихъ взглядахъ его на такъ-называемую интеллигентную жизнь. Даже нашъ скромный обиходъ и обстановка представлялись ему всегда ненужной роскошью. Вѣроятно, Левъ Николаевичъ давно рѣшилъ куда-нибудь ѣхать, чтобы повести жизнь болѣе простую и, можетъ быть, одинокую. Такимъ образомъ, фактъ отъѣзда моего отца хотя и является для всей семьи глубоко огорчительнымъ, но не совершенно неожиданнымъ. Самъ по себѣ отъѣздъ графа не могъ бы разрастись въ чрезмѣрное ссбытіе, если бы не явилось осложненіе. Моя мать, менѣе всѣхъ ожидавшая такого шага графа, приняла къ сердцу это происшествіе; ея горе было такъ велико, что она не удовлетворилась только слезами и словами сожалѣнія, но, впавъ въ глубокое отчаяніе, даже покушалась на самоубійство и бросилась въ прудъ. Ея нервы не выдержали разлуки съ Л. Н. Ей показалось несчастье непоправимымъ. Этотъ печальный случай потрясъ всю нашу семью. Это—фактъ совершенно интимный, не подлежащій оглашенію въ печати, но неожиданно для насъ въ тульскихъ и московскихъ газетахъ появились описанія нашего семейнаго горя и притомъ въ тонѣ извѣстій, называемыхъ сенсаціонными, поэтому я теперь рѣшаюсь самъ разсказать все, что знаю, чтобы въ газетахъ появились точныя свѣдѣнія о происшествіи въ Ясной Полянѣ. Отецъ мой былъ за послѣднее время вполнѣ здоровъ, ѣздилъ верхомъ, но письменными работами занимался менѣе обыкновеннаго. Рѣшивъ уѣхать, онъ никому объ этомъ не сказалъ, даже моей сестрѣ Александрѣ Львовнѣ. Онъ лишь недавно далъ ей знать, гдѣ находится, и моя сестра немедленно уѣхала къ нему. Намъ она о мѣстѣ пребыванія Л. Н. не сообщила, такъ какъ моя мать, оправившись отъ нерв-

наго припадка и зная, гдѣ находится мой отецъ, сейчасъ отправилась бы къ нему и, конечно, согласилась бы раздѣлить съ нимъ даже самыя суровыя условія жизни, лишь бы не разлучаться съ любимымъ супругомъ. Что касается насъ, остальныхъ членовъ семьи Льва Николаевича, то мы держимся такого взгляда на отъѣздъ отца: ни разыскивать его, ни убѣждать возвратиться мы не считаемъ себя въ правѣ. Желаніе, воля отца для насъ священны; мы глубоко скорбимъ, мы желаемъ его возвращенія, но какъ поступитъ Л. Н., это намъ неизвѣстно.

УХОДЪ ВЪ МІРЪ.

Во всѣхъ газетахъ и у всѣхъ на устахъ одна и та же толкуемая на разные лады фраза: „Толстой удалился изъ міра". Толстой отрекся отъ міра, Толстой ушелъ отъ міра въ пустыню, въ отшельничество, даже въ монастырь. Чтобы правильно оцѣнить отъѣздъ Толстого изъ „Ясной Поляны", надо прежде всего понять, что Толстой отъ міра не удалялся, что Толстой не собирался сдѣлаться какимъ то пустынникомъ, не говоря уже о монастырскомъ житіи, которое по отношенію къ Толстому является совершенно немыслимымъ.

Толстой не уходилъ отъ міра, а наоборотъ — рѣшилъ идти въ міръ. Отшельничествомъ скорѣе можно назвать его пребываніе въ „Ясной Полянѣ", теперь же въ его душѣ зазвучалъ, какъ у Пушкинскаго Родриго, одинъ властный призывъ:

— Встань и міру вновь явись!

И послушный этому призыву онъ покидаетъ свое жилище и не уходитъ изъ міра, а идетъ въ міръ. Раскройте „Воскресенье" и взгляните въ конецъ второй части: „Да, совсѣмъ новый, другой, новый міръ",—думалъ Нехлюдовъ,

глядя на эти сухіе, мускулистые члены, грубыя, домодѣльныя одежды и загорѣлыя, ласковыя и измученныя лица, и чувствуя себя со всѣхъ сторонъ окруженнымъ совсѣмъ новыми людьми, съ ихъ серьезеыми интересами, радостями и страданіями настоящей, трудовой и человѣческой жизни. „Вотъ онъ, le vrai grand monde“, думалъ Нехлюдовъ, вспоминая фразу, сказанную княземъ Корчагинымъ, и весь этотъ праздный, роскошный міръ Корчагиныхъ съ ихъ ничтожными, жалкими интересами. И онъ испытывалъ чувство радости путешественника, открывшаго новый неизвѣстный и прекрасный міръ“.

Въ этотъ новый, многимъ неизвѣстный и прекрасный міръ и направился Толстой. Онъ порывалъ связи съ тѣмъ обществомъ, которое состоитъ изъ командующихъ классовъ, съ тѣмъ обществомъ, которое имѣетъ достаточно средствъ и досуга, чтобы „погружаться въ искусства, въ науки“, онъ порывалъ съ этимъ обществомъ, причастнымъ къ проливаемой крови и шелъ въ широкій міръ сермяжной голодной Руси. Онъ хотѣлъ передъ концомъ жизни прикоснуться, какъ древній Антей, какъ Илья Муромецъ, прикоснуться къ родной землѣ, въ особенную святость, которой онъ какъ-то по дѣтски и пророчески вѣрилъ. Онъ шелъ, чтобы ощутить свою тѣсную связь съ той землей, которую по словамъ поэта

Въ рабскомъ видѣ Царь небесный
Исходилъ, благословляя.

Толстой ушелъ отъ общества, дающаго тонъ жизни. Да и какъ же было не уйти. Вѣдь еще много лѣтъ тому назадъ онъ крикнулъ русскому обществу: „Опомнитесь, остановитесь, хоть на минуту и подумайте о томъ, что вы дѣлаете. Подумайте о своей жизни“.

Этотъ крикъ безплодно замеръ въ воздухѣ. Дѣловитое общество назвало его проповѣдью ничегонедѣланія. И все шло попрежнему.

Возмущенный варварскимъ обычаемъ сѣченія людей онъ крикнулъ:

— Стыдно!

Людей продолжали истязать. Дальше пошло еще хуже. Справедливо говоритъ Мережковскій: „Говорилъ, кричалъ, плакалъ, вопилъ, умолялъ: „Опомнитесь, что вы дѣлаете? А если не хотите опомниться, то сдѣлайте и со мной то же, что съ другими. Накиньте намыленную веревку на мою старческую шею".

Никто не услышалъ. Презрѣніе было въ томъ, что его щадили, не трогали, не обращали вниманія". Презрѣнія, конечно, не было. Онъ былъ просто слишкомъ огроменъ, чтобы его можно было тронуть. Вѣдь нельзя скрыть ни Монблана, ни Эльборуса. Въ глубокой древности можно было бичевать море: но какъ ни безумно наше время, бичевать море теперь уже нельзя. Толстой оставался неприкосновеннымъ, но въ этой неприкосновенности былъ своеобразный ужасъ. Толстой былъ свободенъ, но эта свобода походила на свободу Тараса Бульбы, когда онъ присутствовалъ при смерти своего сына. И въ отвѣтъ на непрестанно раздававшіяся: слышишь ли, Толстой во весь свой голосъ кричалъ: „Слышу, слышу и не могу молчать".

Онъ кричалъ и оставался неприкосновеннымъ. Онъ мучительно завидовалъ тѣмъ, которыхъ сажали въ тюрьмы, хотѣлъ быть на ихъ мѣстѣ, жаждалъ утишающаго душевныя муки физическаго страданія, но все было напрасно. Поймите всю глубочайшую боль, терзавшую измученное сердце великаго старика. Поймите тотъ изумительный ужасъ, когда въ истомленную душу прокрадывается кошмарное сознаніе:

— Да вѣдь я плоть отъ плоти ихъ, кость отъ костей. Вѣдь, очевидно, меня потому и оставляютъ въ покоѣ, что я живу одной съ ними жизнью.

Поймите это и вамъ станетъ понятно, что уходъ Толстого былъ освобожденіемъ, что какъ ни больно было ему

рѣшиться на разрывъ съ семьей, какъ съ частицей общества, все-таки уходя изъ „Ясной Поляны“ съ болью въ измученномъ сердцѣ, онъ вздохнулъ свободно.

„Толстой рѣшилъ, — говоритъ Эрнфельдъ,—исполнить крайнія требованія христіанскаго ученія... Если рѣшусь это сдѣлать на старости лѣтъ, — высказывалъ Л. Н. какъ то раньше,—то скажутъ, что не выдержалъ семейной обстановки. Я доказалъ, что могу ее выдержать. Колеблюсь не изъ боязни, что мнѣ будетъ тяжело, скорѣе боюсь слишкомъ облегчить бремя жизни“.

На 83 году онъ сдѣлалъ попытку начать новую жизнь. Какъ герой „Ходите въ свѣтѣ“ онъ рѣшилъ, что все-таки не поздно. И онъ освободился и пошелъ...

А. Хирьяковъ.

ВЕЛИКОЕ ОДИНОЧЕСТВО.

Какое странное извѣстіе! Какъ непріемлемо звучитъ оно для нашего слуха: Левъ Николаевичъ Толстой покинулъ свой домъ, свою семью, ушелъ, невѣдомо куда, чтобы больше не возвращаться.

Ясная Поляна, гдѣ все было приспособлено къ его вкусамъ—тепло, уютъ, любовь, нѣжная забота родныхъ и близкихъ... На закатѣ жизни, на восемьдесятъ второмъ году, въ возрастѣ, когда слабѣющее тѣло именно какъ разъ болѣе всего нуждается въ теплѣ, въ заботливомъ уходѣ, онъ отъ всего отказывается и идетъ въ невѣдомыя мѣста, чтобы больше не вернуться—и куда? Въ Ясную Поляну, гдѣ протекли его годы плодотворной работы, годы славы, въ то счастливое мѣсто, куда въ продолженіе десятковъ послѣднихъ лѣтъ напряженно, съ вѣчнымъ ожиданіемъ, что вотъ родится на свѣтъ новая истина, смотрятъ милліоны глазъ, ищущихъ правды, въ эту новую Мекку,

куда знаменитые люди изъ всѣхъ странъ ходили на поклоненіе великому старцу...

Какъ понять это слабому человѣку, привыкшему жить среди условій обыденной жизни. Весь онъ зависитъ отъ ея требованій и необходимостей, вся его дѣятельность плотно лежитъ въ рамкахъ ея условностей. Безъ этихъ условностей онъ—ничто. Въ нихъ его жизнь и смерть.

Но что такое была жизнь яснополянскаго богатыря духа, какъ не страстная неустанная борьба противъ лживыхъ условностей жизни такъ называемаго культурнаго общества. Онѣ и на него наложили свои цѣпи и старались приковать его къ мѣсту, къ дому, къ семьѣ, къ обязанностямъ. Онъ боролся, но, какъ человѣкъ, часто уступалъ, и эти неизбѣжныя уступки составляли муку его жизни. Мы знаемъ, что въ послѣдніе годы умъ его постоянно былъ занятъ стремленіемъ разрѣшить высочайшія проблемы жизни и смерти. Душа его жаждала оторваться отъ будничныхъ заботъ и слиться съ Богомъ, въ котораго онъ вѣрилъ.

А будничныя заботы наступали на него и окружали его со всѣхъ сторонъ. Правда, ихъ приносили люди, горѣвшіе любовью къ нему, жаждавшіе услышать отъ него живое слово. Но, горя любовью, каждый шелъ къ нему со своей личной, маленькой нуждой, со своими тревожными запросами и недоумѣніями. А онъ былъ слишкомъ человѣченъ, онъ никому не могъ отказать. Какъ источникъ прохладной чистой ключевой воды среди знойной пустыни утоляетъ жажду каждаго, кто припадаетъ къ нему дрожащими устами, такъ онъ откликался на скорбные призывы милліоновъ душъ...

„Только тотъ истинно великъ, кто одинокъ“,—говоритъ ибсеновскій докторъ Штокманъ. Былъ геній, который среди суетливой придворной толпы умѣлъ быть одинокимъ. Это—Гете. Но то былъ геніальный умъ. Л. Н. Толстой вмѣстѣ съ огромнымъ умомъ соединяетъ великую душу. И вотъ этой-то великой душѣ стало невмоготу больше жить въ рамкахъ условности...

Было что-то пророческое въ послѣднихъ созданіяхъ великаго старца. Пророческой проникновенностью звучало каждое его изреченіе, каждое слово... И вотъ, какъ древле-израильскіе пророки, какъ Христосъ, какъ Будда, какъ всѣ великіе провозвѣстники истины, онъ покидаетъ домъ, родныхъ и друзей и уходитъ—въ одиночество.

Въ дѣтствѣ я читалъ, что царственный левъ, когда начинаетъ чувствовать, что дни его идутъ къ закату, покидаетъ свое жилище и удаляется въ великое одиночество. Но мнѣ хочется вѣрить, и я вѣрю, что Левъ Николаевичъ Толстой, нашъ царственный левъ духа, въ своемъ величественномъ одиночествѣ долго будетъ жить и давать моей родинѣ право гордиться тѣмъ, что онъ въ ней родился и живетъ. И, можетъ быть, подаритъ насъ еще великими созданіями...

П. Н. Потапенко.

ПОСЛѢДНІЙ ПОДВИГЪ.

Глубокая драма свершается въ эту минуту не столько въ русской литературѣ, сколько въ русской жизни. Великій старецъ 82-хъ лѣтъ, графъ Левъ Толстой, съ той высоты, на которую его вознесли его геній и его всемірная слава, прежде чѣмъ уходить изъ жизни, уходитъ изъ міра и бросаетъ свое гнѣздо, гдѣ въ семейномъ кругу онъ столько десятковъ лѣтъ былъ счастливъ. Уходитъ—но куда, зачѣмъ? На первый вопросъ—куда Толстой уходитъ—его первые шаги указываютъ, что опредѣленнаго маршрута для одинокаго скитанія и для обрѣтенія пріюта онъ не имѣлъ, уходя тайкомъ изъ своей „Ясной Поляны“. На второй вопросъ—зачѣмъ—еще труднѣе отвѣтить. Я слышу скептиковъ, которые этотъ послѣдній драматическій поступокъ геніальнаго писателя хотятъ объяснить психически болѣзненнымъ увле-

ченіемъ; я читаю въ газетныхъ розсказняхъ, безцеремонно врывающихся въ тайники жизни семьи гр. Толстого, какіе-то толки о раздорахъ между супругами изъ-за какого-то милліона, который будто бы предлагаютъ гр. Толстому за право собственности на его сочиненія и котораго онъ не принимаетъ, объявляя свои сочиненія общимъ достояніемъ всѣхъ... Но, читая такія толкованія, я знаю, что это ложь, ибо никогда не только денежные вопросы, но никакіе вопросы не разъединяли супруговъ Толстыхъ и не могли вліять на обожаніе, которое графиня Толстая питала къ мужу. Но если эти, мною приведенные, отвѣты на вопросъ, зачѣмъ ушелъ гр. Толстой отъ своего семейнаго очага, не выдерживаютъ критики, то все же мнѣ представляется, что есть возможность поступку гр. Толстого дать смыслъ и толкованіе правдоподобные.

Періодъ самопередѣлыванія, въ который вступилъ душою гр. Толстой, длился долго. Однимъ изъ первыхъ его проявленій была попытка себя приравнивать къ рабочимъ изъ народа и посвящать часы досуга работамъ сапожника и печника. Окружавшіе его крестьяне называли эти занятія гр. Толстого чудачествомъ, а въ образованномъ мірѣ скептики называли гр. Толстого комедіантомъ. А между тѣмъ это увлеченіе гр. Толстого, какъ ни странно оно было, было искренне, и, гуляя по селу въ мужицкомъ одѣяніи, онъ находилъ удовлетвореніе въ мысли, что это первая ступень его задачи самопередѣлыванія. А то, что онъ сдѣлалъ сегодня, бросивъ домъ долголѣтней семейной жизни, чтобы кончать свою жизнь въ разлукѣ со всѣми отрадами и усладами жизни, является послѣднимъ дѣломъ его задачи самопередѣлыванія. А въ промежутокъ между этими двумя моментами его послѣдняго періода жизни какой долгій свершалъ онъ подвигъ работы надъ своимъ духовнымъ *я!* Я говорю—подвигъ. Да, это былъ великій подвигъ, имъ свершавшійся,—великій, впрочемъ, какъ все, что свершала его духовная личность. За этотъ періодъ, напримѣръ, не великъ

ли былъ по своему духовному значенію актъ отреченія отъ своихъ авторскихъ правъ въ пользу всѣхъ и каждаго, изображавшій собою огромныя цифры дохода, которыхъ онъ себя лишалъ во имя презрѣнія къ богатству. Это не было бы подвигомъ для человѣка, съ молодости презирающаго деньги, но это было подвигомъ побѣды новаго Толстого надъ старымъ, ибо я помню время, когда Катковъ, издатель журнала „Русскій Вѣстникъ", мнѣ говорилъ, какъ къ нему пріѣзжалъ Толстой, печатавшій тогда свое дивное твореніе „Война и миръ" въ катковскомъ журналѣ, и просилъ увеличенія и безъ того громаднаго гонорара, „для округленія своего имѣнія Ясная Поляна прикупкою землицы", какъ онъ говорилъ. Во всякомъ случаѣ, на своемъ долгомъ вѣку я не слыхалъ, чтобы какой-либо писатель, достигшій славы, въ минуту, подобную той, какую пережилъ Толстой, совершилъ такое дѣло лишенія себя громаднаго дохода во имя высокой идеи.

Но самымъ интереснымъ и знаменательнымъ мотивомъ этого періода жизни гр. Толстого, посвященной самопередѣлкѣ, подъ вліяніемъ усиленной работы мысли, является сопоставленіе этой работы постепеннаго отвязыванія себя отъ всѣхъ обольщеній земной славы и суеты съ апогеемъ, такъ сказать, его земного величія. Вѣдь работа души его происходила въ той „Ясной Полянѣ", которая стала Сіономъ безчисленнаго множества со всѣхъ концовъ земли къ нему на поклоненіе стекавшихся людей, и въ натурѣ и въ видѣ тысячей писемъ. Въ такой моментъ жизни трудно себѣ представить человѣка, котораго не коснулись бы своимъ ядомъ гордость, самообольщеніе и самообожаніе и не удалили навсегда отъ всякаго помысла самопередѣлыванія. Въ жизни гр. Толстого именно этотъ моментъ апогея его всемірной славы совпадаетъ съ тою духовною метаморфозою, когда эта слава начинаетъ сперва его тяготить, а потомъ мучить и когда параллельно съ этимъ съ тою же постепенностью начинаетъ въ немъ усиливаться стремленіе

къ тому духу вездѣсущаго Бога, исповѣданію коего Толстой посвятилъ свою религію.

И вотъ, надо думать, что сей великій творецъ и художникъ мысли потому рано утромъ, забывъ свои 82 года, запрягъ тайкомъ свою лошадь и покинулъ свой домъ навсегда, что наступила послѣдняя, такъ сказать, минута его подвига самопередѣлыванія, минута, когда онъ сказалъ себѣ: я отрекся отъ поклоненія славѣ и деньгамъ, но этого недостаточно; и если я проповѣдовалъ ближнему презрѣніе ко всѣмъ идоламъ земной жизни и стремленіе къ Богу, какъ сущность жизни, то мнѣ ли жить въ довольствѣ и въ нѣгѣ, пользуясь уходомъ за мною всей семьи, и не на мнѣ ли лежитъ долгъ передъ смертью тѣлесною отречься отъ послѣднихъ усладъ жизни и умереть для міра?

Кн. В. Мещерскій.

ОСВОБОЖДЕНІЕ ОТЪ ПУТЪ.

Вокругъ Л. Н. Толстого стояла послѣдніе 10—15 лѣтъ такая суетно-рекламная атмосфера, что немудрено, если его гордый духъ, наконецъ, задохнулся. Достаточно было прочесть его послѣднюю вещь „Три дня въ деревнѣ“, чтобы понять и предвидѣть его жажду уйти „въ міръ“ (а вовсе не въ эстетическое уединеніе), широко распахнувъ двери той своеобразно-тепличной темницы, въ которой его держали. Трудно было его широкимъ альтруистическимъ инстинктамъ мириться съ раздачею пятаковъ проходящимъ нищимъ, а его глубокому пониманію истинныхъ жизненныхъ задачъ съ искусственной мужицко барской комедіей, въ которой ему выпало играть центральную роль. Можно дивиться, что ему не удалось раньше отдѣлаться отъ тягостныхъ искусственныхъ путъ, обрекшихъ его внутреннее „я“ на вѣчную утомительную борьбу съ самимъ собою и окружающею его

обстановкой. Сейчасъ идетъ вопль, какъ будто бы Толстой „сбѣжалъ“ и „потерялся“. Для Толстого — вездѣ семья и всюду близкіе. Гдѣ бы онъ ни былъ, всякій о немъ позаботится, безъ тягостной для него опеки и предъявленія на него какихъ-либо тщеславно-матеріальныхъ и исключительныхъ правъ.

Не будемъ же отравлять послѣднихъ лѣтъ великому старцу и съ большей вдумчивостью и деликатностью пройдемъ мимо, быть можетъ, самаго важнаго событія его интимной личной жизни.

Н. Карабчевскій.

ПОЧЕМУ? ЗАЧѢМЪ?

„Я съ негодованіемъ отвергаю слухи, будто отъѣздъ Толстого—реклама“.

Это съ самымъ серьезнымъ видомъ и съ полнымъ сочувствіемъ къ Толстому произнесъ старый Шпильгагенъ. И на томъ спасибо. Вообще, замѣтили ли вы, какъ высказываются объ уходѣ Толстого европейскіе писатели, ученые, общественные дѣятели? Въ ихъ мнѣніяхъ много деликатности, много осторожности, много почтенія,—знаютъ же, въ самомъ дѣлѣ, о комъ они говорятъ!—но все время чувствуется, что для нихъ поступокъ Толстого, прежде всего, совершенно чуждъ....

У насъ уходъ Толстого поняли всѣ Поняли не совсѣмъ одинаково: однимъ захотѣлось, чтобы онъ ушелъ въ міръ, слился вплотную со всею массой стремившихся къ нему людей; другимъ показалось, что гораздо правильнѣй уйти Толстому отъ міра, въ уединеніе, въ сосредоточенность. Но всѣ поняли именно въ высшемъ смыслѣ и, разомъ понявъ, обрадовались, умилились, и всѣмъ какъ-то легче стало жить.

Вѣдь, во всѣхъ, даже самыхъ маленькихъ, людяхъ есть подобіе великаго человѣка, есть кусочекъ Толстого. То, что Толстой совершаетъ въ колоссальныхъ размѣрахъ, то маленькіе, рядовые люди совершаютъ въ размѣрахъ маленькихъ, но то же самое. И такъ же борются съ собой, и такъ же побѣждаютъ временами себя и бываютъ собой побѣждаемы. А свойства натуры нашей и еще больше тѣ условія, среди которыхъ жили и живемъ мы, зовутъ даже и срединныхъ людей, хотя бы только въ предвкушеніи къ идеалу, къ подвигу, къ самоотреченію. Поэтому уходъ Толстого, этотъ заключительный, величайшій его поступокъ, взволновалъ, и взволновалъ необыкновенно плодотворно, всѣ сердца. Словно грянулъ громъ, и очистился воздухъ, и изъ-за черныхъ нависшихъ тучъ заголубѣло глубокое, зовущее къ себѣ небо.

Вотъ только волнуетъ: въ міръ или отъ міра? Къ намъ или отъ насъ? А если отъ насъ,—не нужнѣе ли это, чѣмъ къ намъ? Человѣкъ поставленъ на горѣ, высочайшей изъ горъ, на вершину, до которой не досягала нога человѣческая, и говоритъ оттуда голосомъ, который слышенъ всему міру. Стоять бы всѣмъ на своихъ мѣстахъ и слушать. Но каждый отдѣльный человѣкъ говоритъ:

— Мнѣ такъ неудобно: кое-что я не понимаю, кое-что не дослышалъ, кое съ чѣмъ хочу поспорить, да и говоритъ онъ не совсѣмъ то, что именно мнѣ нужно. Пускай сойдетъ онъ ко мнѣ, въ долину, и поговоритъ со мною, отвѣтитъ на мои вопросы, выслушаетъ мои возраженія.

И зовутъ, и онъ приходитъ и бесѣдуетъ съ каждымъ отдѣльно. И не сознаютъ эти люди, что, зовя къ себѣ, отнимаютъ его у всѣхъ; не умѣютъ понять, что то, что ему нужно сказать, онъ скажетъ наиболѣе полно, наиболѣе ясно, наиболѣе продуманно именно тамъ, на горѣ. Одни зовутъ по дѣлу самой первой для нихъ важности; другимъ только кажется, что дѣло такъ ужъ важно; третьимъ даже и не кажется, но они должны позвать. Изъ подражанія, изъ

любопытства, отъ безпокойства своего характера, а то такъ даже и изъ выгоды. И всякій:

— Ко мнѣ иди! Ко мнѣ иди! Говори со мной!..

Но, вѣдь, онъ можетъ говорить со всѣми вмѣстѣ! И если вы не довольствуетесь тѣмъ, что онъ неустанно говорилъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ, то почему удовольствуетъ васъ часовая бесѣда? Вамъ хочется, чтобы онъ шелъ въ міръ въ гущу его, и училъ. А что, если ему надо учиться? Или вамъ кажется, что учатся только до двадцати лѣтъ? Передъ тѣмъ, какъ учить, уходятъ въ пустыню для бесѣды съ Богомъ и съ самимъ собою. И уходить можно не только передъ началомъ проповѣди, но и въ серединѣ ея, и въ концѣ.

Тѣмъ и великъ Толстой, что и сейчасъ въ душѣ его идетъ та же самая работа, какая шла и въ дѣтствѣ и въ отрочествѣ и въ зрѣлыхъ лѣтахъ.

Сергѣй Яблоновскій.

СВОЙСТВО ГЕНІЯ ТОЛСТОГО.

А что, если бы графиня Софія Андреевна Толстая дѣйствительно покончила самоубійствомъ (въ вечернихъ газетахъ сообщается свѣдѣніе, будто она два раза покушалась, но была спасена)... Какимъ это страшнымъ грузомъ легло бы на совѣсть Льва Николаевича! Между тѣмъ, тотъ аскетическій порывъ, который охватилъ душу могучаго и вмѣстѣ съ тѣмъ безсильнаго старца, былъ (это ясно) непобѣдимъ, какъ стихія. Существуетъ древній опытъ, который въ отношеніи мистическихъ и аскетическихъ переживаній мудрѣе и опытнѣе любого единоличнаго генія: это опытъ церкви, собирательный опытъ древнихъ созерцателей, древнихъ богоносцевъ, который все позналъ и все предвидѣлъ. И недаромъ церковь принимаетъ въ монаше-

ство женатыхъ людей только подъ условіемъ, чтобы оба супруга отреклись отъ міра. Конечно, я имѣю въ виду не официальное монашество церковныхъ чиновниковъ, но монашество въ идеалѣ, въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ оно создавалось, удовлетворяя глубокимъ потребностямъ аскетическихъ сторонъ человѣческаго духа. То, что теперь переживаетъ Толстой, переживалось когда-то безчисленнымъ множествомъ людей, потому что прежде собирательная мысль человѣчества шла по этимъ путямъ такъ же настойчиво, какъ теперь идетъ по путямъ научнымъ, политическимъ, общественнымъ и другимъ. И въ этой области все было сказано, все было испытано.

Любопытное свойство генія Толстого состояло всегда въ томъ, что онъ постоянно стремился сызнова начать и продѣлать самоучкою всю работу человѣчества: онъ выдумывалъ экономическія теоріи, которыя раньше были разработаны наукою, т.-е. преемственнымъ трудомъ поколѣній, онъ къ каждому вопросу жизни любилъ подходить такъ, чтобы все прошлое шло на смарку и на каждую вещь устанавливалась новая точка зрѣнія. Развѣ не таковъ во всѣхъ подробностяхъ его романъ „Воскресеніе“? Но, какъ бы ни былъ великъ человѣкъ, онъ—меньше человѣчества. Онъ можетъ дать вкладъ (громадный) въ работу народовъ, но замѣнить своимъ вкладомъ работу народовъ и поколѣній не можетъ.

И вотъ Толстой захотѣлъ разобраться въ области нравственной геніальности такъ же единолично и самобытно, какъ прежде разбирался въ областяхъ искуства и мышленія. И вышло что-то поражающее, большое, но несовершенное. Потому несовершенное, что причинило страданіе его близкимъ.

А. Столыпинъ.

ЛЕГЕНДА XX ВѢКА.

Неожиданный, но совершенно правдоподобный, ошеломляющій, но психологически такой понятный, пришелъ слухъ изъ Ясной Поляны. Толстой покинулъ ее. Оставилъ жену, семью, роскошь своей красивой родовой усадьбы и ушелъ. Куда? — пока еще не извѣстно. Но извѣстно, что ушелъ именно отъ этой роскоши, отъ суеты жизни знаменитости, отъ всего слишкомъ мірского духа своего дома.

Все послѣднее время, смутныя и неясныя, долетали изъ Ясной Поляны вѣсти. Онѣ передавались шепотомъ, не попадая въ газеты, и говорили о томъ, что странно сгущается атмосфера въ домѣ великаго старика. Все единодушнѣе было общее впечатлѣніе всѣхъ чуткихъ людей, заглядывавшихъ въ послѣднее время въ уголокъ маститаго патріарха нашей литературы, что воздухъ яснополянскаго дома его гнететъ, что пафосъ его души, рвущейся на недостижимыя высоты, трагически расходится съ земными настроеніями его окружающихъ, съ суетою ежедневныхъ посѣщеній, ненужными, мелкими, земными людьми, съ практическими расчетами, которые вторгались въ его „умное“ бытіе, принижая полетъ его ума и сердца.

Чуткіе люди писали о Толстомъ, о своихъ поѣздкахъ къ нему, о разговорахъ съ нимъ, но самое главное, самое интимное не попадало на печатный листъ, читалось между строкъ. Сквозь очарованіе личности великаго старика намѣчалась у всѣхъ одна мысль: „Великій старикъ, прекрасный старикъ, но что ему дѣлать въ Ясной Полянѣ?“

Среди земныхъ, обыкновенныхъ, практическихъ людей онъ казался какимъ-то блаженнымъ или младенцемъ, не раздѣляющимъ ихъ заботъ и задачъ, ушедшимъ въ свою глубокую душевную работу, чуждымъ всему, что происходитъ въ мірѣ обывательщины, и почти изъ приличія прислушивающимся къ шуму газетъ, къ разговорамъ о Думѣ и въ Думѣ, къ вопросу о доходности своихъ сочиненій.

Думалось, такому человѣку нужно создать свою „келью подъ елью“ и уйти въ нее, какъ уходили другіе русскіе люди нашей церковной или исторической легенды, наши Алексѣи человѣки Божіи или таинственные Федоры Кузьмичи.

— „Въ этомъ писателѣ и мыслителѣ мнѣ чувствуется какая то честная фальшь“, — писалъ однажды о Толстомъ Кнутъ Гамсунъ, прекрасно формулируя мысль, раздѣляемую огромнымъ числомъ нашей интеллигенціи.

Проповѣдникъ и моралистъ, Толстой въ самомъ дѣлѣ, оставлялъ до сей поры зданіе своего ученія недостроеннымъ. Его ученіе о непротивленіи злу, о высшемъ благѣ самосовершенствованія, о „единомъ на потребу“, объ опрощеніи, объ отказѣ отъ всякаго угодничества плоти, объ отреченіи отъ собственности,—оставалось прекрасной возвышенной проповѣдью, практически неосуществленною собственнымъ примѣромъ. Была въ самомъ дѣлѣ какая-то „честная фальшь“ въ томъ, что, самъ не знающій собственности, онъ жилъ подъ крыломъ людей, признававшихъ и любившихъ эту собственность. Пророкъ опрощенія, онъ былъ предметомъ нѣжнѣйшихъ заботъ людей, ловившихъ каждое его желаніе и обставлявшихъ вечеръ его жизни всѣми удобствами и радостями, какія только можетъ дать богатство и послѣднее слово человѣческой изобрѣтательности.

Лучшія созданія родного и иноземнаго генія во всѣхъ областяхъ услаждали его зрѣніе и слухъ. Художественная душа, извлекавшая отсюда высокія наслажденія, Толстой не могъ не чувствовать въ душѣ жестокой фальши такого существованія. Ни для кого изъ лично видѣвшихъ Толстого, хотя бы послѣ однократнаго посѣщенія Ясной Поляны, не оставалось тайной, чѣмъ въ тихомъ тульскомъ уголкѣ, этой Меккѣ интеллигенціи,—дѣется и зрѣетъ глубокая и мучительная драма,—драма могучей души, попавшей въ обстановку обычности, могучаго льва въ клѣткѣ домашняго животнаго. И эта драма была тѣмъ тяжелѣе, что она была драмой и съ другой стороны, гдѣ люди, безъ сомнѣнія, го-

рячо любящіе и преданные Толстому, налагая неудобоносимое бремя на великаго человѣка, вѣрили, по искреннему убѣжденію, что исполняютъ святой долгъ совѣсти передъ нимъ и родиной. Тайна семьи Толстыхъ, какъ всякая тайна семьи, должна остаться неприкосновенною и передъ ней съ уваженіемъ должно отступить человѣческое любопытство. Обществу не принадлежитъ право такого суда.

Единственная сторона, интересующая его, это—трагедія Толстого, какъ великаго русскаго мыслителя, общественнаго человѣка, порфироноснаго Лира, въ которомъ былъ царственнымъ каждый вершокъ и который властенъ, какъ хочетъ, разстаться со своимъ царствомъ на закатѣ бытія. И стоя на этой точкѣ зрѣнія, нельзя не отмѣтить высокой нравственной красоты, совершенно легендарно завершающей жизнь Толстого. Такимъ актомъ ухода на святой покой русская легенда завершила жизнь другого историческаго человѣка, рожденнаго для міра, но видѣвшаго на своемъ вѣку море крови и промѣнявшаго царскую порфиру и дворцы на убогую сибирскую хижину.

Недаромъ образъ перваго русскаго философа,—безсребренника и нищаго, Сковороды, всегда такъ занималъ Толстого! Толстой кончаетъ полнымъ подражаніемъ ему,—такъ же онъ уходитъ изъ своего дома, чтобы безъ помѣхи въ концѣ дней своихъ уйти къ Богу. То, чего такъ недоставало Толстому, — дѣла, завершающаго слово, — теперь налицо. На зданіе его ученія положенъ послѣдній камень. Что-то былинное, типично-русское есть въ этомъ шагѣ Толстого. Толстой будетъ отысканъ, но если бы онъ не вернулся и исчезъ,—міровая исторія въ 20-мъ вѣкѣ получила бы плѣнительной красоты легенду, отъ которой вѣяло бы силою первыхъ сказаній Библіи.

И пусть доля безумія есть въ этомъ движеніи 82-лѣтняго старца,—но это то благородное безуміе, которое много разъ спасало и, можетъ быть, еще спасетъ міръ. *А. Измайловъ.*

Несбывшаяся мечта.

БОЛѢЗНЬ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА.

Когда поѣздъ прибылъ на станцію „Астапово“, позвали ко Льву Николаевичу желѣзнодорожнаго врача Статковскаго. По его совѣту былъ прерванъ путь.

Въ залѣ I класса было очень тѣсно, и потому Л. Н. помѣстили въ дамскую комнату. Потомъ начальникъ станціи И. И. Озолинъ предложилъ въ распоряженіе Льва Николаевича свою квартиру. Температура у Л. Н. была $39,_5^0$.

Къ утру больному стало легче. Онъ безъ труда разговаривалъ и даже диктовалъ Александрѣ Львовнѣ

Вечеромъ въ понедѣльникъ, 1 ноября, температура опять $39,_7^0$. Больной стоналъ

2 ноября утромъ, — опять стало легче. Днемъ самочувствіе Л. Н. хорошее, и Л. Н. спалъ.

Левъ Николаевичъ сказалъ ночью Статковскому:

— Докторъ, вы двѣ ночи не спали изъ-за меня.

— Я спалъ,—отвѣтилъ докторъ.

Л. Н. Толстой сердито возразилъ:

— Когда же спали? Теперь три часа ночи

Левъ Николаевичъ распрашиваетъ окружающихъ о станціи, о мѣстной жизни.

Случаевъ простудиться у Льва Николаевича, по пути въ Шамардино, было много. Достаточно вспомнить, что поѣздка въ Шамардино и обратно совершалась подъ ледянымъ дождемъ. Кромѣ того, когда Левъ Николаевичъ ѣхалъ въ Козельскъ, прицѣпленный къ товарному поѣзду одинъ единственный наличный вагонъ былъ переполненъ. Д. П. Маковецкій просилъ желѣзнодорожную администрацію прицѣ-

пить другой вагонъ, но въ этомъ ему отказали. Поэтому Л. Н. Толстой со станціи „Арсеньева“ ѣхалъ, стоя на открытой площадкѣ, несмотря на то, что дулъ леденящій вѣтеръ.

Врачи послѣ консиліума констатировали у Льва Николаевича катаральное воспаленіе нижнихъ частей обоихъ легкихъ.

Какъ заявили въ протоколѣ отъ 9 ноября пользовавшіе Л. Н. врачи Д. П. Маковецкій. Д. В. Никитинъ и Г. М. Беркенгеймъ, —болѣзни предшествовали слѣдующіе обстоятельства:

28 октября Л. Н. оставилъ Ясную Поляну. Рѣшеніе уѣхать—было имъ принято послѣ продолжительной и тяжелой душевной борьбы. Состояніе его здоровья было удовлетворительное, хотя онъ чувствовалъ себя физически нѣсколько слабымъ. Изъ Ясной Поляны Л. Н. направился черезъ Чекино въ Горбачево, откуда до Козельска ѣхалъ въ тѣсномъ, переполненномъ, душномъ вагонѣ 3-го класса, прицѣпленномъ къ товарному поѣзду. Чтобы освѣжиться, онъ часто выходилъ на площадку. Изъ Козельска Л. Н. собирался поѣхать къ своей сестрѣ Маріѣ Николаевнѣ въ Шемардинъ монастырь, отстоящій въ 18 верстахъ отъ станціи. Но такъ какъ было поздно и Л. Н. былъ утомленъ дорогой, то онъ рѣшилъ переночевать въ Оптиной пустыни, въ 5-ти верстахъ отъ Козельска. На другой день, отдохнувши, Л. Н. поѣхалъ къ своей сестрѣ въ Шемардино, гдѣ ночевалъ и провелъ весь день 30 октября. Вечеромъ онъ жаловался на нѣкоторую слабость и недомоганіе, но, тѣмъ не менѣе, 31-го, рано утромъ, несмотря на дурную погоду, въ сопровожденіи своей дочери Александры Львовны и ея подруги — В. М. Феоктистовой, пріѣхавшей къ нему наканунѣ и Д. П. Маковецкаго, который его сопровождалъ все время, уѣхалъ на лошадяхъ въ Козельскъ (18 верстъ); оттуда по Рязанско-Уральской жел. дор. по направленію на Богоявленскъ, чтобы далѣе слѣдовать въ Ростовъ-на-Дону.

До полудня въ вагонѣ Л. Н. чувствовалъ себя довольно хорошо а затѣмъ сталъ жаловаться на ознобъ. Поставленный термометръ показалъ 38,6. Въ виду лихорадочнаго состоянія и слабости Л Н. рѣшено было оставить поѣздъ и высадиться на ближайшей большой станціи. Этой станціей оказалось Астапово, гдѣ начальникъ станціи И. И. Озолинъ любезно предложилъ помѣщеніе въ своей квартирѣ, въ отдѣльномъ домѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ вокзала. Л. Н. чувствовалъ себя уже настолько слабымъ, что съ трудомъ дошелъ до квартиры. Здѣсь онъ сдѣлалъ разныя распоряженія и затѣмъ съ нимъ произошелъ непродолжительный (около минуты) припадокъ судороги въ лѣвой рукѣ и лѣвой половинѣ лица, сопровождавшійся обморочнымъ состояніемъ. Послѣ этого его уложили въ постель и сдѣлали клизму. Къ ночи температура поднялась до 39,8, появился кашель, насморкъ, боли въ ногахъ, перебои пульса.

Въ ночь съ 31 октября на 1 ноября, Л. Н. спалъ очень плохо. Къ утру температура спала до 36,2. Л. Н. чувствовалъ большую слабость. Весь день лежалъ въ постели, диктовалъ свои мысли, писалъ дневникъ, слушалъ чтеніе. Къ вечеру снова появился ознобъ, температура поднялась до 39,1. Л. Н. жаловался на боль въ лѣвомъ боку при дыханіи, кашлялъ и ночью откашливалъ ржавую мокроту (съ примѣсью крови). Пульсъ былъ свыше 100 съ перебоями. Было предположено воспаленіе легкихъ, положенъ согрѣвающій компрессъ, назначено вино.

Въ ночь на 2 ноября Л. Н. спалъ плохо, стоналъ, страдалъ отъ изжоги, кашлялъ. Утромъ температура была 37,2. Чувствовалъ себя весь день слабымъ. Изслѣдованіемъ установлено воспаленіе нижней доли лѣваго легкаго и предположенъ небольшой воспалительный фокусъ въ правомъ легкомъ. Пульсъ 100, 110, съ перебоями. Вечеромъ температура 39,1, ничего не ѣлъ. впадалъ въ забытье. Изъ лекарствъ давали строфантъ и вино.

Ночь на 3 ноября Л. Н. спалъ очень плохо, почти все

время бредилъ, кашлялъ, снова отхаркнулъ ржавую мокроту, стоналъ, страдалъ отъ изжоги. Утромъ температура—35,7. Л. Н. значительно ослабѣлъ. Языкъ былъ сильно обложенъ, сухъ. Аппетита не было. Печень была нѣсколько увеличена, болѣзненна, въ особенности ея лѣвая доля: животъ—нѣсколько вздутъ. Констатированъ воспалительный фокусъ въ нижней долѣ лѣваго легкаго подъ лопаткой. Въ правомъ легкомъ—явленіе бронхита и застоя. Сердце расширено. При выстукиваніи слышались притупленные звуки вправо до средины грудины, влѣво—до сосковой линіи. Тоны груди выслушивались не отчетливо. Пульсъ 100, 120 съ частыми перебоями. Пульсовыя волны неравномѣрны, многія пропадали. Въ мочѣ значительное количество бѣлка. Сознаніе ясное. Днемъ Л. Н. лежалъ, читалъ въ послѣдній разъ свой дневникъ, диктовалъ свои мысли, просилъ читать ему вслухъ. Почти ничего не ѣлъ. Леченіе: согрѣвающій компрессъ, строфантъ, вино, камфора подъ кожу, клизма. Пилъ глотками „Виши“. Температура вечеромъ 37,8. Дѣятельность сердца къ вечеру нѣсколько улучшилась.

„Въ Астопово“ прибылъ экстренный поѣздъ съ семьею Льва Николаевича. Къ больному имѣла доступъ одна лишь Александра Львовна. Софья Андреевна, вслѣдствіе боязни осложненія, не была допущена ко Льву Николаевичу.

Рано утромъ 3 ноября около домика, гдѣ лежалъ больной Левъ Николаевичъ Толстой, бродила одиноко согбенная женская фигура въ тепломъ шушунѣ и шолковомъ бѣломъ платкѣ, повязанномъ поверхъ шапочки. Это была жена великаго Толстого—графиня Софья Андреевна. 3 ноября пріѣхала въ „Астапово“ кучка корреспондентовъ газетъ и телеграфнаго агентства.

Пріѣхали также И. Н. Горбуновъ-Посадовъ и еще нѣсколько друзей Льва Николаевича. Станція преобразилась. Пріѣхавшіе размѣстились, гдѣ попало. Служащіе охотно

дѣлились помѣщеніемъ. На платформѣ проходятъ съ озабоченнымъ видомъ доктора. Проходятъ Толстые, пріѣзжіе изъ Москвы. Весь день толкутся на станціи любопытные. Всѣ взгляды прикованы къ большому, въ родѣ итальянскаго, окну, гдѣ за плотными занавѣсями борется съ тяжкимъ недугомъ великій художникъ-мыслитель.

Станція „Астапово", рязанско уральской дороги,—типичный желѣзнодорожный поселокъ, затерявшійся среди черноземныхъ полей. Широко раздвинулись рельсовые пути. Дальше—нѣсколько станціонныхъ построекъ, пять-шесть кирпичныхъ службъ, вытянувшихся по ранжиру вдоль тополевой аллейки, аптека, почта, трактиръ. Три-четыре лавченки. Наконецъ, кучка лачугъ, утопающихъ въ черной, вязкой, вонючей грязи. Какъ-разъ противъ вокзала, за рядомъ тополей черезъ полотно дороги, стоитъ одноэтажный красный флигель, почти барачной постройки. Это—квартира начальника станціи, гдѣ помѣстили Льва Николаевича. Послѣдній пассажирскій поѣздъ проходитъ въ 8 часовъ вечера. Послѣ этого станція замираетъ. По опустѣвшей платформѣ долго гуляютъ любопытные астаповцы, глазѣя въ окна домика, гдѣ лежитъ Л. Н. Толстой. Говорили, что если подойти ближе къ домику, то сквозь тонкія стекла слышны стоны больного. Группа желѣзнодорожныхъ служащихъ ст. „Астапово" пожелала отслужить молебенъ о здравіи Льва Николаевича и вступила въ переговоры съ регентомъ хора, состоящаго изъ учениковъ и учениць мѣстнаго желѣзнодорожнаго училища и любителей-служащихъ. Когда объ этомъ узналъ завѣдующій училищемъ, онъ, опасаясь, „какъ бы чего не вышло", воспротивился участію учениковъ. Регентъ хора, въ свою очередь, обратился съ просьбой освободить его отъ тяжелыхъ обязанностей. Такъ служащимъ и не удалось осуществить своего намѣренія.

Ночь на 4 ноября Л. Н. провелъ очень тревожно. Всю первую половину ночи бредилъ, стоналъ. Утромъ температура

38,1, слабость увеличилась. Л. Н. уже не писалъ дневника. Изрѣдка пытался диктовать свои мысли. Бредилъ днемъ. Воспалительный процессъ въ легкомъ безъ перемѣны. Изрѣдка кашлялъ и отхаркивалъ желтоватую густую мокроту въ очень небольшомъ количествѣ. Частота дыханія увеличилась до 36. Дѣятельность сердца слабая. Пульсъ чаще (120, 130), перебоевъ больше. Отказался отъ пищи и лѣкарства. Сильная изжога и жажда. Пилъ немного молока и „Виши". Были позывы къ мочеиспусканію. Моча мутная, содержала довольно много бѣлка. Днемъ—большая слабость. Во время пробужденія отъ сна сознаніе вполнѣ ясное. Говорилъ очень мало. Мало интересовался окружающимъ. Леченіе: камфора (4 раза), кодеинъ (2 раза) подъ кожу, вино, клизма. Температура вечеромъ 38,4. Появилась рѣдкая икота.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА.

4 ноября положеніе стало неопредѣленнымъ, затяжнымъ. Д-ръ Д. В. Никитинъ заявилъ, что „признаковъ безнадежности нѣтъ". А въ это время газеты напечатали полученную отъ кн. Д. Д. Оболенскаго телеграмму, что Левъ Николаевичъ скончался. Это была, къ счастію, ложная тревога, и Россія, а вмѣстѣ съ нею и весь міръ пережили только испугъ, а не несчастіе. Однако повсюду это извѣстіе вызвало глубокую печаль. Въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ и Христіаніи газеты появились со статьями, посвященными жизни и дѣятельности великаго писателя. Французская палата единогласно приняла постановленіе выразить сочувствіе русскому народу. Послѣ вотума палаты депутатовъ сочувственной резолюціи по поводу распространившагося слуха о смерти Л. Н. Толстого, появилось извѣстіе, что Л. Н. живъ. Маститый президентъ

палаты Бриссонъ не растерялся и заявилъ депутатамъ въ частной бесѣдѣ, что это—„недописанная страница“ „Воскресенія“. Жанъ Жоресъ сказалъ:

— Хотя резолюція была палатой вынесена по ошибкѣ, однакоже, эта ошибка дала возможность Франціи послать всей Россіи великое слово утѣшенія въ переживаемой скорби объ угасаніи великаго писателя. Толстой не услышитъ этихъ словъ, ихъ услышитъ Россія, которой мы высказали наше преклоненіе передъ ея геніемъ, являющимся выразителемъ русской души. Какъ бы ни выражался протестъ противъ несправедливой жизни, — путемъ ли возрожденія христіанскихъ идей, путемъ ли отстаиванія правъ человѣка,—оба теченія служатъ одному дѣлу, одной цѣли. Вотъ та форма, въ которой выразилась великая дружба двухъ народовъ, настоящій альянсъ, благодаря твореніямъ Толстого, одного изъ тѣхъ безсмертныхъ источниковъ, у которыхъ встрѣчаются люди всѣхъ направленій въ извѣстный моментъ, какими бы путями они ни шли къ правдѣ. Съ тѣмъ большей радостью было принято всѣми извѣстіе, опровергающее первоначальныя свѣдѣнія. Во многихъ нѣмецкихъ и французскихъ газетахъ въ этомъ опроверженіи говорится, что Л. Н. при жизни стяжалъ безсмертіе. Такой же ложный слухъ распространился и въ нѣкоторыхъ русскихъ городахъ — Кіевѣ, Одессѣ и другихъ. Газеты, убѣдившись въ своей невольной ошибкѣ, поспѣшили возможно скорѣе исправить ее, оповѣстивъ о ней населеніе особыми выпусками.

Левъ Николаевичъ часовъ около трехъ проснулся довольно бодрый и освѣженный. Просилъ умыться. Когда умыли ему одну щеку, Левъ Николаевичъ приподнялъ голову отъ подушки и сказалъ: „Нѣтъ, ужъ вы умойте мнѣ и другую“. Днемъ до двухъ часовъ спалъ, а проснувшись, сказалъ, что въ „Ясную Поляну“ не поѣдетъ. Телеграммой врачи вызвали изъ Москвы д-ра Беркенгейна. Днемъ была получена телеграмма петербургскаго митрополита Антонія,

адресованная непосредственно Льву Николаевичу, слѣдующаго содержанія: „Съ самаго перваго момента вашего разрыва съ церковью я непрестанно молился и молюсь, чтобы Господь возвратилъ васъ къ церкви. Быть-можетъ, Онъ скоро позоветъ васъ въ Судъ Свой, и я васъ, больного, теперь, умоляю: примиритесь съ церковью и православнымъ русскимъ народомъ. Да благословитъ и хранитъ васъ Господь".

ВЪ „АСТАПОВѢ".

Въ четыре часа утра пріѣхалъ въ „Астапово" съ товарнымъ поѣздомъ рязанскій губернаторъ князь Оболенскій. Здѣсь уже находились: исправникъ, урядникъ, стражники почти со всего уѣзда.

Александра Львовна и докторъ не выходили изъ домика, гдѣ лежитъ больной.

Послѣ пріѣзда въ „Астапово" всей семьи, на вокзалѣ совсѣмъ не видно было В. Г. Черткова, молодого Сергѣенка, Алесандры Львовны. Сыновья Льва Николаевича ходили около домика, иногда заходили на кухню, иногда вели разговоръ черезъ форточку.

Свои впечатлѣнія отъ пребыванія въ „Астаповѣ" корреспондентъ „Русск. Слова" описывалъ такъ: „Въ сутолокѣ общаго зала, за лихорадочной телеграфной работой, невольно отвлекаешься мыслями. На время блѣднѣетъ образъ того, чье могучее имя всколыхнуло всю Россію. Но стоитъ выйти на платформу, - и большое освѣщенное окно краснаго домика властно приковываетъ взглядъ и душу. Изрѣдка тамъ мелькаетъ чья-то тѣнь. Окно молчитъ. Это молчаніе жутко. Почему-то вспоминается „Тамъ внутри" Метерлинка.

Въ то же время, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ этой без-

молвной и трагической загадки тарахтятъ вагоны по скрещеніямъ рельсовъ, пыхтятъ паровозы. Раздаются паровозные гудки. Гремя, приносятся и уносятся поѣзда, выбрасывая тюки товаровъ. Бѣгутъ, суетятся люди.

Какая-то жестокая иронія жизни чувствуется въ томъ, что человѣкъ, который всей мощью своего ума, всей силой своего вдохновеннаго слова объяснилъ лживость нашей внѣшней культуры, борется между жизнью и смертью именно здѣсь, рядомъ съ воплощеніемъ вѣчно спѣшащаго куда-то, шумнаго, желѣзнаго, безпощаднаго европейскаго прогресса. На одрѣ своей тяжкой болѣзни Толстой осужденъ непрерывно прислушиваться къ лихорадочному и грубому біенію пульса отринутой имъ цивилизаціи".

Жизнь въ Астаповѣ для всѣхъ случайныхъ гостей захолустной станціи уже наладилась и пошла, какъ хорошо заведенная машина. Утромъ 4-го ноября собирались въ буфетѣ за однимъ столомъ—семья Толстыхъ, за другимъ — корреспонденты. Велся перекрестный разговоръ, часто на темы далекія отъ великаго страдальца. Неизмѣнно сводитъ къ нему бесѣду Софья Андреевна. Она говоритъ съ тоской:

— Если бы онъ зналъ, что я здѣсь—онъ захотѣлъ бы меня видѣть. Говорятъ, свиданіе со мной опасно вслѣдствіе волненія. Но я увѣрена, что постоянныя думы обо мнѣ больше волнуютъ его.

Часовъ въ 12 пришелъ Михаилъ Львовичъ. Онъ былъ въ домикѣ, откуда принесъ новое извѣстіе, что Левъ Николаевичъ, проснувшись, пилъ молоко, что больной очень слабъ, лежитъ съ закрытыми глазами, однако, въ полномъ сознаніи. Пришла Татьяна Львовна и усѣлась работать надъ кучей бумагъ, привезенныхъ изъ Ясной Поляны.

Такъ какъ телеграфъ оказался перегруженнымъ не столько телеграммами, посылаемыми изъ „Астапова", сколько телеграммами, приносящими сюда со всего міра запросы о состояніи здоровья больного и выраженія сочувствія, то

управленіе рязанско-уральской дороги усилило кадръ телеграфистовъ.

ХОДЪ БОЛѢЗНИ.

Въ ночь на 5-е Л. Н. почти не спалъ. Былъ очень возбужденъ Все бредилъ, метался въ постели, то садился, то снова ложился. Говорилъ невнятно. Сильная одышка (40,44), плохой, слабый пульсъ. Ночью—два впрыскиванія 2-хъ-процентнаго раствора камфоры. Утромъ температура 37,1. При выслушиваніи сердца разстройство ритма (эмбріокордія), угнетенное и подавленное состояніе. Тѣмъ не менѣе сознаніе ясное. Воспріимчивость ко внѣшнимъ впечатленіямъ не понижена. Почти на всѣ предложенія пищи отвѣчалъ отказомъ и просилъ возможно меньше тревожить его. Не позволялъ себя перекладывать на другую постель. Весь день икота. Послѣ клизмы обильное послабленіе и нѣкоторое улучшеніе самочувствія. За день впрыснуто 2 шприца дигалена, три—камфоры, 1—кодеина. Температура вечеромъ 37,4.

Былъ моментъ когда Л. Н. почувствовалъ себя особенно плохо, стоналъ. Александра Львовна послала за В. Г. Чертковымъ, Левъ Николаевичъ сказалъ ему: „Почитай мнѣ что нибудь...“ В. Г. Чертковъ началъ читать вслухъ отрывки изъ „Круга чтенія“. Левъ Николаевичъ внимательно слушалъ, успокоился и скоро заснулъ. Въ десять часовъ вечера больной проснулся, почувствовалъ себя хорошо, необыкновенно ласково бесѣдовалъ съ окружающими. Ему читали газеты. Къ больному былъ допущенъ Сергѣй Львовичъ. Левъ Николаевичъ очень обрадовался и спросилъ:

— Какъ ты, Сережа, узналъ, гдѣ я?

Сергѣй Львовичъ отвѣтилъ:

— Мнѣ сказали, когда я ѣхалъ въ „Горбачево“, что видѣли тебя.

Телеграммами были вызваны для консультаціи изъ Москвы доктора Щуровскій и Усовъ. Сначала колебались, пригласить ли В. А. Щуровскаго. Опасались взволновать больного. Софья Андреевна послала въ „Ясную Поляну“ открытое письмо, въ которомъ она извѣщала домашнихъ, что состояніе здоровья Льва Николаевича, несмотря на улучшеніе, внушаетъ опасенія, и больной не сможетъ подняться ранѣе двухъ недѣль. Софья Андреевна писала, что доступъ къ мужу закрытъ. А корреспондентамъ графиня Толстая сообщила, что все время Левъ Николаевичъ вспоминаетъ ее и со слезами говоритъ о ней. Когда къ нему пріѣхала Татьяна Львовна, онъ очень просилъ, чтобы оберегали Софью Андреевну въ Ясной Полянѣ и ни подъ какимъ видомъ не говорили, гдѣ онъ находится и что онъ хвораетъ. „Я не знаю,—говорила графиня,—что хуже для Льва Николаевича: вѣчное безпокойство обо мнѣ или внезапное со мной свиданіе, которое, какъ увѣряютъ, можетъ повредить его здоровью. А по моему, если онъ меня увидитъ, то все его безпокойство кончится. Мнѣ разсказывали, что какъ только онъ вспомнитъ обо мнѣ, то сейчасъ начнетъ рыдать и говорить: „что наша мама? не сообщайте ей ничего, не безпокойте ее, старайтесь, чтобы она ничего не узнала обо мнѣ“; и это меня такъ волнуетъ и мучитъ! Я сорокъ восемь лѣтъ прожила съ мужемъ, а меня не допускаютъ до него! Это ужасно“.

Д. П. Маковецкій въ этотъ день телеграфировалъ сестрѣ Льва Николаевича, Маріи Николаевнѣ, въ Шамардино: „Много чаю“, то есть: „крѣпко надѣюсь“. Левъ Николаевичъ вполнѣ сознавалъ тяжесть своего положенія былъ готовъ къ смерти, но въ минуты облегченія продолжалъ думать и надѣяться, что ему удастся найти себѣ уединеніе. Отъ полнаго сознанія Левъ Николаевичъ переходилъ

въ полусознательное состояніе. Его очень волновало, что онъ находится въ тяжеломъ положеніи и пользуется, по его мнѣнію, излишними удобствами. Онъ часто повторялъ: „Мужики такъ не умираютъ".

О присутствіи въ „Астаповѣ" Софьи Андреевны Левъ Николаевичъ не зналъ. Окружающіе все время поддерживали въ больномъ увѣренность, что онъ здѣсь укрылся отъ большой публичности, но о положеніи Софьи Андреевны онъ все время безпокоился. Самъ редактировалъ телеграммы, будто бы ей отправляемыя объ его здоровьѣ, старался избѣгать выраженій, которыя могли бы ее взволновать. Окружающіе Льва Николаевича продолжали думать, что при слабости сердца свиданіе съ Софьей Андреевной въ данный моментъ было бы роковымъ.

Къ вечеру привезли изъ Москвы болѣе удобную кровать. Для того, чтобы поставить ее, больного вынесли на короткое время изъ комнаты. Комнату вымыли, вычистили отъ пыли, тщательно вентилировали, убрали висѣвшія на стѣнахъ картины. Когда Льва Николаевича переносили въ другую комнату, онъ сказалъ: „Зачѣмъ? А, впрочемъ, дѣлайте какъ хотите, если вамъ это доставляетъ удовольствіе". Обычная манера Льва Николаевича—ласковой шуткой отклонять заботы о немъ окружающихъ. Отношеніе Л. Н. къ врачамъ и окружающимъ необыкновенно трогательно.

Толстой постоянно спрашивалъ, не устали ли они, ходя за нимъ, а также безпрекословно выполняетъ всѣ ихъ требованія, послушно принимая лекарства и ставя себѣ градусникъ. Онъ кротко глядитъ на врача, спрашивая иногда: „Ну, что? Какъ моя болѣзнь? Очень серьезна"? Его ласковый и добрый взглядъ нервируетъ врачей. Статковскій, даже говоря объ этомъ, едва удерживалъ слезы. Очень часто, иногда даже въ бреду, Левъ Николаевичъ диктовалъ отрывочныя мысли, касаясь самыхъ различныхъ сторонъ жизни. Конечно, диктовка утомляла больного. Чтобы его отклонить,

предлагали часто — и онъ соглашается — почитать вслухъ. Чаще всего читали ему отрывки изъ „Круга чтенія". По-видимому, на больного дѣйствовало такое чтеніе успокоительно.

Левъ Николаевичъ неоднократно говорилъ о ложныхъ мнѣніяхъ и неправильныхъ сужденіяхъ людей, изъ-за чего проистекаетъ неправильная жизнь. Онъ уходитъ и бороться съ этими неправильными сужденіями уже не можетъ, но останутся послѣ него люди, которые сознáютъ истинный смыслъ жизни, и имъ удастся сдѣлать то, что ему не удалось.

У постели больного разыгралась трогательная сцена: когда въ комнату принесли подушку и халатъ, привезенные изъ Ясной Поляны, Левъ Николаевичъ узналъ подушку, заволновался, спросилъ, кто привезъ ее. Ему сказали, что Татьяна Львовна. Тогда Левъ Николаевичъ пожелалъ ее видѣть.

Среди дня, когда больной очень страдалъ икотой, Татьяна Львовна, нагнувшись къ нему, спросила:

— Тебѣ очень плохо?

Левъ Николаевичъ отвѣтилъ:

— Нѣтъ, все хорошо!

Другой разъ, когда больной затихъ, Татьяна Львовна спросила:

— Тебѣ лучше?

Левъ Николаевичъ сказалъ въ отвѣтъ:

— Le mieux est l'ennemi de bien (лучшее—врагъ хорошаго).

Послѣднее, что Левъ Николаевичъ Толстой диктовалъ связно 4-го и 5-го ноярбя, касалось смертной казни. Остальное—афоризмы, повидимому, лишенные ассоціаціи.

Бывшій тульскій епископъ Исидоръ прислалъ Льву Николаевичу телеграмму. Напоминая въ телеграммѣ бывшія между нимъ и Толстымъ бесѣды, преосвященный умолялъ Льва Николаевича возсоединиться съ православной церко-

вью. Прибывшая изъ Оптиной пустыни княгиня Оболенская, племянница Толстого, разсказала, что тамъ получено предписаніе Синода командировать въ Астапово старца Іосифа. По слабости Іосифа, командировали игумена Варсонофія. Вечеромъ 5-го ноября прибылъ въ „А стапово" Варсонофій. Онъ заявилъ, что ѣхалъ съ братомъ на богомолье, и, узнавъ о тяжкой болѣзни графа Льва Николаевича, остановился въ „Астаповѣ", и желалъ бы повидаться съ больнымъ, тѣмъ болѣе, что онъ слышалъ, будто графъ, будучи въ Оптиной пустынѣ, направлялся къ нему въ лѣсъ, но не дошелъ. Семья, опасаясь взволновать больного, признала свиданіе невозможнымъ. Ночью со скорымъ поѣздомъ пріѣхалъ на ст. „Астапово" начальникъ жандармскаго управленія Рязанско-Уральской дороги ген. Львовъ.

Первую половину ночи на 6-е ноября Л. Н. спалъ довольно спокойно, вторую — тревожно, громко стоналъ отъ икоты, отъ изжоги. Пульсъ былъ слабый, частый, съ большими перебоями... За ночь впрыснуто два шприца камфоры. Температура утромъ 37,2, большая слабость, одышка, икота. Утромъ подъ кожу впрыснутъ дигаленъ и камфора. Сдѣлана клизма. Около полудня состоялся консиліумъ съ докторами Щуровскимъ и Усовымъ. При изслѣдованіи найдено: — воспалительный процессъ въ легкомъ въ прежнемъ положеніи. Дѣятельность сердца слабая. Значительное число пульсовыхъ волнъ не доходитъ. Размѣры сердца прежніе. Ритмъ сердца неправиленъ (эмбіокордія), икота, животъ мягкій. Въ мочѣ бѣлокъ, слабость, сознаніе ясное. Около двухъ часовъ дня неожиданное возбужденіе. Сѣлъ на постель и громкимъ голосомъ внятно сказалъ окружающимъ: „Вотъ и конецъ, и ничего", а затѣмъ: „Только одно я прошу вспомнить: на свѣтѣ пропасть народу кромѣ Льва Толстого, а вы помните одного Льва". Вслѣдъ за этимъ наступилъ рѣзкій упадокъ сердечной дѣятельности (collab). пульсъ едва-едва ощупывался. Появилась синева (ціанозъ) ушей, губъ, носа, ногтей. Конечности похолодѣли. Впрыс-

нуты два шприца камфоры, одинъ кодеина. Примѣнено дыханіе кислородомъ и согрѣваніе конечностей. Понемногу пульсъ сталъ улучшаться. Ціанозъ исчезъ и больной заснулъ.

Хотя внѣ домика не было извѣстно подробностей объ ухудшеніи состоянія больного, тѣмъ не менѣе общая тревога, въ предчувствіи грозящаго несчастья, возрастала на ст. „Астапово“ съ каждой минутой. Въ общемъ залѣ станціи находились многіе изъ друзей Льва Николаевича, два-три человѣка изъ семьи Л. Н. Большинству не сидѣлось. Безпокойно ходили изъ угла въ уголъ, стояли, тревожно перешептывались. Изъ устъ-въ-уста передаютъ самыя тревожныя предположенія.

Въ напряженномъ состояніи волновала всякая мелочь. Кто-то видѣлъ изъ окна, какъ изъ домика выносили разныя вещи обстановки. Это извѣстіе потрясло многихъ, какъ грозный симптомъ. Оказалось, доктора рѣшили, что, кромѣ ухаживающихъ, никто не долженъ жить и ночевать въ домикѣ. Это выносили вещи живущихъ. Когда панической ужасъ этого дня нѣсколько разсѣялся, все еще жутко было вспомнить пережитое. О грозящей катастрофѣ въ бюллетенѣ не говорилось, но подразумѣвалось. Одинъ изъ врачей, пользующихъ Льва Николаевича, сказалъ:

— Жизнь виситъ на тонкой ниточкѣ.

Другой врачъ высказывался, что можно надѣяться только на мощный духъ Льва Николаевича.

Послѣ 4 час. дня Левъ Николаевичъ разговаривалъ съ окружающими по поводу прихода новыхъ докторовъ. Передавали, что когда они вышли, Левъ Николаевичъ спросилъ: „Это кто такіе?“ Ему сказали. Тогда онъ замѣтилъ: „Какіе милые люди“! Къ вечеру самочувствіе Л. Н. было нѣсколько лучше. Сдѣлано впрыскиваніе дигалена, затѣмъ камфары и поставлена теплая клизма въ 200 gr. соляного раствора. Л. Н. попросилъ ѣсть. Выпилъ въ теченіе вечера три маленькихъ стаканчика молока и съѣлъ

немного овсянки. Нѣсколько разъ произвольно мочился. Сознаніе было вполнѣ ясное Но къ концу усилилась икота и одышка. Съ 6-ти до 9 час. вечера доктора Щуровскій и Усовъ не выходили отъ больного. Больной пилъ молоко два раза. Второй разъ самъ попросилъ дать ему напиться и самъ держалъ стаканъ. Левъ Николаевичъ о чемъ-то задумался, потомъ лицо его оживилось радостной улыбкой. Въ 9 ч. 55 мин. вечера снова возвратилась надежда. Неофиціально сообщили мнѣніе врачей: если организмъ больного не подвергнется рѣзкимъ осложненіямъ еще два-три дня, надежды на выздоровленіе станутъ прочными. Въ 12 час. 20 мин. ночи больной спокойно спалъ.

Послѣ полуночи одышка у Л. Н. дошла до 60 дыханій въ минуту. Икота участилась еще больше. Л. Н. сталъ стонать, метаться на постели, вскакивать. Состояніе тоски, недостатка воздуха и икоты было настолько мучительно, что было рѣшено вспрыснуть 0,01 камфоры (въ 12 час. 15 мин. ночи). Л. Н. заснулъ. Икота прекратилась. Одышка уменьшилась до 36. На станціи поднята тревога. Черезъ десять минутъ всѣ были на ногахъ. Родные и близкіе собрались возлѣ домика. Стояла черная ненастная ночь. Всѣ были снова объяты щемящей тревогой. Докторъ Щуровскій сказалъ, что послѣ сна еще есть надежда, что опять будетъ лучше. Въ 2 часа ночи пульсъ, несмотря на вспрыскиваніе камфары, сталъ падать, сдѣлался нитевиднымъ. Предпринято впрыскиваніе сильнаго раствора, но замѣтнаго вліянія на пульсъ это не оказало Тѣмъ не менѣе, сознаніе еще сохранилось. Л. Н. реагировалъ на облики. Сдѣлалъ одинъ, два глотка предложенной воды. Половина третьяго—полная неизвѣстность. Противъ оконъ, тѣсно прижавшись, кучка родныхъ и близкихъ. Всѣ говорятъ шепотомъ. Софьи Андреевны нѣтъ въ этой кучкѣ. Надвинувшееся горе качаетъ ее, какъ былинку. Въ безумномъ трепетѣ, забившись въ уголъ вагона, ждетъ вѣстей, которыя приносятъ дѣти. Консиліумъ вра-

чей, имѣя въ виду, что появленіе всякаго новаго человѣка волнуетъ больного, рѣшилъ, что тѣмъ болѣе невозможно допустить къ Льву Николаевичу Софью Андреевну. Свиданіе, по заключенію врачей, можетъ имѣть роковыя послѣдствія, такъ какъ больной, повидимому, былъ убѣжденъ, что С. А. находится въ Ясной Полянѣ. Софья Андреевна переживала тяжелыя нравственныя муки. Она замкнулась у себя въ вагонѣ допуская къ себѣ только близкихъ. Днемъ долго пробылъ у графини рязанскій губернаторъ кн. Оболенскій, очень сердечно отнесшійся къ горю семьи Толстыхъ.

Ночью съ Л. Н. случился припадокъ. Онъ вдругъ заметался на постели, рѣзко хотѣлъ подняться. Его едва удержали; онъ все же успѣлъ опустить ноги. Принесли кислородъ. Левъ Николаевичъ сказалъ:

— Не надо.

Хотѣли впрыскивать камфору.

Больной говоритъ:

— Уберите это!..

Прибѣгли къ морфію. Больной успокоился. Забылся.

Въ 3 час. ночи забытье или сонъ больного продолжались. Родныхъ уговорили вернуться въ вагонъ. Вокругъ домика, по платформѣ, бродили много тревожныхъ тѣней. Окликали другъ друга шепотомъ, ходили нервными шагами взадъ и впередъ.

3 ч. 3 мин. ночи. Одинъ изъ врачей нашелъ, что тревога преувеличена.

3 ч. 5 мин. ночи. Полная неизвѣстность.

3 ч. 7 м. ночи. По мнѣнію доктора Беркергейма надежда не вполнѣ была потеряна. Однако, положеніе признавалось крайне серьезно. Пульсъ былъ едва замѣтенъ.

Въ 3 ч. 13 м. ночи забытье продолжалось. Столпившіеся на платформѣ напряженно всматривались въ движеніе тѣней въ томъ страшномъ—итальянскаго стиля—окнѣ. Малѣйшій намекъ на смятеніе въ комнатѣ вызывалъ подавленныя тревожныя догадки.

Въ 3 ч. 20 м. ночи окна потемнѣли. Больной заснулъ спокойно.

3 ч. 30 м. ночи. Перемѣнъ не было. Положеніе считали опредѣлившимся на нѣсколько часовъ.

4 ч. 20 м. Астапово чутко дремало. О катастрофѣ никто не хотѣлъ думать, но всѣ предчувствовали, что развязка близка.

5 ч. ночи. Въ красномъ домикѣ началось таинственное движеніе. Въ окнѣ замелькали огоньки...

Смерть Л. Н. Толстого.

„ВСЕ КОНЧЕНО“.

Въ 5 час. 20 мин. ночи 7 ноября въ виду опасности положенія Л. Н. Софья Андреевна и вся семья были допущены въ домъ. Это было тогда, когда сознаніе больного Льва Николаевича уже меркло. Врачи увѣщали Софью Андреевну своимъ волненіемъ не рвать тонкихъ нитей жизни больного, и великая преданная любовь помогла графинѣ сдѣлать надъ собой нечеловѣческое усиліе и войти въ ту комнату, гдѣ лежалъ больной, почти владѣя собой.

Въ 5 часовъ утра пульсъ сталъ пропадать, дыханіе сдѣлалось поверхностнымъ и въ 6 час. 5 мин. утра по московскому времени Левъ Николаевичъ тихо, безъ страданій, скончался.

Л. Н. лежалъ въ домѣ начальника станціи И. И. Озолина, гдѣ въ его распоряженіи были двѣ довольно большія комнаты. Съ гигіенической стороны обстановка была удовлетворительна. Непосредственный уходъ за Л. Н. лежалъ на врачахъ, его дочери Александрѣ Львовнѣ, ея другѣ В. М. Феоктистовой и В. Г. Чертковѣ. Нѣсколько разъ у постели больного были его дѣти: Татьяна Львовна Сухотина и Сергѣй Львовичъ. Остальные члены семьи все время находились вблизи, но въ комнату больного не входили. На семейномъ совѣтѣ, согласно съ заключеніемъ врачей, было рѣшено, чтобы никто другой изъ родныхъ не входилъ къ Льву Николаевичу, такъ какъ были основанія думать, что Л. Н. сильно взволнуется при появленіи новыхъ лицъ, что могло роковымъ образомъ отразиться на висѣвшей на волоскѣ его жизни.

Смерть Л. Н. послѣдовала отъ быстро наступившаго упадка сердечной дѣятельности. Во время прежнихъ тяжелыхъ заболѣваній дѣятельность сердца также бывала очень ослабленной, но, благодаря своему крѣпкому организму и, главнымъ образомъ, необычайнымъ душевнымъ силамъ, Л. Н. выходилъ побѣдителемъ изъ борьбы. Это давало надежду, что и на этотъ разъ сильный организмъ Л. Н., хотя и постарѣвшій, но достаточно крѣпкій, побѣдитъ инфекцію. Однако, по мнѣнію врачей, сильныя душевныя потрясенія послѣдняго времени и утомленіе отъ необыкновеннаго путешествія настолько ослабили нервную систему и сердце Л. Н. что болѣзнь приняла сразу тяжкій характеръ и привела къ роковому концу. Всѣхъ ухаживавшихъ за нимъ Л. Н. трогалъ своею ласковостью и нѣжнымъ отношеніемъ, которое никогда не изгладится у тѣхъ, кому на долю выпало счастье послужить Льву Николаевичу въ послѣдніе дни его жизни.

ПОСЛѢ КОНЧИНЫ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА.

Л. Н. угасалъ тихо-тихо. Едва ли онъ долго страдалъ. Послѣднія минуты только трудно и тяжко дышалъ. Сознавая крайнюю опасность, врачи все же не думали, что конецъ наступитъ такъ быстро. Подергиванія лица говорили о предшествовавшихъ послѣднему припадку сердечной слабости страданіяхъ. Послѣ сна наступило помраченіе сознанія. На минуту возвратилось нѣкоторое сознаніе, затѣмъ послѣдовалъ быстрый коллапсъ. Мучительной агоніи не было. Только дыханіе и біеніе сердца убывали. Предсмертные хрипы послышались всего лишь за минуту до кончины. Признаки сознанія не покидали больного почти до конца. Реагировалъ зрачекъ. Больной отворачивался отъ кислорода и дѣлалъ цѣлесообразныя движенія рукой.

Безъ нѣсколькихъ минутъ въ шесть часовъ утра Илья Львовичъ вышелъ изъ домика, гдѣ лежалъ больной. Когда онъ вернулся, минутъ черезъ 10, и подошелъ къ двери, дверь была заперта. Илья Львовичъ постучалъ въ окно одинъ разъ,—не отвѣчали, въ это время у крыльца домика находились нѣсколько корреспондентовъ и два сторожа. Минуты черезъ три Илья Львовичъ постучался еще разъ. Тогда открылась форточка окна, и А. Б. Гольденвейзеръ сказалъ: „Скончался". Всѣ обнажили головы. Кто-то вскрикнулъ не громко. Дверь домика открылась и закрылась за Ильей Львовичемъ. Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ все снова тихо-тихо вокругъ домика. Только на линіи желѣзной дороги свистѣлъ паровозъ отходящаго товарнаго поѣзда. Открываются двери. Слышны рыданія. То въ первой комнатѣ домика рыдаетъ начальникъ станціи, оказавшій гостепріимство больному Льву Николаевичу. Больше никто не осмѣлился войти внутрь. Къ домику подбѣжалъ взволнованный жандармскій ротмистръ и спросилъ, правда ли, что наступила роковая развязка. На станціи смятеніе. Всѣ подробности кончины, отдѣльныя слова и цѣлыя фразы, вырвавшіяся у Льва Николаевича, записаны В. Г. Чертковымъ и Д. П. Маковецкимъ.

Восемь часовъ утра. Бѣлый, хотя и пасмурный, день. Родные и близкіе одинъ за другимъ выходятъ изъ домика. Тѣло обмыли, одѣли въ сѣрую „толстовскую" блузу, которую знаетъ весь міръ, и сѣрые панталоны. У тѣла осталась одна графиня.

Въ 9 час. утра Софія Андреевна согласилась допустить постороннихъ поклониться праху покойнаго. Около дома толпится народъ. Впускаютъ по десяти человѣкъ. За короткое время перебывало все „Астапово". Собирается народъ изъ окрестныхъ деревень. Молча входятъ, кладутъ земные поклоны, цѣлуютъ холодную мертвую руку, написавшую „Войну и міръ", „Анну Каренину". Порой слышно сдавленное рыданіе. У смертнаго одра много пришедшихъ покло-

ниться праху покойнаго. Близкіе Льва Николаевича въ это время отсутствовали. Постель, гдѣ лежалъ усопшій, убрана можжевельникомъ. Около дома все время толпа. Изъ окрестныхъ городовъ съ поѣздами прибывала масса желающихъ поклониться праху усопшаго Пассажиры, ѣхавшіе съ поѣздами, слѣдующими черезъ „Астапово“, высыпали на перронъ и распрашивали про подробности кончины

„Тѣло Л. Н. лежитъ на широкой постели,—разсказывали очевидцы. —У изголовья сидитъ графиня. Нѣтъ, не сидитъ! Она припала къ изголовью: слезы сами струятся по изможденному лицу. Она гладитъ своей рукой высокій лобъ того, кто былъ Львомъ Толстымъ. Все кончено! Угасъ великій свѣтъ всего міра. И снова ласково гладитъ лобъ, говоритъ, понижая голосъ, словно шепчетъ умершему: „Душа моя! Жизнь моя!“ Великій духъ отлетѣлъ, и самое тѣло какъ бы стало меньше. Сильно измѣнилось лицо. Заостренный носъ, скулы — цвѣта пергамента. Глаза смежены. Сѣдую бороду подхватилъ бѣлый платъ, которымъ обвязано лицо, чтобы поддержать нижнюю челюсть. Рука лежитъ на груди спокойно сложенная, сухая, темная.

Для глаза, привыкшаго къ обстановкѣ нашихъ траурныхъ дней, сначала получалось впечатлѣніе щемящаго сиротства и жалости отъ этой комнаты съ голыми стѣнами и посреди нея, ближе къ стѣнѣ, простой кровати съ тѣломъ. Но всмотрѣвшись въ это величаво-спокойное лицо, въ этотъ открытый ясный лобъ, можно было чувствовать еще взглядъ Л. Н. изъ-подъ нависшихъ бровей, мерцающій свѣтомъ высшихъ откровеній человѣческаго ума, и тогда можно было понять, что этому ясному старику нужны, именно, эти обнаженныя стѣны. Онѣ раздвигаются въ безконечность. Умершій мудрецъ лежалъ не передъ толпою только, а передъ всѣмъ міромъ. Онъ и въ гробу ставилъ міру свой прямой неумолимый вопросъ о настоящемъ смыслѣ жизни. Эта комната полна надрывныхъ потрясающихъ ры-

даній. Если они не были слышны въ прямомъ смыслѣ, они слышали въ пѣніи „вѣчной памяти“, оглашавшемъ время-отъ-времени комнату. Кто-то простой-сѣрый становится передъ гробомъ, говоритъ громко, прерывисто, не связно. Слова не важны. Это то же рыданіе. У изголовья рыдаетъ графиня. Это потрясающая литія рыданій.

Левъ Николаевичъ лежалъ съ яснымъ лицомъ, и на немъ запечатлѣлось такое выраженіе, словно отошедшій въ вѣчность узналъ какую-то новую, великую правду.

Вокругъ стояли рабочіе и мужики и нестройно, дрожащими голосами пѣли „Вѣчную Память“.

Къ вечеру платъ, повязанный вокругъ головы Льва Николаевича, былъ снятъ. Изжелта серебряная борода легла на груди Льва Николаевича. Горѣла лампа; ея краснова-тый свѣтъ оживлялъ бездыханное тѣло Льва Николаевича. Казалось, что заснулъ, и вотъ-вотъ сейчасъ проснется. Въ дверь протиснулось нѣсколько крестьянъ въ армякахъ, боязливо жмутся другъ къ другу.

— Не бойтесь, — одобрялъ ихъ кто-то,—онъ вѣдь такъ любилъ народъ.

Крестьяне подходятъ, цѣлуютъ Льва Николаевича, смахивая набѣжавшую слезу. Печальная вѣсть уже облетѣла округу. Много крестьянъ понаѣхало издалека.

Съ вечера у праха Л. Н. было установлено дежурство друзей и сыновей. Барышня художница рисуетъ усопшаго на смертномъ одрѣ. Народу очень много. Возложенъ вѣнокъ изъ незабудокъ съ подписью: „Великому дѣдушкѣ“. Разсказывали, что передъ тѣмъ, какъ уйти отъ тѣла Льва Николаевича, Софья Андреевна припала къ нему съ рыданіями, воскликая:„ Если только страданія искупаютъ грѣхи, то не можетъ же быть больше этихъ страданій“.

На платформѣ передъ отъѣздомъ Александра Львовна навзрыдъ залилась слезами. До сихъ поръ, на людяхъ вла-

дѣя собой, она всегда сохраняла серьезное, даже суровое самообладаніе. Докторъ Маковецкій какъ бы окаменѣлъ: не плачетъ, не можетъ говорить. Въ пять часовъ утра ему, какъ и остальнымъ врачамъ было ясно, что конецъ близокъ. Онъ заплакалъ, едва не упалъ.

Старецъ Варсонофій, узнавъ о кончинѣ Льва Николаевича, сказалъ:

— Моя миссія окончена.

На вопросъ о томъ, будетъ ли допущена панихида по покойномъ, старецъ отвѣтилъ:

— Знаю объ этомъ столько же, сколько о жителяхъ луны.

Спрошенный, куда теперь намѣренъ ѣхать, старецъ сказалъ:

— Въ Оптину пустынь, а можетъ быть въ Петербургъ.

Въ 9 часовъ утра въ „Астапово“ пріѣхалъ епископъ тульскій Парѳеній. Парѳеній пріѣхалъ въ „Астапово“, по порученію Синода, съ цѣлью узнать, выражалъ ли Л. Н. Толстой желаніе принять церковное погребеніе. Пріѣхавъ въ „Астапово“, преосвященный Парфеній убѣдился, что о такомъ желаніи здѣсь никто ему не можетъ сообщить. Тогда епископъ Парфеній сказалъ:

— Мнѣ остается только уѣхать.

Рано утромъ 8 ноября привезли съ товарнымъ поѣздомъ гробъ: онъ—дубовый, обитъ внутри цинкомъ. Крышка—безъ креста. Графиня Софья Андреевна своими руками заботливо оправляла все внутри гроба, говоря стоявшимъ подлѣ нея:

— Когда я умру, меня положите въ сосновый гробъ изъ простыхъ досокъ.

Въ 12 час. 50 мин. дня 8 ноября Левъ Николаевичъ положенъ въ гробъ. Въ послѣдніе часы онъ сильно измѣнился: верхушка головы посинѣла. Очевидно, смерть вполнѣ вступила въ свои права. Около гроба два вѣнка: одинъ

изъ громадныхъ бѣлыхъ хризантемъ—отъ служащихъ рязанско-уральской желѣзной дороги и другой металлическій—отъ служащихъ станціи „Астапово". Гробъ былъ покрытъ кисейнымъ покровомъ и стоялъ на высокомъ траурномъ возвышеніи.

Начался выносъ. Крышку гроба несли начальникъ станціи И. И. Озолинъ и другіе. Гробъ несли сыновья Л. Н. Позади гроба шла поддерживаемая подъ руки Софья Андреевна. Къ вагону пропускали только близкихъ и имѣющихъ проѣздные билеты. Раздается „вѣчная память." Жандармская полиція рѣзко протестуетъ. Вмѣшиваются друзья покойнаго и упрашиваютъ публику быть сдержанной. Напрасны всѣ усилія полиціи. Толпа у траурнаго вагона все растетъ и растетъ. Гробъ поднимаютъ выше. Онъ уже въ вагонѣ. Вагонъ закрываютъ. Свистокъ. Поѣздъ безъ звонковъ тихотихо трогается со станціи въ 1 ч. 10 м. дня.

ПОСЛѢДНІЙ ПУТЬ.

По пути въ „Козлову Засѣку" траурный поѣздъ двигался почти безъ остановокъ. Въ „Данковѣ" остановка одна минута. За заборомъ видно много народа, на станцію никого не пускаютъ. На послѣдующихъ станціяхъ не менѣе людно. На станціи „Птань" платформа запружена народомъ. Здѣсь готовились встрѣча, убранство вокзала, пѣніе „вѣчной памяти". Однако, съ предыдущей станціи было получено приказаніе пройти „Птань" совсѣмъ безъ остановки На станцію „Куркино" ко времени прибытія траурнаго поѣзда пріѣхалъ сосѣдній помѣщикъ Трухачевъ. Когда открывали траурный вагонъ, онъ простился съ тѣломъ и заявилъ, что въ этой мѣстности помѣщики собрали крупное пожертвованіе на учрежденіе стипендіи имени Л. Н.

Толстого въ школахъ Тульской губ. На ст. „Горбачево“, вагоны траурный, семьи Л. Н. и корреспондентскій были отцѣплены до ночного поѣзда на „Козлову-Засѣку“. Платформа станціи запружена народомъ. Вагоны перешли на запасный путь. Морозная ночь. Холодный, рѣзкій вѣтеръ. Вскорѣ по пріѣздѣ открывали ненадолго, вагонъ, и служащіе станціи возложили на гробъ вѣнокъ изъ хризантемъ. Траурный вагонъ закрыли. Тускло мерцала свѣча въ служебномъ отдѣленіи, гдѣ проводникъ. Снаружи дежурилъ одинъ артельщикъ. Тамъ, въ вагонѣ Левъ Николаевичъ былъ одинъ. Кругомъ темно, холодно, молчаливо.

ПОИСКИ МОГИЛЫ.

Въ „Ясной Полянѣ“ наканунѣ послѣдней встрѣчи со старымъ хозяиномъ все замолкло, все будто умерло вмѣстѣ съ нимъ. Передъ старымъ домомъ сиротливо стояли синематографисты, навели аппараты. Старый домъ притихъ. Никакихъ признаковъ жизни.

Садовникъ ломаннымъ русскимъ языкомъ объявляетъ, что скоро пойдутъ копать могилу старому графу. Черезъ полчаса безшумно отдѣляются отъ дома черныя фигуры. Впереди В. Г. Чертковъ, Илья Львовичъ, Александра Львовна, два внука-реалиста, крестьяне, предложившіе рыть могилу, кто-то еще.

Тихо шагаетъ семья по дорогѣ, по которой любилъ каждое утро ходить въ лѣсъ Левъ Николаевичъ. Присматриваются къ кустамъ. Наконецъ, останавливаются въ глухомъ мѣстѣ, въ полутора верстахъ отъ усадьбы. Это такъ-называемые „На Воронкахъ“.

Начинаютъ мѣрить, обсуждать. Отрывочно раздаются слова: „Пошире!..“ „Покороче!..“ „Много корней!..“ „Повернуть

немножко влѣво!..“ Словно обычная дѣловая повседневность. Совѣщаніе закончилось. Что-то затрещало въ орѣшникѣ. То четырьмя тонкими хворостинами намѣтили квадратъ. Стоятъ растерянные. Особенно смущены мальчики. Александра Львовна плачетъ.

Нужно имѣть перо Толстого, чтобы передать чувства, обуревающія здѣсь, передъ контурами могилы Льва Толстого. Стоишь одинъ въ лѣсу, не вѣришь ни этимъ тонкимъ орѣшникамъ, ни себѣ. Налѣво—лѣсъ. Направо тоскливая, молодая заросль. Тутъ же рядомъ оврагъ. Вотъ гдѣ, наконецъ, Левъ Николаевичъ нашелъ себѣ уединеніе.

Домашніе сдѣлали свое историческое дѣло, нашли могилу, возвращаются въ старый домъ, прячутся за опущенныя шторы. Синематографистъ торопливо трещитъ аппаратомъ, успѣлъ ихъ „схватить“ и, счастливый, уходитъ въ паркъ снимать скамью, гдѣ любилъ сидѣть Левъ Николаевичъ, аллею, гдѣ любилъ онъ гулять.

Начинаетъ темнѣть. Къ „Воронкамъ“ тянутся крестьяне съ лопатами. Они заявили о своемъ желаніи копать могилу всѣмъ міромъ по очереди. Работать имъ пришлось при освѣщеніи.

Могила имѣетъ 2 аршина ширины, $3^1/_4$ арш. длины и 4 арш. глубины.

ПОСЛѢДНІЕ ЧАСЫ ВЪ „ЯСНОЙ ПОЛЯНѢ“.

Въ ночь на 9-е ноября „Засѣка“ начала наполняться людьми, направлявшимися въ Ясную Поляну поклониться праху Льва Николаевича. Поѣзда были переполнены. Къ пяти часамъ утра на маленькой станціи было уже трудно двигаться, люди стояли въ помѣщеніи станціи, на платформѣ, даже на рельсозыхъ путяхъ и товарныхъ платформахъ. Тѣмъ не менѣе, многимъ не удалось попасть на

похороны. Болѣе счастливыми оказались дѣятели по народному образованію, депутаціи московской городской думы, уѣзднаго земства, артисты Императорскихъ и частныхъ театровъ. Масса учащейся молодежи, именно, масса. Учащіеся настолько доминировали въ толпѣ, что можно смѣло сказать, что молодежь хоронила Л. Н. Толстого. Наибольшее число депутацій—тоже отъ студенчества, депутація отъ города Москвы, депутаціи отъ университета имени Шанявскаго, общества народныхъ университетовъ, почти отъ всѣхъ землячествъ и организацій московскаго университета и другихъ высшихъ заведеній Москвы, въ томъ числѣ отъ высшихъ женскихъ курсовъ. Далѣе стоятъ крестьяне Ясной Поляны и другихъ окрестныхъ деревень. Яснополянскіе крестьяне держатъ прикрѣпленное къ двумъ шестамъ бѣлое полотенце, на которомъ значится: „Дорогой Левъ Николаевичъ! Память о твоемъ добрѣ не умретъ среди насъ, осиротѣвшихъ крестьянъ Ясной Поляны". Крестьяне селеній Рудакова, Скуратова и Овсянникова, которымъ покойный далъ землю, держатъ вѣнокъ самодѣльный, хвойный. На лентѣ надпись: „Незабвенному совѣтнику и заступнику о нашихъ нуждахъ отъ крестьянъ сельца Овсянникова, села Рудакова и сельца Скуратова". Рядомъ съ крестьянами-хлѣбопашцами представители театровъ со своими вѣнками. Далѣе—остальныя депутаціи. Въ 7½ час. утра шумъ вдругъ смолкаетъ. Къ станціи подходитъ поѣздъ съ тѣломъ Льва Николаевича. Изъ вагоновъ выходятъ близкіе, друзья Льва Николаевича, корреспонденты, бывшіе въ „Астаповѣ". Софью Андреевну, согнувшуюся, съ лицомъ воскового цвѣта, выводятъ подъ руки дѣти и родные. Открываютъ вагонъ съ тѣломъ. „Толстовцы", яснополянскіе крестьяне и родственники на поясахъ выносятъ качающійся закрытый гробъ. Головы обнажаются. Тысячи голосовъ поютъ „вѣчную память". Впереди, на четырехъ крестьянскихъ телѣгахъ, везутъ вѣнки. Гробъ несутъ на плечахъ, благодаря чему онъ

поднимается выше надъ толпой,—кажется, плыветъ надъ ней. Гробъ несутъ, смѣняясь, представители интеллигенціи, науки, литературы, студенты, толстовцы, крестьяне.

Въ 11 час. утра гробъ достигаетъ яснополянскаго графскаго дома, огибаетъ домъ, поворачиваетъ къ крыльцу. Едва гробъ исчезаетъ внутри дома, и входятъ туда ближайшіе родственники Льва Николаевича, — въ дверяхъ вырастаетъ, заграждая входъ, высокая фигура графа Ильи Львовича. Онъ объявляетъ, что на одинъ часъ доступъ въ домъ будетъ закрытъ. Толпа гудитъ, какъ бы протестующе. Графа поддерживаютъ, обращаясь къ толпѣ съ увѣщаніями, нѣсколько друзей:

— Дайте роднымъ и семьѣ одинъ часъ. Потомъ всѣ проститесь.

Толпа отхлынула. Черезъ полчаса устанавливается порядокъ прохода въ домъ: черезъ однѣ двери входъ, черезъ другія—выходъ. Становятся въ очередь. Впереди выстраиваются депутаціи. Въ очередь становятся по одному. Поэтому живая лента безконечными зигзагами и петлями опутываетъ домъ, растягивается по аллеямъ парка.

Тѣло положено въ комнатѣ, называвшейся „для пріѣзжихъ". Комната — не высокая, темноватая. Обнаженныя стѣны. Направо отъ входа, на возвышеніи, открытый гробъ. Левъ Николаевичъ сильно измѣнился послѣ „Астапова": какая-то расплывчатость чертъ, нѣтъ прежней выразительности; опустилась нижняя часть лица. Надъ гробомъ, въ нишѣ стѣны, два бюста—одинъ побольше, любимаго брата Л. Н. Толстого—Николая Николаевича, другой—маленькій, торсъ самого Льва Николаевича, работы его сына Льва Львовича. При входѣ многіе становятся на колѣни и дѣлаютъ земные поклоны. Остальные проходятъ, просто склоняясь передъ гробомъ.

Пока происходитъ прощаніе, многіе отправляются къ мѣсту, гдѣ вырыта могила. Около полуверсты отъ усадьбы, на опушкѣ рощи, березовой и дубовой, которая называется

„Аѳониной", стоитъ бугоръ, похожій на насыпь, плоскій сверху. Эта небольшая площадка наверху бугра окаймляется девятью дубками—не старыми, вѣроятно, однолѣтками. Это мѣсто называется „Старый Заказъ". Сторона бугра, выходящая на опушку, выше и круче. Дальше начинаются далеко идущіе кустики. Посреди дубковъ, на бугрѣ, вырыта могила.

ПРЕДАНІЕ ЗЕМЛѢ.

Въ $2^1/_4$ часа дня прощаніе съ тѣломъ публики заканчивается. Въ послѣдній разъ прощаются домашніе. Раздаются громкія рыданія, когда задѣлывается крышка гроба. Опять на рукахъ гробъ выносятъ изъ дома. Едва онъ показывается, всѣ падаютъ на колѣни. Торжественно звучитъ „вѣчная память". Процессія подходитъ къ могилѣ. Уже извѣстно, что рѣчей не будетъ: объ этомъ просила семья. Гробъ на рукакъ студентовъ достигъ вершины бугра, колеблясь, поднялся надъ ней. Вотъ, онъ медленно опускается у самой могилы. Семья на склонѣ бугра. Снова и снова звучитъ „вѣчная память", единственное пока пѣснопѣніе гражданскихъ похоронъ. Раздаются голоса: „На колѣни"! Вся толпа, какъ одинъ человѣкъ, преклоняетъ колѣни...

Гробъ опущенъ въ могилу. Водворяется глубокая тишина. Первые комья мерзлой земли глухо стучатъ о крышку гроба. Слышны рыданія. Многіе пробиваются къ могилѣ бросить горсточку земли. Въ одинъ изъ моментовъ тишины высокій старикъ на бугрѣ съ изможденнымъ лицомъ, восклицаетъ: „Великій Левъ умеръ! Да исполнятся завѣты его христіанской любви, да будетъ земля легка нашему великому Льву!..." И это нарушеніе соглашенія принимается глубокимъ молчаніемъ.

Застучали лопаты. Могила быстро засыпается. Смеркается. Толпа начинаетъ понемногу расходиться. Только молодежь плотной семьей стоитъ позади семьи, и поетъ „вѣчную память“.

Стемнѣло... Народъ разошелся, курганъ опустѣлъ.

Левъ Николаевичъ остался, наконецъ, одинъ.

МОГИЛА НА КУРГАНѢ.

Мѣсто для могилы указано давно самимъ Л. Н. Толстымъ: это — курганъ за паркомъ въ Ясной Полянѣ, гдѣ Толстой игралъ въ дѣтствѣ съ братьями. Дѣйствительно, въ своихъ воспоминаніяхъ Л. Н. опредѣленно указываетъ, гдѣ онъ желалъ бы быть похороненнымъ и почему именно.

„Да, Фанфаронова гора,—говоритъ Левъ Николаевичъ,— это одно изъ самыхъ далекихъ и милыхъ и важныхъ воспоминаній. Старшій братъ Николенька былъ на 6 лѣтъ старше меня. Ему было, стало-быть, 10 — 11, когда мнѣ было 4 или 5, именно, когда онъ водилъ насъ на Фанфаронову гору... Онъ былъ удивительный мальчикъ и потомъ удивительный человѣкъ... Такъ вотъ онъ-то, когда намъ съ братьями было—мнѣ 5, Митенькѣ 6, Сережѣ 7 лѣтъ, объявилъ намъ, что у него есть тайна, посредствомъ которой, когда она откроется, всѣ люди сдѣлаются счастливыми: не будетъ ни болѣзни, никакихъ непріятностей, никто ни на кого не будетъ сердиться, и всѣ будутъ любить другъ-друга, всѣ сдѣлаются муравейными братьями (вѣроятно, это были Моравскіе братья, о которыхъ онъ слышалъ или читалъ, но на нашемъ языкѣ это были муравейные братья).

„Муравейные братья“ были открыты намъ, но главная тайна о томъ, какъ сдѣлать, чтобы всѣ люди не знали никакихъ несчастій, никогда не ссорились и не сердились, а

были бы постоянно счастливы, эта тайна была, какъ онъ намъ говорилъ, написана на зеленой палочкѣ и палочка эта зарыта у дороги, *на краю стараго Заказа, въ томъ мѣстѣ, въ которомъ я, такъ какъ надо же гдѣ нибудь зарыть мой трупъ, просилъ бы въ память Николеньки закопать меня.* Кромѣ этой палочки была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, онъ говорилъ, можетъ ввести насъ, если только мы исполнимъ всѣ положенныя для того условія... Тотъ, кто исполнитъ эти условія и еще другія, болѣе трудныя, которыя онъ откроетъ послѣ, того одно желаніе, какое бы то ни было, будетъ исполнено. Мы должны были сказать наши желанія. Сережа пожелалъ умѣть лѣпить лошадей и куръ изъ воска; Митенька пожелалъ умѣть рисовать всякія вещи, какъ живописецъ, въ большомъ видѣ. Я же ничего не могъ придумать, кромѣ того, чтобы умѣть рисовать въ маломъ видѣ. Все это, какъ это бываетъ у дѣтей, очень скоро забылось, и никто не вошелъ на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, съ которой Николенька посвящалъ насъ въ эти тайны, и наше уваженіе и трепетъ передъ тѣми удивительными вещами, которыя намъ открывались. Въ особенности же оставило во мнѣ сильное впечатлѣніе муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывающаяся съ нимъ и долженствующая осчастливить всѣхъ людей...

Идеалъ муравейныхъ братьевъ, льнущихъ любовно другъ къ другу, только не подъ двумя креслами, завѣшанными платками, а подъ всѣмъ небеснымъ сводомъ всѣхъ людей міра, остался для меня тотъ же. И какъ я тогда вѣрилъ, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло въ людяхъ и дать имъ великое благо, такъ я вѣрю и теперь, что есть эта истина и что будетъ она открыта людямъ и дастъ имъ то, что она обѣщаетъ“.

Высшія гражданскія и духовныя власти и Л. Н. Толстой.

СЛОВА ГОСУДАРЯ.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ о кончинѣ графа Л. Н. Толстого Его Императорское Величество соизволилъ начертать нижеслѣдующія слова:

„Душевно сожалѣю о кончинѣ великаго писателя, воплотившаго, во времена расцвѣта своего дарованія, въ твореніяхъ своихъ, родные образы одной изъ славнѣйшихъ годинъ русской жизни. Господь Богъ да будетъ милостивымъ Судіею“.

ВОПРОСЪ О Л. Н. ТОЛСТОМЪ ВЪ СОВѢТѢ МИНИСТРОВЪ.

5 ноября въ засѣданіи совѣта министровъ происходилъ оживленный обмѣнъ мнѣній на тему о тяготѣющемъ надъ гр. Л. Н. Толстымъ отлученіи отъ церкви.

Правительство, въ лицѣ предсѣдателя совѣта министровъ, уже давно обратило вниманіе на возможность осложненій въ связи съ отлученіемъ графа; между тѣмъ,эти осложненія признаются безусловно нежелательными, и правительство считало нужнымъ заблаговременно принять мѣры, направленныя къ предупрежденію самой возможности осложненій. Еще въ прошломъ году предсѣдатель совѣта министровъ высказался въ этомъ смыслѣ передъ однимъ близкимъ знакомымъ графа Л. Н. Толстого.

Когда же состояніе здоровья великаго писателя стало внушать серьезныя опасенія, вопросъ сталъ на очереди. Еще въ первыхъ числахъ ноября П. А. Столыпинъ имѣлъ продолжительное совѣщаніе съ С. М. Лукьяновымъ; послѣдствіемъ этого совѣщанія и явился созывъ экстреннаго засѣданія синода.

Въ засѣданіи совѣта министровъ 5-го ноября выяснилось, что всѣ члены кабинета, включая и оберъ-прокурора синода С. М. Лукьянова, находятъ необходимымъ и своевременнымъ снять отлученіе съ графа. Въ этомъ направленіи правительствомъ были предприняты соотвѣтствующіе шаги. Но со стороны синода не было замѣтно стремленія пойти навстрѣчу этому.

Однако, правительство рѣшило настаивать на своемъ. Нѣкоторые члены кабинета указывали, что актъ снятія отлученія необходимъ не только для самаго графа, но едва ли не въ значительно большой степени для всей страны; ибо нельзя допустить, чтобы вокругъ имени великаго человѣка возникли бы осложненія и распря.

ГОСУД. ДУМА И Л. Н. ТОЛСТОЙ.

8-го ноября члены Гос. Думы собрались лишь на нѣсколько минутъ, на торжественно-траурное засѣданіе, для того, чтобы почтить память Толстого. Хотя рѣзкая нота была внесена деп. Замысловскимъ, но, въ общемъ, все прошло въ высшей степени проникновенно и спокойно.

Засѣданіе открылось въ 11 ч. 25 м. цредсѣдатель Гос. Думы А. И. Гучковъ тихимъ, сдержаннымъ голосомъ сказалъ:

„Наше отечество,—сказалъ онъ,—переживаетъ тяжелое горе. Умеръ графъ Левъ Николаевичъ Толстой, вели-

кій мыслитель и великій художникъ... геній, составляющій гордость Россіи, славу всего человѣчества. Господь Милосердный да откроетъ передъ нимъ Царство Небесное! Предлагаю Г. Думѣ почтить память его вставаніемъ. *(Всѣ встаютъ, за исключеніемъ части правыхъ: Замысловскаго Вязигина и Пуришкевича).* Въ знакъ глубокой нашей печали предлагаю прервать занятія наши на сегодняшній день".

Выступившій послѣ этого деп. Замысловскій возражалъ противъ предложенія отложить засѣданіе Думы по двумъ соображеніямъ. Формально онъ полагаетъ, что смерть мыслителей, художниковъ и артистовъ не должна прерывать занятій Г. Думы. Чествовать ихъ можно другимъ путемъ, не останавливая работъ Г. Думы, оплачиваемыхъ страной. Затѣмъ существуютъ также и соображенія внутреннія. Толстой отрицалъ за послѣднее время церковь, государство, семью, собственность, т.-е. всѣ тѣ учрежденія, которыя Г. Дума должна поддерживать и охранять. „Дѣятельность Толстого за послѣдніе годы была разрушительной, а наша дѣятельность должна быть созидательной". Кромѣ того, онъ умеръ въ разрывѣ съ церковью; церковь отказалась его хоронить. Поэтому всякое чествованіе будетъ вызовомъ, бросаемымъ церкви. Въ заключеніе своей рѣчи ораторъ указалъ, что Толстой отрицалъ государственныя учрежденія и Г. Думу. Чествовать въ государственномъ учрежденіи человѣка, который это учрежденіе отрицалъ, явилось бы самоотрицаніемъ и логическою нелѣпостью.

Послѣ этихъ словъ вопросъ о прекращеніи засѣданія былъ поставленъ на баллотировку и былъ принятъ подавляющимъ большинствомъ всей Думы, кромѣ небольшой кучки правыхъ и октябриста бар. Мейендорфа.

ГОСУД. СОВѢТЪ И Л. Н. ТОЛСТОЙ.

10-го ноября открылось засѣданіе Госуд. Совѣта въ 2 ч. 5 м. дня.

Предсѣдатель Гос. Совѣта М. Г. Акимовъ при напряженной тишинѣ всего зала сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:

„7-го текущаго ноября, при совершенно исключительныхъ, доходящихъ до трагизма, обстоятельствахъ, скончался на 83-мъ году своей жизни графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Оставляя въ сторонѣ сочиненія его по вопросамъ религіознымъ и политическимъ, вызвавшимъ какъ со стороны православной церкви, такъ и со стороны консервативныхъ круговъ нашего общества суровыя сужденія, никто, однако, не можетъ отрицать того, что другія произведенія пера усопшаго обезсмертили его имя, стяжавъ ему всемірную славу великаго, геніальнаго писателя. Этими послѣдними произведеніями восторгались и будутъ восторгаться многія поколѣнія. Россія, какъ родина графа Толстого, должна сильнѣе другихъ странъ чувствовать утрату родного ей генія. Изъ словъ, начертанныхъ Его Императорскимъ Величествомъ Государемъ Императоромъ на всеподданнѣйшемъ докладѣ о кончинѣ Л. Н. видно, что чувство глубокаго сожалѣнія о смерти великаго писателя проявлено съ высоты Престола нашего отечества. Господа, передъ свѣжей могилой не время являться судьями надъ вольными и невольными заблужденіями графа Толстого въ его сочиненіяхъ. Непреложнымъ остается одно: Россія въ лицѣ Л. Н. утратила геніальнѣйшаго писателя и величайшаго художника русскаго слова. Вотъ, милостивые государи, основаніе, обязывающее меня предложить Гос. Совѣту почтить вставаніемъ память великаго писателя земли Русской, Л. Н. Толстого“.

Всѣ присутствующіе, кромѣ архіепископа варшавскаго Николая и епископа вологодскаго Никона, встаютъ.

Фигуры сидящихъ епископовъ привлекаютъ къ себѣ

всеобщее вниманіе, но епископы выдерживаютъ искусъ и остаются на своихъ мѣстахъ.

Предсѣдатель объявляетъ перерывъ засѣданія на 5 минутъ.

Немедленно послѣ перерыва правые гурьбой входятъ въ залъ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И СИНОДЪ.

Извѣстія о тяжкой болѣзни Л. Н. Толстого вызвали тревогу въ „сферахъ“ и среди членовъ св. синода. Предсѣдатель совѣта министровъ П. А. Столыпинъ обратился къ оберъ-прокурору св. синода С. М. Лукьянову съ запросомъ, какія высшая церковная власть полагаетъ сдѣлать распоряженія на случай смерти Л. Н. и какія имѣются въ духовномъ вѣдомствѣ свѣдѣнія относительно посѣщенія имъ Оптиной пустыни. По поводу этого запроса было созвано экстренное засѣданіе св. синода, въ которомъ принимали участіе митрополиты: кіевскій Флавіанъ, московскій Владиміръ, архіепископъ Тихонъ ярославскій, еп. минскій Михаилъ, еп. тульскій Парѳеній и оберъ-прокуроръ С. М. Лукьяновъ. Митрополитъ Антоній отсутствовалъ.

Выяснилось, что какъ только получено было извѣстіе о томъ, что Л. Н. Толстой направился въ Оптину пустынь, изъ Петербурга по телеграфу было предложено калужскому епархіальному начальству немедленно сообщить синоду всѣ подробности. Полученныя свѣдѣнія не давали основанія для утвержденія о сближеніи Л. Н. съ церковью. Въ своемъ донесеніи калужское епархіальное начальство подчеркивало прежде всего, что Толстой явился въ монастырь, чтобы видѣться со своей сестрой. Но епархіальная власть при этомъ отвѣчала, что теперь не замѣтно у Л. Н. Толстого прежняго враждебнаго направленія къ православной церкви.

Не довольствуясь этими свѣдѣніями, іерархи пожелали узнать личное мнѣніе тульскаго преосвященнаго Парѳенія, про котораго сообщалось, будто онъ имѣлъ недавно бесѣду съ Толстымъ. Отъ епископа Парѳенія послѣдовалъ отвѣтъ не дававшій достаточнаго матеріала для рѣшенія поднятаго въ святѣйшемъ синодѣ вопроса. Тульскій преосвященный, какъ оказалось, только два года тому назадъ посѣтилъ Ясную Поляну и тогда же бывшему оберъ-прокурору Извольскому представилъ соотвѣтственный докладъ. Сущность того доклада сводилась къ тому, что Л. Н. Толстой переживалъ религіозный переломъ, который, по мнѣнію преосвященнаго, приближаетъ писателя къ православной церкви.

Въ основу сужденія св. синода и легли всѣ эти неопредѣленныя свѣдѣнія о Л. Н. Толстомъ. Іерархи указывали на то, что Л. Н. Толстой отлученъ св. синодомъ отъ церкви, и для того, чтобы церковь вновь приняла его въ свое лоно, необходимо, чтобы онъ раскаялся передъ ней. Между тѣмъ, раскаянія съ его стороны не видно; нѣтъ даже достаточныхъ свѣдѣній для того, чтобы утверждать, что Л. Н. приближается къ церкви. Оберъ-прокуроръ С. М. Лукьяновъ прилагалъ всѣ усилія къ тому, чтобы возникшій вопросъ былъ рѣшенъ въ смыслѣ принадлежности Л. Н. къ церкви. Такого рѣшенія ждали и въ высшихъ кругахъ, гдѣ всячески старались повліять на іерарховъ.

Послѣ продолжительнаго обмѣна мнѣній св. синодъ постановилъ послать телеграмму калужскому епархіальному начальству съ предложеніемъ принять мѣры, чтобы убѣдить больного раскаяться передъ церковью. Телеграмма была послана отъ имени св. синода, за подписью митрополита Антонія.

Спустя день изъ Оптиной пустыни была получена телеграмма, въ которой говорили, что старецъ Іосифъ, съ которымъ бесѣдовалъ Л. Н., боленъ и никого не до-

пускаетъ къ себѣ. Старецъ очень строгій затворникъ и едва ли согласится сообщать кому-либо о своей бесѣдѣ съ Толстымъ. Въ виду этого іерархи не приняли никакого рѣшенія. Они указывали, что положеніе св. синода въ данномъ случаѣ крайне затруднительное. Повидимому, такъ смотритъ на дѣло и первенствующій членъ синода, митрополитъ Антоній. На посланную Л. Н. Толстому за его подписью телеграмму, а также на телеграмму калужскому епархіальному архіерею пока отвѣтовъ не поступило.

Тульскій епископъ Парфеній, который два года тому назадъ бесѣдовалъ въ Ясной Полянѣ съ Л. Н. Толстымъ въ своемъ докладѣ синоду подчеркивалъ, что Чертковъ является главнымъ препятствіемъ для возвращенія великаго писателя въ лоно православной церкви. По мнѣнію преосвященнаго, Чертковъ имѣетъ такое вліяніе на Толстого, какъ отецъ на сына. Съ мнѣніемъ тульскаго епископа согласны почти всѣ члены синода. Послѣдніе находятъ, что необходимо принять какія-либо мѣры къ удаленію Черткова отъ больного писателя. Это, по ихъ мнѣнію, дастъ возможность представителямъ церкви воздѣйствовать на больного въ смыслѣ примиренія его съ церковью.

Извѣстіе о кончинѣ Л. Н. застало высшія духовныя сферы неподготовленными. Спустя нѣсколько часовъ послѣ полученія телеграммы о смерти Л. Н. между митрополитомъ и оберъ-прокуроромъ состоялось совѣщаніе, на которомъ обсуждался вопросъ о снятіи съ Толстого отлученія.

Оберъ-прокуроръ и митрополитъ Антоній, послѣ часового обсужденія вопроса, рѣшили, на случай, если къ 7-ми час. веч. не поступитъ отъ командированныхъ въ „Астапово“ преосвященнаго Парѳенія и старца Іосифа никакихъ положительныхъ, съ церковной точки зрѣнія, свѣдѣній о послѣднихъ дняхъ Толстого, или же, если не окажется у старца-затворника никакого завѣщанія Толстого, о которомъ думали нѣкоторые члены синода, то ограничиться лишь извѣстнымъ докладомъ тульскаго преосвященнаго и,

на основаніи этого доклада, разрѣшить священнику проводить тѣло скончавшагося писателя до могилы съ пѣніемъ „Святый Боже“. Иными словами, оберъ-прокуроръ и ми трополитъ Антоній рѣшили примѣнить къ Толстому правила, изданныя въ 1792 году и вновь пересмотрѣнныя и утвержденныя въ 1904 году, касающіяся похоронъ иновѣрцевъ. Этимъ и ограничилось утреннее совѣщаніе въ Александро-Невской лаврѣ. Рѣшено было собраться въ 6 час. веч. въ покояхъ митрополита Антонія.

До этого времени оберъ-прокуроръ С. М. Лукьяновъ лично посѣтилъ остальныхъ іерарховъ и бесѣдовалъ съ ними о предстоящемъ въ покояхъ митрополита засѣданіи.

Въ 3 часа дня предсѣдатель совѣта министровъ П. А. Столыпинъ сообщилъ оберъ-прокурору С. М. Лукьянову, что имъ получена телеграмма отъ рязанскаго губернатора кн. Оболенскаго точно устанавливающая, что семья Л. Н. Толстого выразила губернатору желаніе точно исполнить послѣднюю волю Л. Н. Толстого, заключающуюся въ томъ, что Л. Н. Толстой проситъ не совершать надъ нимъ никакихъ церковныхъ обрядовъ и какъ можно скорѣй предать его тѣло землѣ. Телеграмма произвела гнетущее впечатлѣніе не только на оберъ-прокурора, но и на предсѣдателя совѣта министровъ.

Въ 7 час. вечера, подъ предсѣдательствомъ митрополита Антонія, въ митрополичьихъ покояхъ состоялось совѣщаніе, въ которомъ принимали участіе: московскій митрополитъ Владиміръ, кіевскій Флавіанъ, самарскій преосвященный Константинъ и минскій епископъ Михаилъ, а также товарищъ оберъ-прокурора Роговичъ и, конечно, самъ оберъ-прокуроръ Лукьяновъ.

Засѣданіе началось обширной рѣчью оберъ-прокурора Лукьянова. Въ своей рѣчи оберъ-прокуроръ отмѣтилъ, что высшая церковная власть сдѣлала все, что могло зависѣть отъ нея, для того, чтобы вернуть Толстого въ лоно православной церкви.

Обмѣнъ мнѣній продолжался болѣе трехъ часовъ. Одни члены синода указывали на то, что „высшая церковная власть вовсе не должна была обсуждать этотъ вопросъ по существу, а также не должна была такъ реагировать на болѣзнь Толстого. Писатель, какъ извѣстно, самъ ушелъ отъ церкви, самъ вызвалъ актъ отлученія. Его ученіе идетъ вразрѣзъ съ христіанствомъ. Отношеніе Л. Н. къ личности Іисуса Христа всѣмъ намъ хорошо извѣстно. До сихъ поръ мы не слышали, чтобы покойный писатель дѣйствительно отказывался отъ своего неуважительнаго міровоззрѣнія. Если Толстой посѣтилъ Оптину пустынь, то это еще не доказываетъ, что онъ раскаялся“.

При такихъ условіяхъ неумѣстно поднимать вопросъ о снятіи отлученія съ покойнаго.

Другіе члены синода, опираясь на упомянутый докладъ еп. Парѳенія, утверждали противоположное. Намъ кажется,— говорили эти члены синода, что Толстой дѣйствительно стоялъ на распутьѣ и, живи онъ дольше, навѣрное не сегодня-завтра вернулся бы въ лоно церкви.

Послѣ продолжительныхъ преній св. синодъ нашелъ, что, въ виду выраженной какъ Л. Н. Толстымъ, такъ и его семействомъ, воли, считать вопросъ объ отношеніи церкви къ Л. Н. Толстому исчерпаннымъ: Л. Н. Толстой остается по-прежнему отлученнымъ отъ церкви.

Рѣшено предписать епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы онѣ приняли всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ недопущенію панихидъ или иныхъ церковныхъ службъ по почившемъ писателѣ.

Обо всемъ этомъ оберъ-прокуроръ св. синода С. М. Лукьяновъ 7-го ноября доложилъ предсѣдателю совѣта министровъ П. А. Столыпину.

РУКОВОДЯЩАЯ ПАРТІЯ ГОСУД. ДУМЫ И Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Послѣ кончины Л. Н. Толстого думская фракція союза 17 октября въ экстренномъ засѣданіи рѣшила возбудить передъ высшей свѣтской и духовной властью ходатайство о разрѣшеніи православнымъ священникамъ служить панихиды по Л. Н. Толстомъ и о погребеніи его по обряду православной церкви. Вслѣдъ за этимъ депутація, въ составѣ гр. Капниста, М. В. Родзянко и В. К. фонъ-Анрепа, направилась къ П. А. Столыпину.

Депутація изложила передъ предсѣдателемъ совѣта министровъ предметъ своего ходатайства; при этомъ она указала премьеру на ненормальность запрещенія православнымъ священникамъ служить панихиды, когда христіанская религія разрѣшаетъ молиться даже за самыхъ великихъ грѣшниковъ. Депутація настойчиво просила, чтобы предсѣдатель совѣта министровъ оказалъ возможное воздѣйствіе на высшія церковныя власти въ цѣляхъ пересмотра постановленія синода и снятія запрещенія.

П. А. Столыпинъ отвѣтилъ, что вопросъ о разрѣшеніи или воспрещеніи служить панихиды — вопросъ чисто церковный и что онъ, какъ представитель свѣтской власти, не усматриваетъ никакой возможности вмѣшаться въ дѣло церкви и оказывать какое бы то ни было давленіе на синодъ.

Депутація направилась тогда къ митрополиту Антонію. Высокопреосвященный отказался принять депутацію, сославшись на нездоровье.

Неудача этихъ хлопотъ крайне тягостно подѣйствовала на октябристовъ.

Міровое значеніе генія

Л. Н. Толстого.

ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ СОВПАДЕНІЕ.

По роковому стеченію обстоятельствъ въ „Кругѣ чтенія“, любовно составленномъ въ теченіе многихъ лѣтъ самимъ Львомъ Николаевичемъ на каждый день, въ день 7-е ноября говорится только о смерти, только о ней одной. Какъ будто великій Старикъ предчувствовалъ, какое значеніе будетъ имѣть этотъ роковой день для него и для всего міра. Вотъ что тамъ написано:

7-е НОЯБРЯ.

Жизнь есть сонъ, смерть—пробужденіе.

1.

Смерть есть начало другой жизни.

Монтень.

2.

Я не могу отрѣшиться отъ мысли, что я умеръ прежде, чѣмъ родился, и въ смерти возвращаюсь снова въ то же состояніе. Умереть и снова ожить съ воспоминаніемъ своего прежняго существованія—мы называемъ обморокомъ; вновь пробудиться съ новыми органами, которые должны были вновь образоваться,—значитъ родиться.

Лихтенбергъ.

3.

Если я умертвилъ животное--собаку, птичку, лягушку, даже хотя бы только насѣкомое, то, строго говоря, все-таки немыслимо, чтобы отъ моего злобнаго или легкомысленнаго поступка могло превратиться въ ничто это существо, или, вѣрнѣе, та первоначальная сила, благодаря которой это столь удивительное явленіе еще минуту тому назадъ представало предъ нами во всей своей энергіи и жизнерадостности. А съ другой стороны, милліоны животныхъ всякаго рода, каждое мгновеніе вступающихъ въ жизнь въ безконечномъ разнообразіи, полныхъ силъ и стремительности,— не могли совершенно никогда не существовать до акта своего рожденія и, не бывши ничѣмъ, начать быть. Если, такимъ образомъ, я замѣчаю, что одно скрывается у меня изъ виду невѣдомо куда, а другое появляется невѣдомо откуда и притомъ то и другое имѣетъ одинаковую форму и сущность, одинаковый характеръ, но только не одну и ту же матерію, которая, впрочемъ, и въ продолженіе ихъ существованія непрестанно отбрасывается и замѣняется новой,— то само собой напрашивается предположеніе, что то, что исчезаетъ, и то, что становится на его мѣсто, есть одно и то же существо, испытавшее лишь небольшое преобразованіе, обновленіе формы своего существованія и, сталобыть, то, что сонъ для индивида, то смерть для вида...

Шопенгауэръ.

4.

Вы меня спрашиваете про буддійское понятіе „карма". Я вотъ что думалъ недавно.

Во снѣ мы живемъ почти такъ же точно, какъ и наяву. Паскаль говоритъ, кажется, такъ: что если бы мы видѣли себя во снѣ постоянно въ одномъ и томъ же положеніи, а наяву въ различныхъ, то мы бы считали сонъ за дѣйствительность, а дѣйствительность за сонъ.

Это не совсѣмъ справедливо.

Дѣйствительность отличается отъ сна тѣмъ, что она, главное, дѣйствительнѣе, реальнѣе, такъ что я бы сказалъ такъ: если бы мы не знали жизни болѣе дѣйствительной, чѣмъ сонъ, то мы сонъ считали бы вполнѣ жизнью и никогда не усумнились бы въ томъ, что это не настоящая жизнь.

Теперь наша вся жизнь, отъ рожденія до смерти, со своими снами, не есть ли, въ свою очередь, сонъ, который мы принимаемъ за дѣйствительность, за дѣйствительную жизнь, и въ дѣйствительности которой мы не сомнѣваемся только потому, что не знаемъ болѣе дѣйствительной жизни?

5.

Я не жалѣю о томъ, что родился и прожилъ здѣсь часть моей жизни, потому что я жилъ такъ, что имѣю причину думать, что принесъ нѣкоторую пользу. Когда же придетъ конецъ, то я оставлю жизнь такъ же, какъ я бы ушелъ изъ гостиницы, а не изъ своего настоящаго дома, потому что я думаю, что пребываніе наше здѣсь предназначено намъ, какъ переходное и только временное.

Цицеронъ.

6.

Если бы я даже ошибался, что души безсмертны, я былъ бы счастливъ и доволенъ своей ошибкой и, пока я живу, ни одинъ человѣкъ не будетъ въ силахъ отнять у меня эту увѣренность, которая даетъ мнѣ такое неизмѣнное спокойствіе, такое полное удовлетвореніе.

Цицеронъ.

Къ этому самимъ Львомъ Николаевичемъ приписано:

„Мы можемъ только гадать о томъ, что будетъ послѣ

смерти; будущее скрыто отъ насъ. Оно не только скрыто,—оно не существуетъ, такъ какъ будущее говоритъ о времени, а, умирая, мы уходимъ изъ времени".

Смерть, какъ пробужденіе, грезилась еще князю Андрею Волконскому въ „Войнѣ и мирѣ".

Князю снилось, что онъ умеръ, и въ то же мгновеніе, какъ онъ умеръ, онъ, сдѣлавъ надъ собою усиліе, проснулся.

„Да эта была смерть. Я умеръ—я проснулся. Да, смерть—пробужденіе",—вдругъ просвѣтлѣло въ его душѣ, и завѣса, скрывавшая до сихъ поръ невѣдомое, была приподнята передъ его душевнымъ взоромъ".

„Смерть есть начало другой жизни".

Иванъ Ильичъ въ послѣднія минуты жизни искалъ своего привычнаго страха смерти и не находилъ его. Гдѣ она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

„Вмѣсто смерти былъ свѣтъ".

И когда Иванъ Ильичъ услыхалъ, какъ кто-то сказалъ надъ нимъ: „кончено!",—онъ повторилъ эти слова въ своей душѣ. „Кончена смерть,—сказалъ онъ себѣ.—Ея нѣтъ больше".

„Онъ втянулъ въ себя воздухъ, остановился на половинѣ вздоха, потянулся и умеръ". („Смерть Ивана Ильича").

Такъ умеръ Иванъ Ильичъ 25-го марта 1886 г.

Такъ же „ушелъ изъ времени" и Толстой—7-го ноября 1910 года.

ПАМЯТИ ТОЛСТОГО.

Получивъ еще при жизни значеніе центральной личности во всемъ культурномъ мірѣ, на которую были устремлены взоры многихъ и многихъ тысячъ мыслящихъ людей

и къ голосу которой, то преклоняясь, то возражая, то негодуя, прислушивались всѣ, Левъ Николаевичъ Толстой своею смертью, обстоятельствами ее сопровождавшими, привлекъ еще шире общее вниманіе и симпатіи, добровольно возложеннымъ имъ на себя, на порогѣ жизни, подвигомъ страдальческаго искупленія. Ослабѣвшимъ тѣлесно старцемъ покинулъ онъ свое родовое гнѣздо, свой скромный, но привычный, уютный home и, слѣдуя влеченію своего долга и совѣсти, ушелъ искать гдѣ-то вдали спасенія отъ лжи міра и суеты жизни, высшаго покоя для своего угасающаго, но еще бодраго и мощнаго духа. Поступилъ непредусмотрительно, не разумно даже, скажутъ всѣ благоразумные, уравновѣшенные люди, здраво соображающіе всѣ возможныя послѣдствія своихъ поступковъ, и будутъ по-своему правы, но если бы жизнь всѣхъ людей направлялась только благоразуміемъ, то не было бы и многаго великаго, не было бы и высокихъ подвиговъ человѣческаго духа,—того, чѣмъ возвышается человѣкъ надъ всѣми земными живыми существами, въ чемъ проявляется та божественная искра, свѣтъ которой блещетъ изъ-подъ тлѣнной оболочки и, озаряя человѣчество, распространяетъ свои волны въ духовномъ мірѣ настоящаго и будущаго. „Неблагоразумный" поступокъ Толстого, толкуемый пустыми людьми какъ желаніе подъ конецъ жизни уйти отъ грѣховъ міра сего и искать себѣ спасенія среди народа или въ пустынѣ, примирилъ съ нимъ, и тѣхъ, которые относясь къ нему, въ общемъ, съ уваженіемъ и вниманіемъ, склонны были видѣть извѣстное противорѣчіе между его мыслями и дѣлами, между его ученіемъ и его жизнью. Одряхлѣвшая плоть не вынесла влеченія сильнаго духа, но тѣмъ ярче выступилъ подвигъ великаго старца, освѣтившій конецъ его жизни,—жизни, отданный великому художественному творчеству и неустанной работѣ мысли надъ исканіемъ правды и истины.

Толстой, съ момента великаго перелома въ своей жизни,

когда отъ исканія правды въ художественномъ творчествѣ онъ обратился къ исканію правды въ жизни человѣчества и въ своей собственной, шелъ неуклонно впередъ въ развитіи своихъ идей, смѣло высказывая ихъ всему культурному міру и не страшась ни сильныхъ міра сего, ни опасностей идти противъ теченій, даже противъ основъ современной культуры. Какъ самобытный мыслитель, какъ неуклонный борецъ, какъ убѣжденный проповѣдникъ, онъ не останавливался передъ выводами и шелъ до конца въ развитіи того, что онъ считалъ истиной, и, живи онъ въ прежнія времена, не избавиться было бы ему отъ когтей инквизиціи или отъ грознаго, но неправеднаго свѣтскаго, суда. Да и въ наше время, въ Россіи, если великій художникъ и мыслитель терпѣлся и не преслѣдовался, то вѣдь это потому, что съ нимъ или за нимъ были мощныя силы,—его собственный міровой геній и сила общественнаго мнѣнія и совѣсти,—не столько наши,—гдѣ ужъ намъ,—а всей Европы, всего культурнаго человѣчества. Распространеніе его идей было, впрочемъ ограничено, многія писанія его запрещались, а его послѣдователи и издатели его сочиненій подвергались карамъ. Да и самъ Толстой не избѣжалъ, если не тѣлесной, то духовной кары; онъ былъ торжественно отлученъ, или, какъ иные выражаются мягче,—отрѣшенъ отъ православной церкви,—актъ, которому склонны были, повидимому, сочувствовать и католическіе прелаты.

И когда отрѣшенный ушелъ изъ родного дома и заѣхалъ по пути въ монастырь, въ этомъ нѣкоторые увидѣли признаки его готовности къ раскаянію, но почившій остался до конца вѣрнымъ себѣ и завѣщалъ похоронить себя безъ участія духовенства, тамъ, гдѣ жилъ и мыслилъ, и такимъ, какимъ онъ былъ и умеръ, признавъ очевидно, неизбѣжность такого именно отношенія къ своему праху.

Многіе, конечно, и у насъ, и за предѣлами нашими, не способны будутъ примириться съ такимъ концомъ, но и

они должны будутъ признать, что этого слѣдовало ожидать, въ связи со всѣмъ ученіемъ Толстого и непреклонностью, которое онъ проявлялъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Даже всѣ тѣ, кто были несогласны съ нимъ, которые даже ненавидѣли его и готовы были всячески преслѣдовать его, должны согласиться съ тѣмъ, что если онъ остался до конца вѣрнымъ своему ученію, то ему трудно было поступить иначе, и если онъ и училъ, и распорядился своимъ прахомъ неправильно, то въ этомъ онъ дастъ во всякомъ случаѣ отвѣтъ не намъ, мы же должны вспомнить великую заповѣдь о прощеніи обижающихъ насъ, да еще великій урокъ, данный всѣмъ тѣмъ, кто считаетъ себя лучше обвиняемаго,—первымъ бросить въ него камнемъ, — вспомнить этотъ урокъ и,—у кого есть совѣсть,—устыдиться...

Толстой былъ отрѣшенъ отъ церкви, но онъ не могъ быть отрѣшенъ отъ насъ русскихъ людей, русскаго народа. Развѣ можно было бы согласиться съ тѣмъ, что Толстой—не нашъ; развѣ есть такая сила, которая могла бы отнять его отъ насъ, отъ нашей литературы, въ которой онъ блещетъ звѣздой первой величины, отъ нашей культуры, которую онъ такъ сблизилъ, такъ сроднилъ съ культурой міровой, общечеловѣческой, отъ нашего народа, который имъ такъ прославленъ, съ духомъ, жизнью, протестами, даже грѣхами и заблужденіями котораго онъ такъ неразрывно слился! Нѣтъ, онъ нашъ, нашъ теперь, нашъ и въ вѣкахъ будущаго, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, будучи весь нашимъ, онъ въ то же время также близокъ и всѣмъ другимъ,—славянамъ, романцамъ, германцамъ, всѣмъ христіанскимъ и нехристіанскимъ націямъ, индусамъ и японцамъ, евреямъ, буддистамъ, магометанамъ, — всѣмъ людямъ, въ комъ есть пониманіе прекраснаго, уваженіе къ исканію истины, кто сознаетъ великую правду въ любви къ людямъ, къ человѣку, гдѣ бы и кто бы онъ ни былъ. Толстой тѣмъ и великъ особенно, что онъ принадлежитъ и намъ, и всему человѣчеству, и если на чемъ могло бы объединиться все

человѣчество, все мыслящее въ немъ и цѣнящее творчество въ области красоты, мысли и правды, такъ это на Толстомъ, что́ могло бы выразиться въ поставленіи ему общаго памятника гдѣ-нибудь на нейтральной почвѣ, на средства, собранныя во всѣхъ странахъ, среди всѣхъ народовъ. Затѣмъ, конечно, надо будетъ озаботиться и поставленіемъ достойнаго ему памятника у насъ, на его могилѣ, и нѣтъ сомнѣнія, что величайшіе современные художники-скульпторы приняли бы въ этомъ дѣлѣ живое участіе. Но, можетъ быть, не менѣе важно и необходимо было бы созданіе другого памятника, живого и способнаго къ развитію учрежденія, въ которомъ горѣлъ бы вѣчный огонь свѣта, исканія правды и красоты и теплой любви къ людямъ, хотя и трудно, почти невозможно придумать такой живой памятникъ, вполнѣ достойный памяти почившаго, и еще труднѣе было бы осуществить его...

Во всякомъ случаѣ, если бы такое учрежденіе было возможно, исходящій изъ него свѣтъ долженъ былъ бы быть свѣтомъ просвѣщенія, такимъ, въ признаніи блага котораго могли бы сойтись всѣ мыслящіе и всѣ вѣрующіе. Да, всѣ вѣрующіе, ибо настоящая живая, не мертвая вѣра предполагаетъ непрестанное, упорное исканіе свѣта и правды. Вѣра есть стремленіе къ истинѣ, къ благу человѣчества, она немыслима безъ борьбы съ самимъ собой, безъ любви къ людямъ, безъ проповѣди, безъ готовности самопожертвованія. И наиболѣе религіозными временами были не тѣ, когда культъ, формы сковывали мысль, но когда эта мысль бродила, горѣла, когда люди упорно думали, спорили, видѣли въ вѣрѣ дѣло жизни, приносили себя въ жертву тому, что они считали истиной. Таковы были времена возникновенія великихъ міровыхъ религій, такимъ искателемъ истины былъ и Толстой. Пусть онъ, можетъ быть, въ иномъ заблуждался, — давно сказано: не ошибается только тотъ, кто не мыслитъ и ничего не дѣлаетъ,—но ошибки такого ума, какъ Толстой, не могутъ умалить его историческаго

образа,—одного изъ великихъ умовъ человѣчества, одного изъ яркихъ свѣточей нашей столь еще стадной, несознательной, ложной, жестокой, несовершенной еще жизни...

Д. Анучинъ.

ОНЪ ВЪ БУДУЩЕМЪ ЖИВЕТЪ.

(*Памяти Л. Н. Толстого*).

Но вѣчнымъ сномъ пока я сплю,
Моя любовь не умираетъ.
И ею, братья, васъ молю,
Да каждый къ Господу взываетъ...

Буквально такъ же, какъ въ напутственномъ тропарѣ Іоанна Дамаскина, и Левъ Николаевичъ, почившій вѣчнымъ сномъ, завѣщалъ намъ свою неумирающую любовь, связанную съ взываніемъ къ Богу. Какой его Богъ? Мы помнимъ его опредѣленія: „Богъ—это неограниченное все то, что я знаю въ себѣ ограниченнымъ: я — тѣло ограниченное, Богъ — тѣло безконечное; я—существо, жившее 63 (или теперь 83) года, Богъ существо, живущее вѣчно... мыслящее безпредѣльно... любящее безконечно. Я — часть, Онъ—все". И часть вернулась къ своему „все", ограниченное слилось съ безконечнымъ; духъ вѣченъ и потому любовь его не умираетъ...

Общимъ мнѣніемъ теперь является, что Толстой актомъ смерти при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ она произошла, утвердилъ, возстановилъ цѣлостность своего духовнаго облика; ему нельзя уже не вѣрить. И эта смерть въ пути, на вчера еще безвѣстной станціи Астапово, нынѣ прославленной на весь міръ, смерть—„сѣдя на санехъ", какъ собирался умирать Владиміръ Мономахъ, является въ полномъ соотвѣтствіи съ обликомъ духовнаго Мономаха нашихъ

дней. Онъ шелъ, онъ ѣхалъ куда-то — въ вагонѣ, въ повозкѣ, „на санехъ"—не все ли равно?—Смерть захватила его въ пути, на этомъ стремленіи впередъ, въ поискахъ неизвѣстнаго, въ слѣдованіи за идеей, ради которой онъ порвалъ съ прежними привязями.

Это стремленіе впередъ, эта преданность идеѣ, это необычайной красоты подвижничество при слабѣющихъ физическихъ силахъ, послѣдній актъ великаго духа прежде всего опровергаетъ выводы изъ прежнихъ его размышленій, будто когда-то Толстой испугался смерти, будто изъ страха смерти онъ отвернулся отъ жизни, ушелъ не жить, а готовиться умирать. Нѣтъ, если бы въ немъ былъ исключительный страхъ смерти, онъ не разстался бы съ обстановкой, гарантировавшей ему внимательный уходъ, всяческія заботы о продленіи жизни, бережное отстраненіе рискованныхъ случайностей. Онъ кинулся навстрѣчу случайностямъ и умеръ какъ бы невзначай готовясь не къ смерти, а къ жизни, къ новой жизни, согласованной съ его взглядами и убѣжденіями.

Толстой еще во многомъ принадлежитъ будущему, и самъ онъ жилъ въ этомъ чаемомъ имъ будущемъ, отъ котораго такъ далека современная ему и намъ дѣйствительность. Съ этой точки зрѣнія многое спорное и даже противорѣчивое въ его воззрѣніяхъ проясняется; мы достигаемъ гармоніи, недостатокъ которой больно отзывался въ сердцахъ почитателей геніальнаго художника при разборѣ отдѣльныхъ высказываемыхъ имъ мнѣній и утвержденій, нерѣдко неожиданныхъ и парадоксальныхъ, если не считаться съ ихъ психологической базой.

Остановлюсь лишь на двухъ чертахъ духовной эволюціи этого гиганта мысли,—мысли художественной и мысли этической которыя далеко не всегда совпадаютъ, — на проявленіи его отношенія къ настоящему и прошлому, что привело его къ нѣкоторому утопизму—жизни внѣ пространства и времени, и въ связи съ этимъ вопросомъ — на от-

части лишь кажущемся, отчасти дѣйствительномъ разладѣ отдѣльныхъ пройденныхъ имъ этаповъ развитія.

Было время, когда Толстого, отчасти въ зависимости отъ его собственныхъ признаній, какъ бы дѣлили пополамъ: Толстой перваго періода его жизни, Толстой — геніальный художникъ, преданный всецѣло искусству, и затѣмъ Толстой послѣ перелома, Толстой мыслитель и проповѣдникъ; его личность дробили такъ же, какъ въ немъ самомъ пытались разграничить „десницу“ и „шуйцу“, неравныя и даже противоположныя по достоинству.

Теперь же почти общимъ мѣстомъ становится обратное положеніе: стремленіе доказать единство Толстого на всемъ протяженіи его творческой дѣятельности, связать произведенія послѣдняго періода съ зачатками, намеками и указаніями въ произведеніяхъ первыхъ лѣтъ, со свойствами, присущими ему съ самаго начала его выступленія на литературномъ поприщѣ.

Словъ нѣтъ—личность едина, при всей ея сложности; Толстой — авторъ „Дѣтства и Отрочества“, тотъ же по свойствамъ ума, характера и пробужденій, какъ и авторъ хотя бы „Крейцеровой Сонаты“, и моралистъ въ „Войнѣ и Мирѣ“; лишь въ болѣе непосредственной формѣ остался тѣмъ же, кѣмъ онъ былъ ранѣе, въ статьяхъ и разсужденіяхъ послѣднихъ лѣтъ. Остался и художникъ лишь въ новой травестіи, откинувшій форму прежнихъ фикцій, но столь же творчески-непримиримый въ замыслахъ, въ требованіи абсолютнаго совершенства отъ жизни, какъ и отъ произведеній искусства.

Однако, если личность едина, если нѣтъ „десницы„ и „шуйцы“, если нѣтъ и противорѣчія по существу между раннимъ и позднѣйшимъ Толстымъ, то все же несомнѣненъ переломъ въ міросозерцаніи, несомнѣненъ и даже вполнѣ законенъ, разладъ между тѣмъ, что думалъ Толстой въ періодъ юности и возмужалаго возраста съ тѣмъ, къ чему онъ сталъ стремиться уже проживъ полвѣка. И эти раз-

личные фазисы его духовной жизни стоятъ въ связи съ его отношеніемъ къ настоящему, къ прошлому и будущему человѣчества.

Въ молодые годы Толстой весь жилъ настоящимъ. Онъ думалъ, какъ всѣ, или старался такъ думать, нормируя свои взгляды и поступки по тѣмъ понятіямъ, которыя установились въ средѣ и обществѣ, къ которымъ онъ принадлежалъ. Онъ казался не лучше, не хуже другихъ, черпалъ полной чашей изъ источника наслажденій, считая себя въ равномъ положеніи съ большинствомъ лицъ избраннаго круга того общества, которое Достоевскій называлъ „вышесреднимъ“. Его выдѣлили лишь первые проблески могучаго дарованія, когда онъ почувствовалъ, что онъ не такой какъ всѣ, а нѣчто большее. И вотъ онъ сталъ художникомъ, быто-писателемъ и лѣтописцемъ „вышесредняго общества“, но геніально-проницательный въ раскрытіи и выраженіи душевныхъ переживаній людей въ разныхъ положеніяхъ, въ разномъ возрастѣ и состояніи, мужчинъ, женщинъ, дѣвушекъ, подростковъ, стариковъ и т. д., онъ все еще держится кодекса настоящаго, кодекса принятыхъ, аккредитованныхъ, установленныхъ въ данной средѣ и въ данный историческій моментъ воззрѣній, которыя составляютъ основу и его міросозерцанія.

Наступаетъ кризисъ. Намъ не приходится теперь изслѣдовать его причины и искать его зачатка. Важно лишь то, что онъ наступилъ тогда, когда Толстой исполнилъ гигантскій трудъ—впиталъ въ себя и выразилъ въ яркихъ образахъ всю ту дѣйствительность, все то настоящее, которымъ онъ доселѣ жилъ. Вынесенный собственнымъ произведеніемъ, какъ бы раскатомъ огромнаго вала на прибрежную высокую скалу, онъ оглянулся и, найдя новую точку опоры, увидѣлъ иное, чѣмъ то, что ему представлялось раньше, пока онъ плылъ по волнамъ, то опускаясь внизъ, въ дрязги жизни, то поднимаясь на

требень художественнаго вдохновенія, но не будучи еще въ состояніи охватить дали.

Даль привлекала его. Онъ ушелъ въ прошлое, къ основателямъ религіозныхъ вѣроученій, къ мудрецамъ и религіознымъ мыслителямъ древности. Ему представилось, что идеалъ нашъ не впереди, а сзади насъ, въ давно-прошедшихъ временахъ. Прошлымъ представляется и та простонародная среда, сохранившая примитивныя формы жизни и наивное міропониманіе, въ которое онъ вдругъ увѣровалъ съ такою силою, что захотѣлъ не только приблизиться къ ней, но какъ бы слиться, жить съ ней общей жизнью, самъ опростившись. Для идеаловъ прошлаго онъ отрекся отъ достиженія настоящаго, признавъ ихъ неудовлетворительность. Но именно это обращеніе къ прошлому и привело къ тому, что Толстой сталъ жить въ будущемъ, не считаясь ни съ какими условіями достиженія тѣхъ или иныхъ вѣковѣчныхъ завѣтовъ. Точнѣе—для него отпали границы времени, различеніе бывшаго, отошедшаго, и того, что есть, въ отличіе отъ того, что должно быть: онъ призналъ лишь вѣчное, а, стало быть, осознанное въ прошломъ, ощущаемое и нынѣ, обязательное и въ будущемъ. Сливъ вмѣстѣ и объединивъ въ себѣ всѣ эти три момента, онъ сталъ самъ какъ бы внѣ времени, какъ и внѣ условій всего временнаго.

Такая позиція—удѣлъ генія, это высшій синтезъ отвлеченныхъ началъ всего сущаго. Онъ упирается на вѣрѣ въ существованіе абсолютовъ, на метафизическихъ построеніяхъ, такимъ абсолютомъ представилось Толстому, прежде всего, добро, которому онъ подчинялъ красоту и даже науку и общественныя организаціи—государство,—оцѣнивая все съ точки зрѣнія критерія добра, различая хорошее и дурное искусство, полезныя и ненужныя науки, необходимые постулаты совѣсти и излишнія учрежденія, лишь по видимости призванныя регулировать общественныя отношенія.

Все условное вызвало его рѣзкій отпоръ. Все относительное подвергалось критикѣ по мѣрилу абсолютнаго. Онъ отвергъ все то, что исторія объясняетъ, отчасти даже оправдываетъ въ перспективѣ историзма. Онъ не хотѣлъ знаться съ филологической критикой, комментируя старые тексты. Онъ отрицалъ историческій критерій въ оцѣнкѣ произведеній искусства прошлаго. Ему были чужды поэзія символа и непонятная историческая основа обрядности. О, противъ всѣхъ этихъ утвержденій или отрицаній, конечно, можно возразить, и въ аргументахъ нѣтъ недостатка. Но есть и у Толстого одинъ противъ всѣхъ доводъ, приличествующій его титаническому облику: истина одна, не можетъ быть двухъ истинъ. Какъ примирить это положеніе съ разнообразіемъ и различіемъ человѣческихъ правдъ —этого онъ не знаетъ и знать не хочетъ. Истину надо мыслить безотносительно и безусловно. Ее одну онъ испытуетъ, все прочее передъ ней блѣднѣетъ и стушевывается. Пусть въ настоящей жизни преобладаютъ относительное и условное; онъ нарушитъ эту преграду передъ познаніемъ абсолютной истины; цѣльный и непримиримый, онъ видитъ ее на протяженіи всей жизни человѣчества, какъ идеалъ и завѣтъ прошлаго, какъ постулатъ настоящаго, какъ необходимый лозунгъ будущаго. И, перешагнувъ черезъ всѣ препятствія, онъ самъ жилъ и духовно живетъ въ будущемъ.

Въ это будущее переносятся имъ всѣ тѣ реальности, которыя онъ выдѣлилъ отъ ихъ случайныхъ костюмовъ, въ разныя эпохи исторіи: истинна, а, стало быть, и реальна любовь, которая независима отъ личныхъ симпатій или антипатій, любовь ко всѣмъ; реальное единеніе, ибо оно также можетъ быть достигаемо, независимо отъ различія взглядовъ, мнѣній, навыковъ, при стремленіи къ общей цѣли, реально духовное самоусовершенствованіе, ибо оно выражаетъ лишь естественный и законный переходъ отъ низшихъ къ высшимъ, улучшеннымъ состояніемъ

духа при расширенномъ состояніи самоопредѣляющейся личности. Наконецъ, реально признаніе себя лишь частью цѣлаго, и этому цѣлому, „всему", надо придавать эпитеты, обратные ограниченности, предѣльности, конечности, присущія индивидуальнымъ существованіямъ.

Такъ создается на почвѣ спиритуализма новая гармонія въ противовѣсъ всему тому, что дѣлаетъ нашъ міръ „непріемлемымъ", хотя бы Ивану Карамазову: и эта гармонія носитъ характеръ религіознаго вѣроученія; такъ выводятся новыя этическія понятія въ связи съ евангельскимъ завѣтомъ непротивленія зломъ злу: простое утвержденіе истиннаго должно замѣнить борьбу съ ложнымъ, постыднымъ, несправедливымъ; убѣжденія, доводы должны упразднить акты насилія въ какой бы то ни было формѣ; добровольный аскетизмъ, отказъ отъ роскоши и тѣхъ благъ, которыя доступны лишь немногимъ, должны предотвратить недовольство и возбужденіе тѣхъ, у кого слишкомъ мало, противъ тѣхъ, у кого слишкомъ много, у живущихъ въ работѣ для другихъ, противъ живущихъ за счетъ другихъ.

Это во всякомъ случаѣ, цѣльное и оригинальное міропониманіе, усвоенное Толстымъ въ послѣднемъ періодѣ его жизни, конечно, весьма противоположно тому, которымъ онъ раньше жилъ. Какъ оно сложилось — это другой вопросъ. Толстому принадлежитъ искренность переживаній, послѣдовательность въ процессѣ мышленія, смѣлая откровенность признаній. Составные же элементы его міровоззрѣнія могутъ быть весьма различны, какъ различны и источники, которыми онъ вдохновлялся. Мы называемъ словомъ геній—нѣчто неопредѣленное въ своей сущности, кажущееся нарушеніе какихъ-то нормъ обычнаго и принятаго и въ то же время утвержденіе чего-то высшаго, болѣе устойчиваго, чѣмъ случайные феномены жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ геніальный человѣкъ — это завершитель прошлаго; онъ заканчиваетъ эпоху въ преддверіи къ другой; это—

синтезъ нѣсколькихъ прошлыхъ поколѣній и прогнозъ будущихъ. Такъ, Данте считается завершителемъ средневѣковаго міросозерцанія, которое онъ воспринялъ съ наивозможной полнотой, и въ то же время онъ является первымъ „новымъ“ человѣкомъ съ точки зрѣнія позднѣйшихъ поколѣній; такъ Шекспиръ имѣлъ предшественниковъ, которые подготовили и обусловили его появленіе, онъ прежде всего подводилъ итоги, и т. д.

Нетрудно намѣтить многое изъ того, чему и Толстой подводилъ итоги, чѣмъ онъ связанъ съ прошлымъ, имъ подготовленнымъ и обусловленнымъ прошлымъ литературнымъ и общественно-бытовымъ. Вѣдь былъ графъ Левъ Николаевичъ и большимъ „бариномъ“ въ умирающемъ нынѣ значеніи слова, насколько барство держалось извѣстнымъ общественнымъ строемъ; онъ опростился, примкнувъ къ движенію народничества, и безъ сомнѣнія, является и продолжателемъ и завершителемъ даннаго общественнаго теченія; онъ былъ и раціоналистомъ, и позитивистомъ, поскольку эти ученія характерны для пережитой эпохи 60-хъ и 70-хъ годовъ; онъ сталъ религіознымъ мыслителемъ, опираясь на религіозныя исканія въ обществѣ, одновременныя съ пережитымъ имъ лично кризисомъ. О томъ, въ какія отношенія становится Толстой къ прошлому русскаго общества, можно бы написать цѣлую книгу въ поясненіе базы его міросозерцанія и элементовъ его творчества. Это было бы, конечно, полезной и даже поучительной работой для нашего самосознанія. Едва ли, однако, не плодотворнѣе смотрѣть впередъ, а не назадъ: что онъ далъ для будущаго? И въ этомъ отношеніи на первомъ планѣ выступаетъ, конечно, его всѣми ощущаемая, не мирящаяся ни съ какими сдѣлками и компромиссами, совѣсть, подсказывавшая ему прямоту выводовъ и безапелляціонность приговоровъ; отсюда лирическія заглавія его статей „Стыдно“ по поводу тѣлесныхъ наказаній, „Не могу молчать“— о смертной казни. То, чего не должно быть, не

имѣетъ себѣ оправданій въ условіяхъ времени. Это лозунгъ будущаго. — Какимъ путемъ бы ни возникали учрежденія, обряды, историческія условія жизни — они подлежатъ провѣркѣ по безотносительному критерію истиннаго и добраго; если они не удовлетворяютъ болѣе, если чувствуется фальшь въ перевѣсѣ условнаго надъ истиннымъ, нужно освободить истину отъ условности, отвергнувъ изжитыя формы. Эта радикальная мѣра — залогъ будущаго внесенія большей правды и большей справедливости въ людскихъ отношеніяхъ.—Наконецъ, по поводу взаимоотношенія индивидуальнаго и общаго, личности и соборности: Толстой въ своемъ личномъ развитіи далъ полную картину наивозможнаго расцвѣта индивидуальности. Онъ началъ съ того, что жилъ для себя, развивая всесторонне богатые задатки, отдавши дань необходимому эгоизму въ періодъ формаціи человѣка, пробы силъ, образованія личности. Но затѣмъ, сознаніе солидарности съ чѣмъ-то большимъ, общимъ, всенароднымъ побѣдило, и онъ отдалъ себя на служеніе другимъ. Будущее принадлежитъ коллективнымъ силамъ, сплоченнымъ группамъ, объединенному человѣчеству. И въ этомъ смыслѣ побѣда въ грядущемъ за идеалъ Толстого:

И вѣчнымъ сномъ пока онъ спитъ,
Его любовь не умираетъ...

Ѳ. Батюшковъ.

ТОЛСТОЙ О СМЕРТИ И СМЕРТЬ ТОЛСТОГО.

Толстой много разъ писалъ о смерти. Теперь самъ онъ переступилъ черезъ этотъ великій порогъ, и его смерть не только закончила его жизнь, но и завершила дѣло его жизни. Она внесла новыя прекрасныя черты въ тѣ мысли

о смерти, какія онъ развивалъ въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ.

Смерть—это естественное явленіе природы,—вотъ постоянная мысль Толстого.—Природа не боится ея. Вспомните смерть дерева въ „Трехъ смертяхъ". „.. На мгновеніе все затихло; но снова погнулось дерево, послышался трескъ въ его стволѣ, и, ломая сучьи и спустивъ вѣтви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шаговъ затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Вѣтка, которую она зацѣпила своими крыльями, покачалась нѣсколько времени и замерла, какъ и другія, со всѣми своими листьями. Деревья еще радостнѣе красовались на новомъ просторѣ своими неподвижными вѣтвями". Также спокойно, не пытаясь бороться, покидаетъ жизнь и Мухортый, лошадь изъ разсказа „Хозяинъ и работникъ". И человѣкъ, чѣмъ ближе онъ къ природѣ, чѣмъ онъ проще и примитивнѣе, тѣмъ спокойнѣе онъ относится къ неизбѣжному факту смерти, тѣмъ онъ легче и для себя и для другихъ оставляетъ эту жизнь. „Господи, Батюшка, видно и меня зовешь,—говоритъ себѣ Никита, въ томъ же „Хозяинѣ и работникѣ".—Твоя святая воля. А жутко! Ну, да двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорѣе бы... И онъ опять прячетъ руку, закрывая глаза, и забывается, вполнѣ увѣренный, что теперь онъ уже навѣрное и совсѣмъ умираетъ". И раньше, когда онъ еще могъ говорить, хотя и съ трудомъ ворочалъ языкомъ, весь закоченѣвшій отъ стужи, онъ одно только сказалъ хозяину;—Поми-ми-мираю я, вотъ что,—съ трудомъ и прерывистымъ голосомъ выговорилъ Никита.—Зажитое малому отдай, али бабѣ,—все равно".

Также спокойно, можно сказать равнодушно, какъ къ чему-то необходимому въ общемъ ходѣ вещей относится къ приближающейся кончинѣ и ямщикъ Ѳедоръ въ разсказѣ „Три смерти". И окружающіе его тоже смотрятъ на нее также безъ раздраженія и безъ горя, молча, почти, какъ

оставшіяся въ живыхъ деревья вокругъ срубленнаго дерева въ томъ же разсказѣ: они воспринимаютъ ее скорѣе, какъ дѣловую подробность и оцѣниваютъ только со стороны практическихъ послѣдствій. Молодой малый Серега, безъ особаго смущенія проситъ у больного его новые сапоги, которые тому, очевидно, уже не могутъ пригодиться. Больного это не удивляетъ и не возмущаетъ, и только приступъ кашля мѣшаетъ ему немедленно отвѣтить. „Серега хотѣлъ уйти, не дождавшись отвѣта, но больной во время кашля, глазами давалъ ему понять, что хочетъ отвѣтить.

„— Ты сапоги возьми, Серега,—сказалъ онъ, подавивъ кашель и отдохнувъ немного.—Только, слышь, камень, купи, какъ помру,—хрипло прибавилъ онъ".

А, когда кухарка Настасья все время ворчавшая на то, что больной безъ пользы занимаетъ цѣлый уголъ, подошла къ нему вечеромъ, онъ проговорилъ:

„— Ты на меня не серчай, Настасья,—скоро опростаю уголъ-то твой".

И онъ, дѣйствительно, опросталъ его въ ту же ночь, тихо, никого не потревоживъ лишній разъ.

Но когда человѣкъ отходитъ отъ природы, когда его жизнь осложняется, развивая въ немъ множество новыхъ потребностей, онъ научается чрезмѣрно цѣнить ее и болѣзненно цѣпляется за нее, терзаясь самъ и терзая окружающихъ.

Мучительно разстается съ жизнью барыня изъ того же разсказа о „Трехъ смертяхъ", увѣренная, что не сдѣлали всего, чтобы спасти ее, раздражаясь на всѣхъ, безразсудно хватаясь за всякій обманчивый проблескъ надежды, наполняя весь домъ тревогой и тоской. Еще мучительнѣе умираетъ братъ Левина въ „Аннѣ Карениной". „Никто, ни братъ, ни Кити не могли успокоить его. Онъ на всѣхъ сердился и всѣмъ говорилъ непріятности, всѣхъ упрекалъ въ своихъ страданіяхъ и требовалъ, чтобъ ему привезли

знаменитаго доктора изъ Москвы. На всѣ вопросы, которые ему дѣлали о томъ, какъ онъ себя чувствуетъ, онъ отвѣчалъ одинаково съ выраженіемъ злобы и упрека: страдаю ужасно, невыносимо". „... Переложите меня на другой бокъ,—говорилъ онъ,—и тотчасъ послѣ того требовалъ, чтобъ его положили, какъ прежде.—Дайте бульону! Унесите бульонъ! Разскажите что-нибудь, что вы молчите.—И, какъ только начинали говорить, онъ закрывалъ глаза и выражалъ усталость, равнодушіе и отвращеніе". А между тѣмъ, когда онъ былъ здоровъ, онъ былъ далеко не такимъ. „Ты не повѣришь, какой это былъ прелестный юноша!—говоритъ Левинъ женѣ. Это смерть ожесточила его."

Но съ кѣмъ смерть поступила наиболѣе жестоко — это Иванъ Ильичъ. Три дня, въ дикомъ, непрерывномъ предсмертномъ ужасѣ онъ кричалъ одинъ нечленораздѣльный звукъ:—У! уу! у! А вѣдь, это былъ тоже высоко культурный, интеллигентный человѣкъ, но теперь все, чѣмъ онъ жилъ, отошло куда-то и остался одинъ,—нельзя сказать животный, такъ какъ животные его не испытываютъ,—скорѣе исключительно человѣческій, хотя и противоестественный страхъ смерти. Къ окружающимъ его онъ утратилъ всякія добрыя чувства. Такъ же, какъ и Левинъ, онъ считалъ ихъ какъ будто виноватыми передъ собой, виноватыми уже за одно то, что они живы, здоровы, когда онъ такъ мучается. Думать о нихъ онъ не могъ и не хотѣлъ, напротивъ, онъ все время и внутренне обвинялъ ихъ въ томъ, что они слишкомъ мало думаютъ о немъ. Его ужасныя физическія страданія блѣднѣли передъ невыносимыми нравственными страданіями, передъ вставшей въ немъ вдругъ увѣренностью, что вся его „сознательная жизнь была не то".

Изъ всѣхъ людей, жившихъ жизнью сознанія, одинъ князь Андрей умеръ спокойнымъ и просвѣтленнымъ. Но все же смерть его, если она и не была внутренне мучительна для него, то была тягостна для тѣхъ, кто его лю-

билъ. Онъ отошелъ отъ нихъ, онъ сталъ чужимъ и чуждымъ, для себя онъ понялъ нѣчто, разрѣшилъ какую-то мучительную загадку, но въ этомъ пониманіи не было мѣста другимъ людямъ. Онъ обособился отъ нихъ, ушелъ, равнодушно порвалъ всѣ любовныя связи и не только съ близкими, но и со всѣмъ человѣчествомъ. Спокойный и примиренный съ собой, онъ ушелъ изъ этого міра, оборвавъ всѣ нити, связывавшія его съ нимъ. Отъ того и память о немъ, хотя и жила долго, но какъ-то въ сторонѣ отъ жизни знавшихъ его людей, не вплетаясь въ нее.

Теперь и создатель всѣхъ этихъ безсмертныхъ образовъ ушелъ отъ насъ. Но какъ онъ ушелъ? Своею смертью онъ какъ будто еще тѣснѣе, еще неразрывнѣе связалъ себя съ нами, со всѣми и со всякимъ, кто любилъ его и кто пытается и будетъ пытаться понять эту великую душу.

Конечно, онъ не былъ такъ близокъ къ природѣ, какъ любимые имъ типы непосредственныхъ людей. Вѣками человѣчество не знало болѣе напряженной и болѣе высокой жизни духа, человѣческаго сознанія. И онъ не могъ встрѣтить смерть съ нѣсколько тупымъ и покорнымъ равнодушіемъ дяди Ѳедора или „работника". И онъ не встрѣтилъ ее и съ малодушнымъ себялюбивымъ страхомъ Ивана Ильича или Николая Левина. Даже спокойной отчужденности князя Андрея не было въ немъ. Тѣ драгоцѣнныя, хотя отрывочныя свѣдѣнія, какія дошли до насъ объ этихъ незабываемыхъ минутахъ, говорятъ намъ о другомъ.

Физическія страданія, какъ ни были онѣ мучительны, побѣждались и скрывались, поскольку это было мыслимо, великимъ человѣкомъ. „Вовсе не мучительная", — поправилъ онъ доктора, сообщавшаго о его мучительной икотѣ. На вопросъ, какъ онъ себя чувствуетъ, онъ отвѣчалъ: „Хорошо, очень хорошо". И это за день, за два до смерти, когда сознаніе ея приближенія ни на минуту не покидало его. Не это все время властно приковывало къ себѣ его мысли и его слабѣющія силы. Прерывающимся голосомъ,

въ минуты проясняющагося сознанія, онъ торопливо диктовалъ дочери-секретарю тѣ мысли, которыя, онъ былъ увѣренъ, помогутъ людямъ жить. Заботы о немъ никогда не казались ему недостаточными, нѣтъ, напротивъ, ему думалось, что ему отдаютъ слишкомъ много вниманія и попеченій. „Въ мірѣ много людей, — говорилъ онъ наканунѣ смерти,—и многіе изъ нихъ страдаютъ, а вы хлопочете всѣ около одного Льва". „Я самъ ухожу изъ жизни, — сказалъ онъ за нѣсколько часовъ до смерти,—но останутся люди, которые сознаютъ истинный смыслъ жизни и имъ суждено будетъ осуществить то, къ чему я стремился въ теченіе всей моей жизни и что мнѣ не удалось".

Нѣтъ, кто такъ умеръ, для того удалось то, что можетъ удасться человѣку,—и жизнью и смертью своей учить людей высшей правдѣ.

И своей смертью Толстой показалъ, что не только примитивные, не ушедшіе отъ природы люди могутъ умирать достойно. Достойно и прекрасно умираетъ человѣкъ, который живетъ не только общей жизнью съ природой, но и тотъ, который, пройдя черезъ ступень сознанія, стоящаго на службѣ личныхъ и узкихъ интересовъ, перешелъ къ жизни духа, связывающей въ одно цѣлое все настоящее, прошлое и будущее человѣчество.

Въ его смерти сказалась не безличная покорность природѣ, а спокойствіе духа, который знаетъ, что онъ не умретъ.

Т. Богдановичъ.

ТОЛСТОЙ.

Умеръ Толстой. Трудно выразить словами—бѣдными, жалкими и слѣпыми—огромность этой потери! Въ ст. кн. А. И. Сумбатова, въ юбилейномъ толстовскомъ № „Театра

и Искусства", я запомнилъ очень вѣрную, характерную фразу: „Одно сознаніе, что живъ Толстой, наполняетъ наши души вѣрой и счастьемъ". И точно, это было бодрящее, успокаивающее и успокоительное сознаніе. Люди—слабыя существа. Сверхъ-человѣки существуютъ въ воображеніи. Намъ нужны герои, какъ воздухъ. Намъ нуженъ мистическій трепетъ религіознаго поклоненія. Мы подпираемся, аки шестами, не только молитвами, но и авторитетами. Все, что есть въ нашей натурѣ инертнаго, робкаго, застѣнчиваго, стыдящагося и пугающагося, съ тоскою и надеждой ищетъ авторитета. Холодно безъ героя, безъ миѳа, безъ легенды. Толстой олицетворялъ въ себѣ этотъ миѳъ, эту легенду о героѣ, и подлинно — безъ фразъ — въ минуты тяжелаго раздумья и унынія, предъ тусклымъ и печальнымъ взоромъ вставалъ обликъ яснополянскаго патріарха съ лучистыми, глубокими глазами, и сладкая, теплая волна пробѣгала по сердцу. И въ той любви, которая окружала Толстого, было что-то сыновнее, и когда случалось иному, невзначай или по безстыдству, обнажать уголокъ запретнаго, то всѣ живо и ясно чувствовали, что то былъ поступокъ Хама, не пощадившаго наготы родителя.

Со смертью Толстого, въ душѣ образуется какое-то ощущеніе сиротства. Когда теряешь родителей, то испытываешь, даже въ зрѣломъ возрастѣ, именно такое чувство. И посѣдѣвшіе люди тогда плачутъ дѣтскими слезами. Въ отцовствѣ—символъ безконечности, органичности, строя и порядка. Спускается лѣстница жизни, и каждая ступень есть поколѣніе, и кажется, что когда подрублена одна ступень, то нарушается гармонія и послѣдовательность жизни. Первое ощущеніе сиротства то, что повисъ въ воздухѣ, будто на трапеціи, и что одна изъ двухъ опоръ—прошлаго, за которое держишься. и будущаго, на которое вступаешь—подломилась. Толстой былъ для огромнаго большинства культурныхъ людей такою ступенью безконечной лѣстницы

и его міросозерцаніе, вся его дѣятельность, неугасимый пламень его духа представлялись какимъ-то мостомъ, переброшеннымъ въ будущее. И не соглашаясь съ нимъ, и оспаривая его, всѣ чувствовали трепетъ будущихъ возможностей.

Я не говорю здѣсь о художественномъ геніи Толстого, который для всѣхъ ясенъ и очевиденъ, а имѣю въ виду лишь его исканія смысла жизни, выработку нравственныхъ цѣнностей человѣчества и ту упрощенную философію, которой онъ пытался возсоединить надъ бездною края нравственной истины, добра, красоты, искусства и соціальной справедливости. Все его міровоззрѣніе было идеалистично и анти-эволюціонно. Толстой вѣрилъ въ возможность мгновенныхъ преображеній. Онъ отвергалъ время или не хотѣлъ останавливаться на немъ. Сила добра можетъ вспыхнуть, загорѣться и измѣнить лицо жизни. Онъ былъ такъ проникнутъ этой вѣрой и этимъ идеализмомъ, такъ глубоко всей душой своей сроднился съ чудомъ преображенія и воскресенія, заложеннымъ, по его мнѣнію, въ каждомъ человѣкѣ, что даже въ вопросахъ искусства, критикуя его и разбирая, оставался тѣмъ же внѣвременнымъ мечтателемъ и судьею. Его статья о Шекспирѣ нисколько не парадоксальна съ точки зрѣнія его міроотношенія. Она заключаетъ только одинъ парадоксъ—внѣвременность. Историческая критика была чуждая Толстому. Съ исторіею Толстому нечего было дѣлать. Онъ вѣрилъ въ воскресеніе жизни въ каждое данное мгновеніе. И точно, если вѣрить въ чудо преображенія, исторія со всею ея непреодолимою, гигантскою тяжестью, отметается, какъ легкая пушинка. Толстой вознесся на ту высоту, съ которой не различаешь уже мелкой дифференціаціи событій и людей. Равенство, не существующее вблизи, совершенно ясно съ высоты какого-нибудь дирижабля; всѣ люди маленькіе, черненькіе, прыгающіе, какъ блошки.

Внѣвременный Толстой былъ живымъ воплощеніемъ

чуда, носителемъ неограниченныхъ возможностей преображенія, разсвѣтомъ будущаго дня. Онъ представлялъ для нашего поколѣнія миѳъ воскресенія, прекрасную, лучезарную иллюзію нравственной свободы. Толстой былъ въ разладѣ съ наукою, подобно тому, какъ мы, въ ежедневномъ обиходѣ нашемъ, въ обычныхъ думахъ и чувствахъ нашихъ, находимся съ „закономъ достаточнаго основанія" (по Шопенгауэру) и съ непререкаемымъ началомъ причинности образности. Наша воля не свободна—это мы знаемъ изъ опыта, исторіи, изъ наблюденія надъ явленіями физическаго міра. Но мы считаемъ себя свободными и искренно этою иллюзіею увлекаемся. Такъ и Толстой, въ крупномъ, огромномъ масштабѣ, отметалъ детерминизмъ явленій во имя свободы духа и чуда преображенія.

Толстой обратился къ театру въ ту пору своей жизни, когда единство силъ онъ сталъ разумѣть не въ формахъ красоты, объединяющей наивною и безсознательною связью гармонію жизни и природы, но въ формѣ логическаго міросозерцанія. Мораль, искусство, наука и религія—все слилось и объединилось въ исканіи „праведной земли". Просматривая какъ-то старыя газетныя статьи, я наткнулся на письмо Толстого къ одному актеру, напечатанное въ „Дневникѣ артиста". Оно частично было воспроизведено покойнымъ Флеровымъ-Васильевымъ въ рецензіи о „Плодахъ просвѣщенія". Въ письмѣ этомъ Толстой, въ то время захваченный мыслью о значеніи театра, какъ каѳедры, съ которой можно поучать народъ, пишетъ актеру: „...вы только скажите, я сейчасъ же напишу нужныя пьесы". Цитирую на память, но очень хорошо помню это слово „сейчасъ". Въ этомъ „сейчасъ" весь Толстой, какимъ онъ навѣки запечатлѣется въ памяти человѣчества. „Сейчасъ", все сейчасъ... Все его ученіе, и его философія, которая такъ мало удѣляетъ вниманія эволюціи жизни и такъ много возлагаетъ надеждъ на силу возрожденія, обновленія, на „воскресеніе",—въ сущности, есть замѣна стараго, эллинскаго „все

течетъ" пылкимъ, убѣжденнымъ христіанскимъ „сейчасъ". Сейчасъ — и чудо совершится. Сейчасъ — и наступитъ „четырнадцать часовъ" въ полдень. Сейчасъ—и волкъ станетъ лизать ягненка. Сейчасъ—и водворится миръ и благоволеніе во человѣцѣхъ. Въ этомъ „сейчасъ" великаго старца была умиляющая и умилительная юношеская бодрость, было какое-то необыкновенное горѣніе духа. И въ глубинѣ души у насъ, маловѣровъ, мерцало сознаніе, что тамъ, далеко, среди тульскихъ равнинъ, живетъ геніальный старецъ,—не намъ чета—который вѣритъ. А можетъ быть!—думалось иногда, въ тяжелыя минуты.

Я перечиталъ на-дняхъ книгу Толстого объ искусствѣ. Но какъ бываетъ иногда, что слушая интереснаго и любимаго человѣка, не слушаешь словъ, а разглядываешь лицо его, такъ и я, слѣдя за разсужденіями Толстого, смотрѣлъ черезъ нихъ на ликъ этого удивительнаго человѣка. Признать хотя въ малой степени теоріи Толстого объ искусствѣ для насъ равносильно смерти, но дѣло-то, выходитъ, совсѣмъ не въ теоріяхъ, а въ томъ упрямомъ, сектантскомъ прямолинейномъ мышленіи, которое заставляло его, художника, поэта, отлучать отъ искусства величайшихъ сыновъ его и себя въ первую голову.

Вся философія искусства, какъ она представляется Толстому, заключается въ тождествѣ единой и постоянной нравственной истины и красоты. Какъ говоритъ Паскаль въ своихъ „Pensées", всѣ міры, весь космосъ не стоятъ самаго несовершеннаго ума, ибо онъ можетъ ихъ обнять, а они ничего постичь не въ состояніи. И точно также самый высокій умъ не стоитъ самаго скромнаго нравственнаго движенія, ибо изъ всей совокупности ума, природы и познанія нельзя извлечь никакого истиннаго благородства, тогда какъ въ самой малой совѣсти оно имѣется.

Конечно, такой выводъ для Толстого прежде всего самоотрицаніе. Онъ долженъ прятать въ себѣ художника. И онъ прячетъ его въ намѣренно суровой, сухой, матема-

тически стилизованной рѣчи. И забавно, и трогательно вмѣстѣ съ тѣмъ, когда Толстой, какъ будто не чувствуя и не подозрѣвая, нѣтъ-нѣтъ, да и обнаружитъ въ себѣ поэта, художника, тонкаго наблюдателя и юмориста. Припомните, напримѣръ, его разсказъ объ оперѣ – „Я невѣсту сопро-вождаю“ — истинный преобразъ будущей „Вампуки“. Эти улыбки генія, разглаживающія на мгновеніе морщины на его челѣ, очаровательны.

И въ пьесахъ Толстого, напримѣръ, во „Власти тьмы“, суровая дидактика и разсудительная доказательность, къ счастью, поминутно прерываются свѣтозарною улыбкою художника. Сцена Митрича и Анютки или весь третій актъ — это не „сейчасъ“, а вѣчность въ мгновеніи. Прекрасно выразился въ вышеуказанной статьѣ кн. А. И. Сумбатовъ: „Если взять его (Толстого) статью „Что такое искусство?“ и служить по ней искусству, то это равнялось бы тому, какъ если бы взяли обрѣзки его ногтей и сдѣлали изъ нихъ себѣ фетиша. Но если въ искусствѣ руководствоваться всѣмъ Толстымъ, во всемъ его цѣломъ, то въ немъ найдешь великій источникъ не только моральнаго, но и чисто художественнаго обновленія“.

Толстой ушелъ, и съ нимъ изъ нашей дѣйствительности и современности исчезъ какой-то огромный, практически, быть можетъ, совершенно безрезультатный, но чувствуемый и осязуемый идеалистическій противовѣсъ. Что такое искусство? — писалъ Толстой. Но надо бы назвать всю его дѣятельность и жизнь — „Что такое совѣсть“? Что есть истина? что есть совѣсть? что есть благородство, о которомъ говоритъ Паскаль? Мы не знаемъ. Мы можемъ à la Спенсеръ эволюціонно установить „начала поведенія“, но не въ силахъ удовлетворительно объяснить, что есть совѣсть. Въ Толстомъ, какъ въ послѣднемъ земномъ прибѣжищѣ, для нашихъ современниковъ заключалось воплощеніе совѣсти, раціонально непостижимой, практически нерѣдко нецѣлесообразной, фактически сплошь и рядомъ

неосуществимой. Но чувствовалось, что если не заглядывать по ту сторону жизни, въ область первоначальнаго, простого, патріархальнаго и естественнаго, то прямая линія нашего прогресса заведетъ насъ въ камень бездушія и жестокости. Толстой былъ для культурныхъ людей какъ бы всеобщимъ „молитвенникомъ"—за грѣхи наши, за непрерывность соціальнаго прогресса, за неизбѣжность путей жизни. Невозможно быть иными, чѣмъ мы есть, потому что мы не отъ насъ, потому что есть ритмъ жизни, по отношенію къ которому мы не болѣе, какъ космическая пыль. Но сознавать себя, безъ проблеска идеалистическаго „противосознанія", только космическою пылью—значитъ, стать бездушными и холодными рабами факта. И это идеалистическое „противосознаніе" (да простится мнѣ слово сіе!) въ огромной части своей переносилось на Толстого, связывалось съ его личностью и его твореніями. Толстой былъ нуженъ намъ, какъ вѣра для дѣла, какъ поэтическое вдохновеніе для писанія стиховъ, какъ воображеніе для всяческаго физическаго акта. Былъ правъ Толстой въ своихъ построеніяхъ или неправъ—всякій можетъ разсудить по своему. Но для себя онъ былъ правъ. Онъ доказалъ свою истину – о высшемъ синтезѣ религіознаго начала —ни своей личности. Его дивное искусство подчинилось религіозному стремленію, и его религіозное стремленіе дало міру больше, чѣмъ его искусство. Сложность и тонкость его плѣнительныхъ произведеній доступны были немногимъ. Зато его простое христіанство—доступно всѣмъ, и имъ омыты грѣхи многихъ поколѣній. Мистическая тайна готова набросить покровъ свой на ликъ Толстого. Такимъ онъ перейдетъ въ исторію.

Homo novus.

ТОЛСТОЙ ЖИВОЙ—ТОЛСТОЙ БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Не думать хочется у открытой могилы Льва Толстого, не подводить итоги, не опредѣлять его историческое значеніе, а тупо и безсмысленно кричать отъ боли, чтобы тѣмъ заглушить ее.

Неизбѣжны и итоги, но главное—какъ мы будемъ жить безъ него? Мы знали, что ему за восемьдесятъ лѣтъ, что онъ не умѣетъ и не хочетъ беречь себя, что по закону естества мы переживемъ его. Но мы не вѣрили въ то, что онъ умретъ: онъ слишкомъ былъ намъ нуженъ,—не авторъ великихъ художественныхъ произведеній, не безсмертный Левъ Толстой, а живой, проживающій въ Ясной Полянѣ, тотъ, который не сохранился въ его книгахъ, который умеръ для насъ навсегда. Мысль не можетъ не только примириться, но и освоиться съ этимъ. Завтра это пройдетъ, но сегодня—только больно.

Никогда до сихъ поръ смерть великаго русскаго писателя не была такой невозмѣстимой, такой чудовищной потерей для его русскихъ современниковъ, какъ смерть Льва Толстого. Были безсмысленныя гибели, были преждевременныя утраты; умирали, не сказавъ и малой доли того, что могли сказать человѣчеству, великіе создатели нетлѣнныхъ цѣнностей, не осуществивъ своихъ возможностей, унося съ собой въ тьму невѣдомаго рѣшенія вѣковѣчныхъ загадокъ. Но это были писатели; творчествомъ слова было ихъ творчество для ихъ современниковъ; ихъ личность сливалась для ихъ вѣка съ ихъ книгой и въ книгѣ воплощалась. А книга безсмертна, книга переживаетъ своего создателя и живетъ своей жизнью послѣ него. Безсмертное было въ нихъ безконечно сильнѣе и важнѣе смертнаго: роль ихъ въ современности блѣднѣла передъ ролью ихъ въ исторіи, и потому ихъ утрата, — безпощадная, несвоевременная, тяжелая, — не была для ихъ современниковъ такимъ потрясающимъ ударомъ, какъ для насъ смерть Льва

Толстого. Если въ лицѣ Пушкина закатилось солнце русской поэзіи, то въ лицѣ Льва Толстого закатилось солнце русской жизни: не на-вѣки, конечно; солнце всегда закатывается лишь до утра, но въ минуту утраты какъ слабо это утѣшеніе для того, кому не суждено дожить до новаго историческаго утра. Пройдутъ годы, новое творчество новыхъ поколѣній наполнитъ невѣдомыми намъ красотами и непредвосхитимой истиной книги Толстого, созидающее поклоненіе откроетъ въ нихъ глубины, которыхъ мы не подозрѣвали; въ дали вѣковъ онъ станетъ выше, подвигъ его — еще величавѣе, мысль его — еще богаче. Но никогда и никому онъ не станетъ ближе, чѣмъ намъ, его бѣднымъ современникамъ; никому не будетъ нужнѣе, чѣмъ намъ. Для насъ онъ не былъ уже писателемъ,—онъ могъ ничего не писать; безпредѣльно важно было то, что онъ жилъ, что онъ былъ, что въ минуты самыхъ тяжелыхъ ударовъ,—историческихъ, общественныхъ, а иногда даже личныхъ, — каждый изъ насъ могъ сказать себѣ: а все-таки есть Левъ Толстой. И каждый, знающій, кто ненавидѣлъ Толстого, кому онъ былъ помѣхой, могъ радостно сказать себѣ: онъ—съ нами, стало-быть, мы правы. Мы наслаждались его старыми книгами, — но это было второе; рядомъ съ ними были вѣдь у насъ другія дорогія книги. А рядомъ съ Львомъ Толстымъ у насъ никого не было. Онъ не сталъ для насъ учителемъ жизни; наши историческіе пути далеко не во всемъ совпадали. Но онъ былъ свѣточемъ и на нашемъ пути. Какъ любовь къ старой матери озаряетъ намъ жизненное странствованіе, хотя мы далеко ушли отъ ея поученій, такъ живой образъ Толстого былъ намъ больше поученіемъ, чѣмъ его учительное слово. Онъ былъ нашей опорой, нашей чудотворной иконой, знаменіемъ нашей исторической правоты и нашей неизбѣжной побѣды. Онъ былъ для насъ оправданіемъ жизни и утѣшеніемъ въ печали.

И вотъ его нѣтъ съ нами: какъ странно! Какъ неожи-

данно то, чего мы должны были ждать, и какъ однако мы подготовлены къ тому, что должно было быть неожиданнымъ. Непонятное ощущеніе встрѣчало послѣднія произведенія Льва Толстого; уже не хотѣлось думать, соглашаешься съ ними или не соглашаешься. Ихъ принимали, отвергая ихъ, ибо принимали его цѣликомъ, даже не соглашаясь съ нимъ: слишкомъ для этого онъ былъ свой, родной, необходимый. Согласіе и несогласіе казались такими мелкими и ненужными передъ завершеніемъ его жизненнаго подвига. Какъ нѣкое видѣніе, онъ уже стоялъ одной ногой по ту сторону, и иногда казалось, что это онъ не уходитъ туда, а, наоборотъ, на мгновеніе возвращается оттуда, заглянетъ къ намъ и опять скрывается въ покоѣ вѣчной и обрѣтенной истины. Какъ мы ошибались въ этомъ! То, что намъ казалось покоемъ, было по-прежнему вѣчнымъ и неустаннымъ стремленіемъ. Мы могли успокоиться, мы могли позволить Льву Толстому ничтожныя противорѣчія его жизни, разрѣшить его маленькій и необходимый яснополянскій комфортъ: онъ не могъ съ этимъ примириться. Съ геніальной простотой онъ увѣнчалъ свой жизненный подвигъ, въ ореолѣ не только творца, но и подвижника ушелъ онъ изъ нашей жизни. Болѣе чѣмъ когда-либо мы одиноки, несчастны и безпомощны въ сознаніи, что ничто уже не заполнитъ въ нашей личной и общественной жизни той пустоты, которую оставила кончина Льва Толстого.

Мы не можемъ даже обѣщать, что станемъ лучше во имя его памяти. И снаружи ничто не измѣнится. Мы будемъ жить, какъ жили при Львѣ Толстомъ, неувѣренные и половинчатые, жалѣя себя и мирясь съ тѣмъ, съ чѣмъ онъ не велѣлъ мириться. Но все-таки переломъ будетъ. Уже то, что намъ не на кого теперь уповать, что надо опереться на себя, дѣлаетъ смерть этого хилаго восьмидесятилѣтняго старика гранью на предѣлѣ двухъ историческихъ пластовъ. И это даетъ надежду на то, что долго еще живымъ пребудетъ въ сердцахъ не только художественное творчество

Льва Толстого, но и лучшее твореніе его великой жизни, — онъ самъ.

Правдивая въ нравственной истинѣ, создастся и надъ уровнемъ человѣческаго вознесетъ его толстовская легенда; благоговѣйное почитаніе окружитъ его могилу, и она будетъ источникомъ чудотворныхъ моральныхъ исцѣленій. И безсмертнымъ въ памяти людской будетъ не только тотъ Толстой, который вѣчно живетъ въ художественныхъ созданіяхъ его духа, но и тотъ, который жилъ съ нами. И на насъ, его слабыхъ современниковъ, упадетъ лучъ этого безсмертія, и насъ, причастныхъ его созиданію, оправдаетъ для исторіи. Его нѣтъ у насъ, но все-таки мы жили съ нимъ, онъ жилъ для насъ; для насъ сгорѣло это сердце. Это—не утѣшеніе: это—напоминаніе о нашемъ достоинствѣ. И не соображенія моральныхъ обязательствъ, въ пониманіи которыхъ мы расходимся съ Львомъ Толстымъ, а именно сознаніе своего человѣческаго достоинства рождаетъ въ насъ не столько мысль, сколько неясный порывъ: стать достойными его самоотверженія. Порывъ и надежду; пора надѣяться и намъ, съ позорнымъ сознаніемъ своего безсилія окрестившимъ свое время безвременьемъ,—надѣяться и дѣлать. Пусть же не только алтаремъ всенароднаго преклоненія будетъ могила Льва Толстого, но и межой двухъ историческихъ эпохъ. Въ этомъ — залогъ безсмертія не только его книгъ, но и его личности.

А. Горнфельдъ.

СОФЬЯ АНДРЕЕВНА.

Цѣль этой статьи?

Съ благоговѣніемъ поцѣловать ту руку, которая, говорятъ, десять разъ переписала „Войну и миръ".

Въ Ясной Полянѣ разыгрывается величайшая трагедія,

какая только можетъ разыгрываться въ человѣческой семьѣ.

Трагедія, которая разыгрывается въ человѣчествѣ не каждое тысячелѣтіе.

Будда, просвѣтленный, ушелъ отъ горячо любимой и горячо любящей жены своей Ясодары.

Левъ Николаевичъ Толстой ушелъ изъ Ясной Поляны, оставивъ двоихъ.

Старый левъ ушелъ умирать въ одиночествѣ.

Орелъ улетѣлъ отъ насъ такъ высоко, что гдѣ намъ слѣдить за полетомъ его?

Это уже не великій разумъ Толстого, это—великій духъ, который уноситъ его въ непостижимыя сверхчеловѣческія высоты въ стремленіи къ совершенству.

Съ этихъ высотъ, на которыя взвиваются Будды, Толстые, все человѣческое,—все, что мы привыкли считать человѣческимъ, человѣчнымъ!—кажется, вѣроятно, маленькимъ, незамѣтнымъ.

Это—сверхлюди.

Гдѣ намъ, простымъ людямъ, подниматься за ихъ полетомъ? Судить ихъ, судить о нихъ?

Кто напишетъ „психологію Толстого“?

Эту трагедію Софьи Андреевны вполнѣ поняла бы только Ясодара, супруга „просвѣтленнаго Будды“.

Потому что это —величайшая трагедія, какая только суждена женщинѣ,—быть супругомъ геніальнаго человѣка.

Мірового генія.

Быть земной подругой свѣточа человѣчества.

Я видѣлъ уголокъ этой, больше чѣмъ царственной трагедіи.

Я имѣлъ счастье однажды быть у Толстыхъ.

Предо мною былъ Толстой, самъ Толстой.

Вотъ въ этой головѣ родились всѣ тѣ мысли .. вотъ эти руки писали... вотъ этотъ, этотъ самый человѣкъ...

Это было такимъ свѣтлымъ и страшнымъ сномъ,—

страшнымъ, потому что видѣть генія страшно, какъ свѣтло и страшно было древнимъ видѣть ангела,—что я никогда не думалъ, что изображу это на бумагѣ.

Но въ совѣсти своей полагаю, что я обязанъ открыть святая-святыхъ души моей, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ.

За чаемъ, пока Левъ Николаевичъ уѣхалъ кататься верхомъ, Софья Андреевна, мелькомъ, мимоходомъ говоря о тѣхъ нападкахъ, которыя раздаются противъ нея, сказала одну удивительную фразу.

Умную и точную.

Она сказала:

— Забываю, что я, вѣдь, не Толстая, — я только жена Толстого.

Софья Андреевна спросила меня:

— Вы, дѣйствительно, не ѣздите верхомъ?

На предложеніе Льва Николаевича поѣхать съ нимъ я сказалъ, что почти не умѣю ѣздить.

Я сознался Софьѣ Андреевнѣ:

— Нѣтъ, я сказалъ неправду. Я ѣзжу. Но мнѣ было бы страшно ѣхать около Льва Николаевича. Богъ знаетъ, что можетъ случиться. Ну, вдругъ бы моя лошадь заартачилась, стала брыкаться. Я не сумѣлъ бы сдержать незнакомую лошадь и что-нибудь сдѣлалъ... Толстому!

Софья Андреевна сказала:

— Я очень благодарна вамъ, что вы не поѣхали. Я всегда боюсь, когда онъ ѣздитъ съ новыми людьми. Онъ очень любитъ показать, какъ онъ ѣздитъ. Ѣхалъ бы быстро, изъѣздилъ бы много. А это ему вредно. Я за него боюсь.

Этимъ ежесекуднымъ, непрерываемымъ вниманіемъ, любовнымъ,—потому что оно было полно страха; тонкимъ,—потому, что оно доходило до мельчайшихъ мелочей; деликатнымъ,—потому что оно оставалось незамѣтнымъ,—былъ окруженъ Толстой.

Толстые завтракаютъ, — не помню, — кажется, въ половинѣ перваго.

Левъ Николаевичъ—старикъ. Левъ Николаевичъ—вегетеріанецъ.

Передъ завтракомъ Толстой пишетъ.

Какъ войти къ работающему Толстому?

Какъ сказать Толстому:

— Оставь то, что пишетъ Толстой. Грибы могутъ простыть!

Но, вѣдь, нельзя же старика, который ѣстъ малопитательную вегетаріанскую пищу, кормить остывшимъ, подогрѣтымъ, потерявшимъ и тотъ маленькій вкусъ, какой есть въ этомъ кушаньѣ?

И вотъ Толстой, когда бы ни вышелъ послѣ работы,— ему, не заставляя старика ни секунды ждать, подаютъ свѣжій, только-что сдѣланный завтракъ.

Мнѣ захотѣлось узнать маленькій секретъ этой внимательности, и кто-то изъ домашнихъ объяснилъ:

— Очень просто: Софья Андреевна наблюдаетъ, чтобы съ половины перваго все время для Льва Николаевича готовился завтракъ. Одинъ начинаетъ перестаиваться, — готовятъ другой, третій. Такъ въ каждую данную минуту всегда есть свѣжій завтракъ.

Если бы Наталья Николаевна Пушкина...

Но... почтительнымъ молчаніемъ покроемъ тѣхъ, кого любили наши боги.

Левъ Николаевичъ послѣ завтрака обращается къ гостямъ,—а кого-кого не видала Софья Андреевна за своимъ столомъ, и о комъ не должна была заботиться какъ хозяйка,—о мистерѣ Браянѣ, о мусульманскомъ сектантѣ какого-то „священнаго Ваисовскаго полка“.

Послѣ завтрака Левъ Николаевичъ обращается къ своимъ гостямъ:

— Вы ѣздите верхомъ?

— А вы?

— Вы?

Отлично. Надо велѣть осѣдлать восемь лошадей. А откуда эти 8 лошадей? Эти всегда готовыя восемь лошадей?

Словно въ сказкѣ! Сказалъ,—и выросли восемь осѣдланныхъ коней!

Благоговѣю передъ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ,—но и этотъ контрастъ составляетъ въ немъ чарующую прелесть, какъ и все; за этимъ чувствуется большая борьба...

Но прекрасную характеристику Толстого далъ и его старый слуга, сказавшій мнѣ внизу:

— Старый графъ наверху.

Толстой—старый графъ.

Вотъ и отлично. Осѣдлать восемь лошадей.

Не выставить же его въ неловкомъ положеніи передъ гостями. Не лишить же его удовольствія!

И Софья Андреевна, эта прекраснѣйшая хозяйка, всегда находитъ въ своемъ хозяйствѣ, не такомъ уже большомъ, всегда вычищенныхъ, накормленныхъ, отдохнувшихъ, каждую минуту готовыхъ подъ сѣдло лошадей.

Мелочь!

Скажетъ мужчина.

Но не женщина, хозяйка жена, мать семейства скажетъ это.

Не къ вамъ, мужчины,—вы, вѣроятно, всю свою жизнь совершаете только грандіозные подвиги, — обращаю я эти свои слова.

Вы, женщины, вы, матери, вы, жены, знающія, что значитъ минуту за минутой по капелькѣ отдавать всю свою жизнь близкому человѣку,—вы поймете,—поймете и сумѣете оцѣнить не этотъ маленькій фактъ, а любовь, изъ которой только и можетъ родиться такая заботливость.

Потому и безконечно великая, но безконечно мелочная.

Тѣмъ и великъ Господь, что живетъ Онъ въ каждой

травкѣ и въ каждомъ маленькомъ жучкѣ, и въ каждой былинкѣ.

Тѣмъ и велика великая любовь, что все наполняетъ собою она, и каждую мелочь, отъ нея освѣщенную и согрѣтую любовь, и каждая мелочь — любовь.

Можно отдать всю жизнь сразу, можно отдать ее по капелькѣ.

Что труднѣе, что легче,—пусть судятъ тѣ, кому случалось отдавать всю свою жизнь.

Милліонъ, размѣнянный на пятаки, все же остается милліономъ.

Есть подвигъ яркій, мгновенный, героическій, ослѣпляющій, громкій.

И есть подвигъ, размѣненный на мелочи, незамѣтный, невидный.

Быть-можетъ, потому и болѣе трудный...

И какъ прекрасно сплелись эти двѣ души.

Этотъ стремящійся въ небо Левъ Николаевичъ и эта земная Софья Андреевна.

Эта:

— Я только жена Толстого.

Какимъ чудеснымъ, благоухающимъ началомъ прекраснаго и дивнаго романа пахнуло на меня отъ сказанныхъ Софьей Андреевной за сбѣдомъ словъ:

— Я помню, —я была еще дѣвочкой,—какъ мы провожали Льва Николаевича въ крымскую кампанію.

И прочтите эти прекрасныя строки.

Софья Андреевна разсказывала за чаемъ:

— 17-го сентября, въ день моего ангела, — это было въ 1904 году, — Левъ Николаевичъ предложилъ мнѣ поѣхать кататься верхомъ. Я ему говорю: „Да ужъ я 15 лѣтъ не садилась на лошадь“. Онъ мнѣ сказалъ: „Ты ѣдешь со мною“! И мы поѣхали. Я думала, что знаю всѣ мѣста кругомъ. А онъ показалъ мнѣ такіе уголки, что я и не подозрѣвала. И если бы видѣли, какой онъ кавалеръ!

Она говорила это съ гордостью, съ любовью.

Какъ она была прекрасна въ эту минуту!

Господа! Повѣримъ Толстому. Будемъ любить человѣка, котораго онъ любилъ всю свою жизнь!

Вѣдь, она переписала все, что написалъ Толстой, и помногу разъ.

А вы знаете, какъ работаетъ Толстой?

Какъ не приснится никому.

Онъ пишетъ, потомъ передѣлываетъ такъ, что не остается слова на словѣ. Потомъ передѣлываетъ опять наново, потомъ снова съ начала до конца, куетъ, гранитъ, чеканитъ свои слова.

И преднамѣренная словно небрежность рѣчи... А, великій мастеръ! Этой тончайшей изъ тонкихъ вашихъ работъ! Вы нарочно дѣлали такъ, искуснѣйшій художникъ.

Софья Андреевна разсказывала „про чуткость Льва Николаевича".

— Я переписывала недавно его разсказъ. Тамъ было выраженіе, которое мнѣ показалось неподходящимъ: „король ходилъ". Мнѣ показалось, что это неудачно. Я пошла къ Льву Николаевичу и говорю: „Вотъ тутъ у тебя я слово не разобрала. Что это написано"? Онъ посмотрѣлъ: „Ходилъ".—„А, хорошо". Я ушла. А черезъ три дня онъ приходитъ ко мнѣ, улыбается и говоритъ: „А все-таки я оставилъ: „король ходилъ". Какая чуткость!

Она удивлялась чуткости только Льва Николаевича. Такъ, съ полунамека понимали другъ-друга Левъ Толстой и его „всегдашняя переписчица".

Какъ царь показываетъ гостямъ часть своихъ владѣній,— Толстой по-царски угостилъ своихъ гостей: позволилъ прочесть свой новый разсказъ, самъ съ чудесной скромностью, даже съ стыдливостью на лицѣ, во всей фигурѣ, походкѣ,— со стыдливостью сконфуженнаго автора уйдя на время чтенія въ другую комнату.

Было вечеромъ, Софья Андреевна должна была надѣть

пенснэ,—но она никому не поручила четко переписанной рукописи и двадцатый разъ, вѣроятно, прочла вслухъ разъ пять ею переписанный разсказъ,—съ такимъ увлеченіемъ, словно то, что она читала, было новостью и для нея.

Она никому не дала переписать ни одного его разсказа, никому не уступала своего мѣста: сидѣть въ сосѣдней комнатѣ на-стражѣ, пока Толстой пишетъ.

Его „всегдашняя переписчица", ревнивый стражъ его вдохновенія!

И когда за обѣдомъ, случайно, почему-то рѣчь зашла о смерти, Софья Андреевна просто, спокойно,—умно, просто философски спокойно,—сказала:

— Подумать! Умретъ Левъ Николаевичъ, и такая масса знаній умретъ вмѣстѣ съ нимъ!

Я чувствовалъ, что передо мною семья высшаго порядка.

Здѣсь, гдѣ глава семьи занятъ безсмертіемъ, мыслятъ—о смерти!—безъ трусливаго страха, съ печалью, но спокойно. И говорятъ они съ достоинствомъ.

Отъ души Софьи Андреевны повѣяло высокимъ строемъ чувства и мысли.

Я почувствовалъ себя не только въ присутствіи,—но въ домѣ философа.

Ставятъ въ упрекъ Софьѣ Андреевнѣ, что она не раздѣляла взглядовъ Льва Николаевича.

Хвала Творцу!

Домъ Толстыхъ превратился бы во что-то ужасное, если бы вокругъ Толстого были только колѣнопреклоненные ученики, которые говорили бы только:

— Да.

И самой большой потерей это было бы, вѣроятно, для самого Толстого.

Самъ страстный спорщикъ, онъ любилъ спорщиковъ вокругъ себя.

Врагъ идолопоклонства,—какъ онъ страдалъ бы, если бы слышалъ вокругъ одну только идолопоклонническую молитву:

— Да!

Въ домѣ Толстого создалась бы самая ужасная изъ деспотій, деспотія мысли. Это у него-то, врага всякаго деспотизма!

У кого хватитъ смѣлости возражать Толстому, — Толстому!—если кругомъ звучитъ одно благоговѣйное:

— Да!

И вотъ смущенный, подавленный величіемъ этого зрѣлища,—Толстой передъ вами, Толстой говоритъ съ вами,—вы слышали вдругъ среди колѣнопреклоненныхъ:

— Да!

Человѣческій, дерзновенный, свободный голосъ, смѣвшій высказывать свое собственное мнѣніе.

И этотъ полный своего человѣческаго достоинства голосъ давалъ смѣлость и вамъ.

Здѣсь говорятъ, здѣсь разрѣшается говорить не только рабье:

— Да!

И вы, стоя гдѣ-то около титана, когда говорили ему такъ же, такъ онъ говорилъ этому титану:

— Титанъ, мнѣ кажется, это не такъ! Титанъ, я думаю иначе!

Присутствіе Софьи Андреевны создавало въ домѣ Толстыхъ республику мысли.

Если иногда, какъ женщина, она немного увлекалась...

За обѣдомъ Толстой сказалъ по поводу чего-то:

— Я не знаю.

Софья Андреевна начала говорить:

— По-моему, это такъ-то, такъ-то, такъ-то.

Надо быть Толстымъ, чтобы такъ отвѣтить!

Съ какой нѣжностью онъ положилъ свою исхудалую руку на ея руку и, улыбаясь, сказалъ:

— Вотъ было бы хорошо, если бы жена все знала. Не знаешь чего,—обратился къ женѣ,—она все и объяснитъ.

Всѣ разсмѣялись отъ души, и первая Софья Андреевна,

которая со счастливымъ лицомъ смотрѣла на Льва Николаевича всякій разъ, когда онъ хорошо кушалъ или весело смѣялся.

И этотъ Левъ Николаевичъ ушелъ отъ этой Софьи Андреевны.

Умирать одинъ.

Для него, какъ сверчеловѣка, человѣкъ важенъ, цѣненъ, только какъ духъ, человѣкъ, это—только духъ.

Но для насъ, для простыхъ людей, безконечно дороги глаза, руки, ноги, волосы, губы близкаго, дорогого человѣка. Мы не умѣемъ, мы не можемъ отдѣлять духа отъ этого.

Мы не умѣемъ иначе любить!

И еще на-дняхъ, когда въ припадкѣ конвульсіи сводили Льва Николаевича, Софья Андреевна удерживала отъ конвульсій его ноги, обнимала, цѣловала ихъ.

И за что, за что же такое горе; такая потеря?

Не Левъ Николаевичъ виноватъ.

Великій духъ увлекаетъ его въ надзвѣздныя для насъ высоты.

Но здѣсь-то можно отъ боли,—не жалуясь, а просто отъ боли,—плакать и стонать? И эти земныя, понятныя намъ страданія могли вызвать въ насъ простое человѣческое пониманіе и то благоговѣніе, которое вызываетъ тяжкое человѣческое горе.

Ни въ одной странѣ,—культурной, конечно, странѣ,—не посыпалось бы на супругу всей жизни,—и такой долгой и такой счастливой жизни,—великаго человѣка такихъ обвиненій, такихъ даже рѣзкостей, такой даже брани, какъ сыпались у насъ на голову Софьи Андреевны:

Господа! Будемъ же судить просто! Будемъ судить по-человѣчески.

Вѣдь, Софья Андреевна выходила не за отрекшагося отъ міра человѣка.

И не о ней одной рѣчь.

Вѣдь, дѣти родились, дѣти не отрекшагося отъ міра человѣка.

Образованіе, воспитаніе давалось не дѣтямъ отрѣкшагося отъ міра человѣка.

Представимъ себѣ, что Левъ Николаевичъ, познавъ тщету всего земного, ушелъ бы въ монастырь.

Развѣ его семья не имѣла бы права сказать:

— Вѣдь, желаніе уйти въ монастырь явилось у нашего отца потомъ. Мы были воспитаны не въ иноческихъ началахъ и не для того, чтобы итти въ монастырь.

Кто сталъ бы обвинять дѣтей за то, что они тоже не идутъ въ монахи?

Кто сталъ бы обвинять его жену за то, что она заботится о своей семьѣ, въ которой случалось нѣчто заранѣе неожиданное.

Ну, да, отлично!

Толстой еще два десятка лѣтъ тому назадъ ушелъ бы „отъ этой праздной жизни".

Старикъ пошелъ бы жить въ грязной смрадной избѣ, дѣлать сверхсильную для старика работу,—шить сапоги и мазать печи.

Только надолго ли хватило бы стараго графа?

А несмотря на всю титаническую борьбу съ вѣтхимъ человѣкомъ, въ немъ есть, остается, незамѣтно для него, масса привычекъ, безъ которыхъ онъ не могъ бы жить.

Отъ которыхъ, на старости лѣтъ, кажется, что можно, но поздно, нельзя отвыкнуть!

Конечно, онъ сшилъ бы нѣсколько паръ сапогъ и смазалъ бы нѣсколько печей.

Но мы не имѣли бы ни „Власти тьмы", ни „Плодовъ просвѣщенія", ни „Крейцеровой сонаты", ни „Воскресенія", ни „Хаджи Мурата", который говорятъ, составитъ такую же красоту русской литературы, какъ „Война и міръ".

Сознаемся, вѣдь ея „упорству", протесту Софьи Андреевны мы обязаны появленіемъ всѣхъ этихъ произведеній.

Она была нашей предстательницей и ходатайницей предъ уносившимся въ небеса Львомъ Николаевичемъ, и сами мы молили бы его о томъ же, о чемъ молила Софья Андреевна.

Не уходи, художникъ! Не уходи, учитель, отъ насъ, отъ земли!

Да, былъ бы подвигъ.

Но не было бы Льва Николаевича Толстого.

Лѣтъ уже 15—20, какъ не было бы на свѣтѣ.

Не было бы „Власти тьмы", „Плодовъ просвѣщенія", „Воскресенія„, „Крейцеровой Сонаты", „Хаджи Мурата".

Перечисляю еще разъ, чтобы вы взвѣсили тяжесть потери.

Въ чемъ же мы-то,—мы!—можемъ, въ правѣ упрекать Софью Андреевну?

Въ томъ, что, благодаря ей, Толстой прожилъ больше на свѣтѣ?

Въ томъ, что мы имѣемъ нѣсколько лишнихъ великихъ произведеній!

„Она тянула его къ землѣ"!

Но развѣ можно достичь высшей нравственной высоты, чѣмъ достигъ Толстой?

Въ чемъ же, въ чемъ мы будемъ безъ фарисейства обвинять эту женщину?

Вѣдь, для Толстого,—для теперешняго Толстого,—нѣтъ жены среди всѣхъ женщинъ міра.

Толстой, вѣдь, не сыщешь на свѣтѣ! Нѣтъ ея!

А жена Толстого,—какъ она скромно говоритъ: „только жена Толстого", — съ любовью пронесла самый тяжелый крестъ, какой только могъ достаться женщинѣ: быть женой генія, земной подругой безсмертнаго духа.

И вотъ свершилась трагедія, какія не каждое тысячелѣтіе совершаются въ человѣчествѣ.

Потому что не каждое тысячелѣтіе рождаются Будды и Толстые.

Софья Андреевна одна. У нея нѣтъ ея ребенка, ея старца-ребенка, ея великаго ребенка, ея титана-ребенка, о которомъ надо думать, каждую минуту заботиться: тепло ли ему, сытъ ли онъ, здоровъ ли онъ.

Некому больше отдавать по капелькѣ всю свою жизнь.

Некому...

Когда оружіе проходитъ въ ея сердце, мы, читатели, благодарные, признательные, покроемъ ее, которая такъ любила Толстого, которую любилъ Толстой, покроемъ ее нашей любовью, нашей признательной любовью.

В. Дорошевичъ.

УМЕРЪ ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ...

Трудно выговаривать слова, медленно пишетъ перо эти буквы... Хочется написать о немъ, обо всемъ о немъ и все, а мысли куда-то разбѣжались и не созовешь ихъ. Хочется вспомнить его всего, великаго художника, философа, моралиста-проповѣдника, человѣка, въ томъ великомъ значеніи, въ какомъ примѣнимо это слово къ Толстому, — а мыслей не соберешь и только повторяешь: умеръ Толстой... Толстой кончился.

Ярко вспыхиваютъ во мнѣ чувства великой радости и гордости тѣмъ, что Толстой—русскій, которыя испытывалъ я, когда въ долгихъ скитаніяхъ, — отъ чужихъ людей, отъ французовъ и англичанъ, отъ итальянцевъ и египетскихъ феллаховъ, отъ случайныхъ встрѣчныхъ въ вагонахъ, на корабляхъ,—слышалъ я слова любви и восторга и поклоненія великому русскому человѣку. И на минуту мнѣ кажется, что я нашелъ самое главное, основное, хочется взять его какъ русскаго, съ гордостью и радостью говорить о великихъ русскихъ возможностяхъ, которыя вскрылись въ немъ и чрезъ него,—а словъ нѣтъ, и помнишь только

одно: что Толстой ушелъ и не вернется, что онъ пересталъ быть, не будетъ Толстого между нами... И потомъ сейчасъ же съ болью и горечью вспоминаешь о чугунныхъ русскихъ невозможностяхъ, мѣшающихъ проявленію свѣтлаго и радостнаго возможнаго для Россіи, мѣшающихъ вотъ сейчасъ проводить въ могилу великаго русскаго человѣка, какъ обязываетъ величіе его.

Не думается, не пишется... Только чувство напряженнсе необычное все наростаетъ въ душѣ, захватываетъ меня...

Я помню. Была ночь дождливая, встало раннее утро хмурое, плыли кругомъ сырыя, тяжелыя облака по землѣ между нами, кучкой людей, собравшихся смотрѣть Эльборусъ съ Бермамута. И было мгновеніе, - потомъ оказалось, продолжавшееся полчаса, но оставшееся въ памяти какъ мгновеніе... Разорвались облака и встала и какъ-будто выростала все выше и выше бѣло-розовая голова Эльборуса. Совсѣмъ близко-близко передъ нами, и легкій вѣтеръ необыкновенной свѣжести потянулъ къ намъ оттуда.

И случилось то, о чемъ я много разъ слышалъ и чему не вѣрилъ: люди плакали, люди стояли недвижимые, съ окаменѣлыми лицами, съ широко открытыми глазами. Особенное чувство холода проходило по тѣлу, и дрожалъ я, и волосы поднимались на головѣ. Тутъ было страшное и было величіе, какого не видалъ въ жизни; тутъ была красота неизреченная, тутъ былъ восторгъ неизъяснимый.

Черезъ полчаса туманъ окуталъ ослѣпительную вершину Эльборуса и тяжелыми сѣрыми волнами окуталъ людей. Молча и медленно уходили люди, и на сѣрыхъ лицахъ оставался отблескъ того великаго и прекраснаго, что они видѣли, того страшнаго и радостнаго, что перечувствовали.

Восемьдесятъ два года—только полчаса на протяженіи вѣковъ... и вотъ міръ увидѣлъ великое и ослѣпительно яркое, и случилось то, о чемъ слышалъ въ прозрачномъ туманѣ далекаго прошлаго, въ возможность чего не вѣрилось въ ясную прозрачность сегодняшняго дня,—весь міръ,

всѣ народы, не отрываясь, смотрятъ на бѣлоснѣжную вершину, открывшуюся передъ ними. И то же чувство страшнаго и величественнаго, красоты и восторга захватило людей...

. . . . . .

Туманъ окуталъ бѣлую голову, мгла покрыла вѣщіе глаза и встала тишина,—тишина могилы, непробудная, безотвѣтная.

Великая тѣнь поднимается надъ міромъ, ложится на вѣка грядущіе...

С. Ельпатьевскій.

ВЕЛИКІЕ ЗАВѢТЫ.

Сегодня произносится послѣднее „прости“ великому писателю русской земли, великому по силѣ своего необычайнаго творческаго дарованія, завоевавшаго вниманіе всего мыслящаго человѣчества, одному изъ христіаннѣйшихъ писателей нашего времени по міровоззрѣнію и соціальнѣйшему по историческому значенію, имя котораго въ міровой литературѣ неразрывно связывается съ именемъ Руссо.

Но для нашей литературы онъ, помимо этого, великъ и дорогъ, какъ единственный по своей яркости и характерности творческая индивидуальность, сконцентрировавшая въ себѣ всѣ тѣ особенности, которыя до сихъ поръ наиболѣе своеобразно воплощались въ типѣ русскаго писателя.

Стоя, какъ могучій колоссъ, на рубежѣ двухъ столѣтій, освѣщенный сіяніемъ величаваго заката, онъ завершалъ собою знаменательнѣйшій періодъ русской литературы, воплощая въ своей дѣятельности какъ бы синтезъ всего пройденнаго ею пути.

Только теперь, когда неумолимая судьба подводитъ итоги

этой величавой духовной силы, становятся до очевидности ясными и провиденціальная сущность творческаго генія нашей литературы, и поразительное единство и послѣдовательность въ ея развитіи.

Пушкинъ и Лермонтовъ, Гоголь и Достоевскій, Кольцовъ и Шевченко, Герценъ и Тургеневъ съ цѣлой блестящей плеядой послѣдующихъ корифеевъ,—все нашло свое отраженіе и гармоническое завершеніе въ творчествѣ великаго художника-аналитика русской души и жизни.

Но, какъ грандіозный неугасимый маякъ, онъ бросалъ свои обобщающіе лучи не только на прошедшее,—онъ озаряетъ пути и для будущихъ литературныхъ поколѣній, передавая въ сокровищницѣ своего творческаго генія тѣ высокія духовныя цѣнности, которыя всегда составляли величайшее достояніе русской литературы. Суть этихъ духовныхъ цѣнностей какъ нельзя болѣе точно опредѣлилъ самъ знаменитый писатель словами: „религіозное отношеніе къ жизни“. Именно въ нихъ коренятся тѣ незыблемыя традиціи русской литературы, въ которыхъ такъ гармонически сочеталось глубоко-проникновенное реалистическое изображеніе жизни съ высокорелигіознымъ строемъ души самого творца.

Быть можетъ, никому еще съ такой силой, полнотой и послѣдовательностью не удалось раньше запечатлѣть на скрижаляхъ русской литературы эти высокіе завѣты русскаго творческаго генія, какъ тому, прахъ котораго мы отдаемъ нынѣ землѣ, вѣруя въ безсмертіе его великихъ духовныхъ цѣнностей, которыя не перестанутъ сіять намъ и впредь.

Будемъ же вѣрить и надѣяться, что великіе цѣнности и завѣты,—какъ наслѣдство великаго писателя,—навсегда останутся дорогими и руководящими и для будущихъ дѣятелей родного слова.

Н. Златовратскій.

ХУДОЖНИКЪ-ПРОРОКЪ.

„Зачѣмъ столько заботъ объ одномъ, когда страдаютъ милліоны“, — сказалъ передъ кончиной великій писатель. Но развѣ не у милліоновъ отнято теперь утѣшеніе сознанія, что среди людей живетъ, мыслитъ и пишетъ Левъ Толстой?

Волшебной силой поэзіи Толстой удвоилъ доступный нашему сознанію міръ. Ибо созданія его художественной мечты не составляютъ ли неотъемлемую часть нашихъ духовныхъ переживаній, болѣе яркихъ и значительныхъ, чѣмъ тѣ, которыя даетъ намъ нашъ реальный личный жизненный опытъ? Развѣ Ростовы и Безухіе, Болконскіе и Левины, Каренины и Катюша Маслова—не наши братья и сестры по тому интересу къ ихъ судьбѣ, который вложилъ въ насъ ихъ великій творецъ?

Вѣчно будутъ сіять человѣчеству эти алмазы художественнаго творчества Толстого. Но на-ряду съ этимъ къ живущимъ въ сознаніи людей сказаніямъ о великихъ свѣточахъ міра навсегда присоединится теперь сказаніе о жизненномъ подвигѣ геніальнаго художника, который во имя высшихъ суровыхъ нравственныхъ стремленій своего духа не задумался возстать противъ того, что составляло истинную радость и поэзію его духовнаго существа—противъ самаго художества.

И сейчасъ, когда Толстой ушелъ отъ насъ, кто скажетъ, кто опредѣлитъ, о чемъ сильнѣе наша тоска: по тихимъ радостямъ поэзіи, которыми онъ дарилъ насъ, или по грознымъ бурямъ обличенія, звучавшимъ въ его пророческихъ словахъ, которыя, какъ набатъ, гремѣли по всѣмъ концамъ земли, сотрясая сердца людей?

Неотступно жгла великаго старца-пророка жажда правды, и властно призывалъ онъ къ той же жаждѣ весь міръ и тревожилъ дремлющую совѣсть людей своими могучими призывами, и не давалъ ей уснуть и успокоиться, и неустанно

твердилъ, что въ мучительныхъ исканіяхъ, въ тревогѣ души, въ бурѣ, а не въ покоѣ, развертывается нравственная красота человѣческой природы. Можно было предъявлять многія логическія возраженія противъ его отдѣльныхъ выводовъ и заключеній. Но вѣдь не въ нихъ состояла сущность его пророческаго подвига. Она состояла въ непрестанномъ протестѣ противъ мертвящаго покоя, противъ мелкой самоудовлетворенности, въ которой коснѣетъ человѣчество. И люди сами чувствютъ, какъ слабо вооружены они противъ этого главнаго духовнаго бича человѣчества, и, чувствуя это, какъ растеніе къ солнцу, тянутся ихъ души къ великимъ бунтовщикамъ духа, въ которыхъ люди инстиктивно видятъ единственныхъ защитниковъ противъ грозящей имъ духовной смерти. И вотъ почему на яснополянскомъ домѣ великаго старца сосредоточивались страстныя надежды людей и многимъ жилось спокойнѣе и увѣреннѣе отъ сознанія, что въ нужный моментъ Толстой не оставитъ ихъ одинъ на одинъ съ ихъ собственными слабѣющими передъ обыденщиной силами, но прозвучитъ его голосъ, и встрепенутся сердца и всколыхнется море человѣческихъ чувствъ, и въ грозѣ и бурѣ будетъ спасено нравственное достоинство человѣка.

„Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“,—сказалъ Толстой. А изъ всей совокупности его писаній и его дѣятельности вытекаетъ дополненіе къ этимъ словамъ: „Не въ покоѣ правда, а въ бурѣ“.

И теперь, когда угасъ этотъ великій вызыватель очистительныхъ нравственныхъ бурь,—съ безысходной скорбью медленно преклоняетъ колѣна передъ его могилой осиротѣвшій міръ.

А. Кизсветтеръ.

ТОЛСТОЙ.

Скончался Левъ Николаевичъ Толстой... Судьба, обыкновенно жестоко лишающая нашу родину выдающихся ея сыновъ въ самомъ расцвѣтѣ ихъ силъ, едва они успѣваютъ расправить свои крылья во всю ширь своихъ способностей, была необычно милостива и до того сохранила намъ Толстого. Извѣстія о немъ заставляли вспоминать стихи Жемчужникова: „Но въ немъ—въ отпоръ его недугамъ—душевныхъ силъ запасъ великъ". Нынѣ этотъ запасъ изсякъ. Несомнѣнно, что появится множество статей съ оцѣнкой творчества и дѣятельности, личности и значенія „великаго писателя земли русской". Но думается, что теперь, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ незамѣнимой, тяжелой утраты, представить вѣрную и подробную его характеристику какъ писателя и дѣятеля очень трудно. Онъ только-что былъ среди насъ, онъ слишкомъ еще вплетенъ своими твореніями въ нашу же дневную дѣйствительность, чтобы можно было говорить о немъ вполнѣ объективно. Вмѣстѣ съ тѣмъ для большинства русскихъ развитыхъ людей еще нѣсколько дней назадъ существовала возможность сказать вмѣстѣ съ поэтомъ: „Сей старецъ дорогъ намъ, онъ блещетъ средь народа"..., и поэтому трудно говорить о немъ спокойно и безстрастно.

Тѣмъ не менѣе мысль о томъ, что онъ ушелъ отъ насъ навсегда, невольно заставляетъ среди скорбныхъ думъ отдать себѣ хотя краткій отчетъ о томъ, что потеряла наша родина, когда его уста смолкли навѣки.

Соединеніе глубины проницательнаго наблюденія съ высокимъ даромъ художественнаго творчества отражается во всѣхъ произведеніяхъ Толстого и даетъ рядъ незабываемыхъ типическихъ образовъ. Будучи вполнѣ національнымъ писателемъ по мастерскому умѣнью освѣщать бытовыя явленія народной жизни, давая, какъ никто до него, понимать ихъ внутренній смыслъ и значеніе, онъ въ то же время

былъ всегда и прежде всего вдумчивымъ изслѣдователемъ человѣческой души вообще, независимо отъ условій мѣста и времени. Его сочиненія,—это цѣлыя эпопеи, въ которыхъ индивидуальная жизнь его героевъ сплетается съ жизнью и движеніями массы. Достаточно въ этомъ отношеніи указать на его „Севастопольскіе разсказы“ и на его удивительную по замыслу и исполненію. „Войну и миръ“, въ которыхъ индивидуальное и общественное начала идутъ рядомъ, взаимно дополняя и освѣщая другъ друга. Глубокая наблюдательность Толстого, которую не надо смѣшивать съ острой проникновенностью психологическаго анализа Достоевскаго давала ему возможность въ самыхъ разнообразныхъ явленіяхъ жизни и въ дѣйствіяхъ самыхъ разнообразныхъ людей подмѣтить и изобразить стороны или черты, ускользающія во вседневной жизни отъ взора читателя. И послѣдній остается пораженнымъ ихъ знаменательной правдивостью, иногда впервые увидавъ воплощеннымъ въ яркихъ художественныхъ образахъ то, что онъ много разъ на своемъ вѣку видѣлъ, но никогда сознательно не замѣчалъ.

На всѣ человѣческія отношенія отозвался Толстой, и что бы онъ ни изображалъ, вездѣ и во всемъ звучитъ голосъ неотразимой житейской правды. Онъ самъ въ одной изъ первыхъ повѣстей своихъ, развертывая яркую картину одновременнаго проявленія въ группѣ людей, призванныхъ на защиту Севастополя, высокихъ порывовъ человѣческаго духа и низменныхъ сторонъ человѣческой природы, опредѣлилъ задачу и основное свойство своего творчества. „Тяжелое раздумье одолѣваетъ меня,—говоритъ онъ.—Можетъ, не надо было говорить этого, можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Гдѣ въ моей повѣсти выраженіе зла, кото-

тораго надо избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны. Герой мой повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго стараюсь воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда".

Но не одному изображенію правды посвятилъ Толстой свой могучій талантъ. Онъ, — даже въ ущербъ интересамъ литературы и объему своего художественнаго творчества,— отдался исканію правды. Эта вторая сторона его дѣятельности не менѣе значительна, чѣмъ первая. Безтрепетной рукой всегда стремился онъ,—въ своихъ драматическихъ произведеніяхъ, сказкахъ, разсказахъ и повѣстяхъ, въ своихъ философскихъ и этико-политическихъ сочиненіяхъ,—снять обманчивые и заманчивые покровы съ житейской и общественной лжи, въ чемъ бы эта ложь ни проявлялась,—въ теоріяхъ и практикѣ, въ традиціяхъ и учрежденіяхъ, въ обычаяхъ и законахъ, въ условной морали и безусловномъ насиліи. Взывая къ внутреннему человѣку, призывая его „совлечь къ себя ветхаго Адама", онъ страстными и убѣжденными страницами стремился доказать, что „царство Божіе" зиждется на вѣчныхъ потребностяхъ и запросахъ человѣческой души, независимо и даже вопреки тѣмъ условіямъ, въ которыя хочетъ ихъ поставить извратившееся въ своихъ вождѣленіяхъ человѣческое общежитіе. Можно не соглашаться съ нѣкоторыми отдѣльными его положеніями или сильно сомнѣваться въ возможности ихъ цѣлесообразнаго осуществленія на практикѣ, но нельзя не отнестись съ горячимъ уваженіемъ къ писателю, который не удовлетворился заслуженной славой великаго художника, а стремился всею силой своего таланта служить разрѣшенію назрѣвающихъ вопросовъ жизни во имя и съ цѣлью уменьшенія страданій и господства дѣйствительной, а не формальной только справедливости.

Ко всѣмъ вопросамъ, выдвигаемымъ жизнью или возни-

кающимъ въ глубинѣ души, начиная съ вопроса о семьѣ и воспитаніи и кончая отношеніемъ къ смерти, Толстой подходилъ съ глубокой вѣрой въ нравственную отвѣтственность человѣка предъ Пославшимъ его въ міръ, съ убѣжденнымъ словомъ о необходимости духовнаго самоусовершенствованія, независимо отъ политическихъ формъ, среди которыхъ приходится жить. Онъ будилъ совѣсть, ставя ее, и ее одну,—верховнымъ судьей жизни, побужденій и дѣятельности человѣка. Что бы ни писалъ Толстой,—онъ обращался къ голосу, живущему въ тайникахъ человѣческой души, и, дѣйствуя страстнымъ словомъ или яркими образами, блещущими правдивостью, заставлялъ этотъ голосъ звучать настойчиво и долго. Вотъ почему онъ спокойно и даже радостно говорилъ о смерти, „дерзая на нее,—такъ говорится въ одномъ изъ Житій,—небоязненнымъ сердцемъ и непреодоленнымъ умомъ".

И какъ человѣкъ,—въ своихъ личныхъ отношеніяхъ и бесѣдахъ,—онъ былъ прекрасенъ. Все въ немъ было ясно, просто и вмѣстѣ съ тѣмъ величаво тѣмъ внутреннимъ величіемъ, которое сказывается не въ отдѣльныхъ словахъ или поступкахъ, а во всей повадкѣ человѣка. По мѣрѣ знакомства съ нимъ чувствовалось, что и про него можно сказать то же, что было сказано о Пушкинѣ: „Это великое явленіе русской жизни", отразившее въ себѣ всѣ лучшія стороны исторически сложившагося русскаго быта и русской духовной природы. Даже въ отрицаніи имъ началъ національности и современнаго экономическаго строя сказалась ширина и смѣлость русской натуры и свойственная ей, по выраженію Чичерина, безграничность въ смыслѣ отсутствія предѣловъ, полагаемыхъ прошлымъ опытомъ и осторожностью передъ грядущимъ. Даже и пугавшая многихъ, по слухамъ, нетерпимость его къ чужимъ мнѣніямъ, о которой такъ много писали, оказывалась на дѣлѣ лишь твердымъ высказываніемъ своего взгляда, облеченнымъ по большей части, даже въ случаѣ серьезнаго разногласія, въ весьма деликатную форму.

Это впечатлѣніе съ особой силой было испытано мною при первомъ посѣщеніи Ясной Поляны, болѣе чѣмъ двадцать лѣтъ назадъ.

Я пробылъ тогда въ Ясной Полянѣ пять или шесть дней. Въ день отъѣзда, рано утромъ, мы вышли съ Львомъ Николаевичемъ пѣшкомъ на станцію „Козлова-Засѣка“ и тамъ сердечно простились. Я долго смотрѣлъ изъ окна удалявшагося поѣзда на его милую типическую фигуру съ незабываемымъ русским мужицкимъ лицомъ, стоявшую на платформѣ. Сердце мое было исполнено благодарностіи судьбѣ, пославшей мнѣ не только близкое духовное общеніе съ нимъ, но и сознаніе, что я увожу въ моей душѣ его образъ не только не потускнѣвшимъ, но даже выше и краше, чѣмъ тотъ, который рисовался мнѣ, когда между строкъ его великихъ произведеній я старался разглядѣть душу автора. Поѣздъ безъ пересадки промчалъ меня въ Петербургъ, и я вступилъ въ обычную колею своей трудовой жизни, въ которой не было недостатка ни въ серьезныхъ интересахъ, ни въ интересныхъ людяхъ. Тѣмъ не менѣе мнѣ было душно въ этой жизни первые дни. Все казалось такъ мелко, такъ условно и, главное, такъ... такъ ненужно... Я чувствовалъ себя въ этой обычной нравственной атмосферѣ такъ, какъ долженъ себя чувствовать человѣкъ, быстро спустившійся съ чистыхъ альпійскихъ высотъ въ шумный и пыльный городъ и вошедшій въ душную комнату, гдѣ сильно накурено табакомъ, пахнетъ неоконченной трапезой и слышатся раздраженныя голоса спорящихъ. Это чувство прошло нескоро, оставивъ во мнѣ послѣ себя ясное сознаніе, что, даже не во всемъ соглашаясь съ Толстымъ, надо считать особымъ даромъ судьбы возможность видѣться съ нимъ и совершить то, что впослѣдствіи не разъ называлъ дезинфекціей души.

Въ наскоро набросанныхъ строкахъ трудно выразить силу его вліянія на собесѣдниковъ и описать тотъ внутренній его огонь, къ которому можно приложить слова Пушкина:

„Твоимъ огнемъ душа палима, отвергла мракъ мірскихъ суетъ". Вотъ почему безконечно дорога была его жизнь для всѣхъ, кому хоть отчасти свойственно исканіе правды въ жизни и то, что наши поэты называли „роптаньемъ вѣчнымъ души" и „святымъ безпокойствомъ". Собесѣдники могли не во всемъ съ нимъ соглашаться и находить иное, проповѣдуемое имъ, житейски недостижимымъ. Они могли не имѣть силъ или умѣнья *подняться* до него, но было важно, но было успокоительно знать, что онъ *есть*, что онъ существуетъ, какъ живой выразитель волнующихъ умъ и сердце думъ, какъ нравственный судья движеній человѣческой мысли и совѣсти, относительно котораго почти навѣрное у каждаго бошедшаго съ нимъ въ общеніе въ минуты колебаній, когда грозитъ кругомъ облѣпить житейская грязь, настойчиво и спасительно встаетъ въ душѣ вопросъ: „А что скажетъ на это Левъ Николаевичъ? А какъ *онъ* къ этому отнесется?"

Со многихъ сторонъ возставали на него. Ревнители неподвижности сложившихся сторонъ человѣческихъ отношеній упрекали его за смѣлость мысли и за разрушительное вліяніе его слова, ставя ему въ *строку* каждое *лыко* нѣкоторыхъ изъ его неудачныхъ или ограниченныхъ послѣдователей. Ему вмѣняли въ вину провозглашеніе имъ, безъ оглядки и колебаній, того, что онъ считаетъ истиной и по отношенію къ чему лишь осуществляетъ мнѣніе, высказанное имъ въ письмѣ къ Страхову: „Истину нельзя урѣзывать по дѣйствительности,—ужъ пускай дѣйствительность устраивается, какъ знаетъ и умѣетъ". Но не сказалъ ли нѣкто, что „истину, хотя бы и самую печальную, надо стараться увидѣть, и необходимо безпрерывно показывать и учиться отъ нея, чтобы не дожить до истины болѣе горькой, уже не учащей, но и наказующей за невниманіе къ ней?" А вѣдь этотъ нѣкто былъ знаменитый московскій митрополитъ Филаретъ...

Нѣкоторые изъ людей противоположнаго лагеря относи-

лись къ Толстому свысока, провозглашая его носителемъ „мѣщанскихъ“ идеаловъ, въ виду того, что во главу угла всѣхъ дѣлъ человѣческихъ онъ ставитъ нравственныя требованія, столь стѣснительныя для многихъ, которые въ измѣненіи политическихъ формъ. безъ всякаго параллельнаго улучшенія и углубленія морали, [illegible]тятъ панацею отъ всѣхъ золъ. Вращаясь въ своемъ узкомъ кругозорѣ, они забывали при этомъ, что даже наиболѣе радикальная политико-экономическая мѣра,—націонализація земли,—въ сущности указана и разъяснена у насъ Толстымъ, но съ одной чрезвычайно важной прибавкой, а именно: *безъ насилія*...

Путешественники описываютъ Сахару какъ знойную пустыню, въ которой замираетъ всякая жизнь. Когда смеркается, къ молчанію смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идетъ на водопой левъ и наполняетъ своимъ рыканіемъ пустыню. Ему отвѣчаютъ жалобный вой звѣрей, крики ночныхъ птицъ и далекое эхо,—и пустыня оживаетъ. Такъ бывало и съ этимъ Львомъ. Онъ могъ иногда заблуждаться въ своемъ гнѣвномъ исканіи истины, но онъ заставлялъ работать мысль, нарушалъ самодовольство молчанія, будилъ окружающихъ отъ сна и не давалъ имъ утонуть въ застоѣ болотнаго спокойствія..

А. Ѳ. Кони.

НАШЕ ОПРАВДАНІЕ.

Точно золотыя звенья одной волшебной цѣпи, начатой Пушкинымъ и увѣнчанной Толстымъ, точно сіяющія звѣзды одного вѣчнаго созвѣздія, горятъ надъ нами въ неизмѣримой высотѣ безсмертія прекрасныя имена великихъ русскихъ писателей. Въ нихъ наша совѣсть, въ нихъ наша истинная гордость, наше оправданіе, честь и надежда. И глядя на нихъ сквозь черную ночь, когда наша многостра-

дальная родина раздирается злобой, унынiемъ, отчаяніемъ и униженіемъ, мы все-таки твердо вѣримъ, что не погибнетъ народъ, родившій ихъ, и не умретъ языкъ, ихъ воспитавшій.

Какое странное, глубокое волненіе охватываетъ душу, когда подумаешь, что еще вчера Толстой жилъ между нами, былъ доступенъ живому общенію съ людьми, говорилъ, улыбался, страдалъ... Но вотъ прошло нѣсколько часовъ,— и онъ уже отодвинулся отъ насъ на столѣтія, сталъ достояніемъ міровой исторіи, обратился въ легенду. Онъ и при жизни былъ окруженъ легендой. Удивительную по своему значенію фразу сказала мнѣ вчера одна старообрядка, казачка, женщина интеллигентная, искренняя и глубоко вѣрующая. „Вы и представить себѣ не можете,—говорила она,—какъ у насъ, на Дону, люди старой вѣры почитаютъ имя Толстого, даже тѣ, которые ни одной его строчки не прочли, даже неграмотные; онъ для нихъ какой-то символъ чистоты и справедливости". И дальше она прибавила: „Наши попы его похоронили бы торжественно".

Да и правда: сколько милліоновъ людей въ минуты паденія, тяжелыхъ рѣшеній. раскаянія, душевной тоски, отчаянія —вспомнило объ этомъ имени, какъ объ якорѣ надежды. Сколько сотенъ тысячъ тянулось въ Ясную Поляну и получало тамъ совѣтъ, утѣшеніе, поддержку. Правда, приходили порой со зломъ, съ пустяками, съ однимъ праздным любопытствомъ, но, вѣдь, и къ святымъ отцамъ являлись просто глумливцы и попрошайки. Я вѣрю: пройдетъ очень немного лѣтъ, отпадетъ, какъ шелуха, и забудется все клеветническое, легкомысленное и низменное, что прилипало къ чудесному имени Толстого, и оно засіяетъ въ сладостной, прекрасной человѣческой легендѣ, точно обвѣянное поэзіей тысячелѣтій.

Какъ полна, богата, разнообразна и свѣтла была его жизнь. Вся она прошла передъ нами, преломленная, точно въ волшебной хрустальной призмѣ, въ его произведеніяхъ

и словахъ—вся, отъ младенческихъ лѣтъ до послѣдняго его вздоха. Охота, война, любовь, болѣзнь, семейная жизнь, рожденіе дѣтей, свѣтское общество, бремя славы, томленія духа, подвигъ—все совмѣстилось въ этой поразительной жизни, и почти все онъ отдалъ намъ, претворивъ въ безконечно художественные образы, въ которыхъ все—правда.

«*Герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, который всегда и былъ, есть и будетъ прекрасенъ,—правда*». Вотъ безцѣнныя слова Толстого, одинаково измѣряющія и его бытіе, и его творчество. Оттого-то вся его жизнь и представляется намъ, какъ ничья другая жизнь, подобной стройному кругу, гдѣ конецъ гармонично впадаетъ въ начало. И какой трогательной простотой, какой глубиной красоты и правдивости звучатъ его послѣднія слова, произнесенныя на маленькой станціи за нѣсколько минутъ передъ смертью!.. Это—тихій, скорбный и нѣжный аккордъ, заключившій великую симфонію. Это—предсмертный шопотъ Николеньки, странника Гриши, Пьера Безухова, Константина Левина, князя Неклюдова, старика Акима...

Какъ древній Великій Поэтъ, который, достигнувъ глубочайшей старости, повторялъ ученикамъ непрестанно одно лишь наставленіе: „Дѣти, любите другъ-друга, дѣти, любите другъ-друга“,—такъ и Толстой въ послѣдніе годы жизни, не уставая, училъ письменно и словесно любви, прощенію и смиренію. И многихъ умиляла, подымала, очищала эта краткая проповѣдь.

Но безконечно цѣннѣе, милѣе и ближе намъ Толстой творецъ, Толстой художникъ, Толстой—величайшій изъ мастеровъ прихотливаго, непокорнаго, великолѣпнаго русскаго слова. Онъ показывалъ намъ, слѣпымъ и скучнымъ, какъ прекрасны земля, небо, люди и звѣри. Онъ говорилъ намъ, недовѣрчивымъ и скупымъ, о томъ, что каждый человѣкъ можетъ быть добрымъ, сострадательнымъ, интереснымъ и

красивымъ душою. Онъ убѣждалъ насъ, что слово есть величайшее средство общенія между людьми. И всей безконечной прелестью своего художественнаго генія онъ точно сказалъ намъ: „Смотрите, какъ лучезарно прекрасенъ и какъ великъ человѣкъ".

Никакія литературныя поученія еще не спасли и не поколебали ни одного читателя. Но великія художественныя произведенія, какъ и имена ихъ творцовъ, сближаютъ и соединяютъ милліоны душъ незримыми, тонкими, но крѣпкими узами.

Въ настоящую минуту вниманіе и чувства всего образованнаго міра прикованы къ маленькому холмику, около пруда, въ старомъ яснополянскомъ паркѣ. Не будемъ оплакивать его. Отъ временныхъ вещей Толстой ушелъ въ вѣчность и безсмертіе, совершивъ болѣе того, что могъ человѣкъ. Съ тихимъ благовѣніемъ склонимъ головы и опустимъ глаза передъ великимъ событіемъ, которое пронеслось надъ нами. Скажемъ тихо, съ глубокою благодарностью: „Почивай съ міромъ, сокровище наше, слава наша, оправданіе наше!"

* * *

„Слова мудрыхъ остры, какъ иглы, крѣпки, какъ вбитые гвозди, и составители ихъ—всѣ отъ Единаго Пастыря". Такъ сказалъ Соломонъ.

А. Купринъ.

ПОЭТЪ СОВѢСТИ.

Перестало биться лучшее изъ человѣческихъ сердецъ... Не стало великаго праведника и художника, въ которомъ весь міръ чтилъ высшій образецъ нравственной красоты и вершину эстетическаго совершенства. Плачетъ о немъ все

человѣчество. Плачетъ Россія о великомъ поэтѣ съ великою душою, который ни разу „не унизилъ ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной", всегда идя во главѣ лучшихъ стремленій родного народа, въ авангардѣ всего юнаго и смѣлаго. Съ нимъ сошла въ могилу цѣлая эпоха, онъ самъ былъ живой эпохой.

Пушкинскмиъ обаяніемъ, воспоминаніемъ Отечественной войны и двадцатыхъ годовъ озарены были его дѣтство и отрочество. Бѣлинскій писалъ свои жгучія статьи, когда юноша поэтъ начиналъ сознательную жизнь. Царь Николай Павловичъ успѣлъ быть его читателемъ и, познакомившись съ „Севастопольскими разсказами". сказалъ: „Этого офицера надо беречь". Писемскій предсказалъ: „Офицерикъ всѣхъ насъ за поясъ заткнетъ". Умирающій Тургеневъ короновалъ капитолійскимъ вѣнкомъ чело „великаго писателя земли русской".

Горька и безотрадна наша дѣйствительность Но до сихъ поръ у насъ было великое утѣшеніе — сознаніе, что среди нашихъ современниковъ есть Левъ Толстой, носитель и живое олицетвореніе вѣчной правды на землѣ. Величайшей нашей славой и гордостью былъ онъ, нашъ современникъ и соотечественникъ, и много лѣтъ прислушивались мы къ вѣщему голосу яснополянскаго мудреца, который, даже порываясь къ строгому уединенію, однако, не отошелъ отъ жизни и былъ весь въ ней, глубоко испытуя ее и направляя своей могучей рукою... Лишь такъ недавно въ этомъ голосѣ слышались львиные раскаты библейскаго гнѣва, пророческой скорби, и по всему міру разносилось грозное: „Не могу молчать"...

„Не могу молчать"... Этимъ неустаннымъ, настоятельнымъ зовомъ совѣсти проникнуто все творчество Толстого. Онъ былъ молодымъ и начинающимъ литераторомъ, когда писалъ („Севастополь въ маѣ 1885 года"), стараясь оправдать или, вѣрнѣе, объяснить свою художественную правдивость: „Можетъ не надо было говорить этого; можетъ быть, то, что

я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши, и всѣ дурны... Герой же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ,— правда". Поэтомъ этого героя Толстой остался навсегда.

Великій счастливецъ былъ онъ. Если выпали на его долю страданья, о которыхъ такъ трогательно просто разсказалъ онъ въ своей „Исповѣди", то они были не отъ сомнѣній въ истинѣ, а отъ сознанія своей слабости, отъ сомнѣнія въ своихъ силахъ душевныхъ. Но найти свою правду, найти себя ему удалось почти сразу, безъ страшныхъ душевныхъ мукъ, терзаній и бореній. Еще героемъ „Юности", въ обликѣ Николеньки, Толстой сдѣлалъ нравственное „открытіе": онъ пришелъ къ убѣжденію, что „назначеніе человѣка есть стремленіе къ нравственному совершенствованію, и что совершенствованіе это легко, возможно и вѣчно". Убѣжденіе въ необходимости и возможности нравственнаго улучшенія окрасило міроотношеніе Толстого. Въ сороковыхъ годахъ. подъ вліяніемъ Руссо, онъ принимается за разсужденіе „О цѣли философіи", въ которомъ ясно выражаетъ сьой идеалъ нравственнаго совершенствованія и смотритъ на философію, какъ на „науку жизни". Теорія у него не расходится съ практикой, и въ 1847 г. онъ, оставивъ университетъ, поселяется въ родной Ясной Полянѣ, чтобы послужить своимъ крѣпостнымъ, улучшить ихъ бытъ. Объ этой порѣ своей дѣятельности онъ самъ разсказалъ потомъ въ „Утрѣ помѣщика". Объясняя свои намѣренія, герой Нехлюдовъ (т. е. Толстой) пишетъ: „Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этихъ семисотъ человѣкъ,

за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу? Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ, изъ-за плановъ наслажденія или честолюбія? И зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность"?

Грянула восточная война. Толстой принялъ, въ качествѣ артиллерійскаго офицера, участіе въ оборонѣ Севастополя. И какія чувства и мысли вызвала война въ молодомъ офицерѣ? Великій язычникъ Пушкинъ любилъ войну и все военное и, по крайней мѣрѣ, какъ поэтъ, не замѣтилъ ея тѣневой, мрачной стороны.. Въ „Севастопольскихъ разсказахъ" война является не съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами и гарцующими генералами, а въ ея настоящемъ выраженіи,—въ крови, въ страданіяхъ, въ смерти...

Вотъ Толстой въ новомъ автобіографическомъ изображеніи. Онъ—Оленинъ, герой „Казаковъ"... Онъ „чувствуетъ" горы, ихъ непорочную бѣлизну и вѣчную красоту, и „какой-то торжественный голосъ" прозвучалъ въ его душѣ: „Теперь началось"... „И вдругъ ему открылся какъ будто новый свѣтъ: счастіе вотъ что,—сказалъ онъ самъ себѣ,—счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія?—Любовь, самоотверженіе!.. Вѣдь ничего для себя не нужно,—все думалъ онъ,—отчего же не жить для другихъ?" Только такъ жить значитъ—жить, и вотъ почему Платонъ Каратаевъ, жизнь котораго, „какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не

имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь, а имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ", не говоря уже о Кутузовѣ, носителѣ „духа простоты и правды", который „ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя, обыкновенныя вещи",—въ глазахъ Толстого выше Наполеона, который „до конца жизни своей не могъ понимать ни добра, ни красоты, ни истины". Потому, что „нѣтъ истиннаго величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, доброты и правды".

И такъ сильна была въ Толстомъ страстная любовь къ правдѣ, что не разъ заставляла его забывать и о своемъ художественномъ геніи, и о назначеніи писателя. Отрицая современную внѣшнюю культуру, идущую не по пути добра и совѣсти, Толстой возставалъ противъ ея порожденія и орудія—искусства, и отказывался признавать добромъ то, что такъ часто служитъ злу. Но сила прекраснаго непреодолима, искусство непререкаемо, и горячія діатрибы Толстого противъ искусства говорили не о томъ, какъ плохи драмы Шекспира или „Казаки" и „Война и миръ", а о томъ, какъ высокъ и плѣнителенъ нравственный идеалъ...

Петръ Безухій, въ котораго Толстой влилъ часть своей души, выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ и потому естественно, чтобы видѣть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросилъ трубу, въ которую онъ смотрѣлъ до сихъ поръ черезъ головы людей, и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ, тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ. Прежде разрушавшій всѣ его умственныя постройки страшный вопросъ: „зачѣмъ" теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ—зачѣмъ? въ душѣ его всегда готовъ былъ простой отвѣтъ: „затѣмъ, что есть

Богъ, тотъ Богъ, безъ воли Котораго не спадетъ волосъ съ головы человѣка".

То же чувство живетъ и въ душѣ княжны Марьи Волконской. „Всѣ сложные законы человѣчества сосредоточивались для нея въ одномъ простомъ и ясномъ законѣ—въ законѣ любви и самоотверженія, преподанномъ Тѣмъ, Который съ любовью страдалъ за человѣчество, когда самъ Онъ—Богъ. Что ей было за дѣло до справедливости или несправедливости другихъ людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она дѣлала".

Такъ, говоря о своихъ герояхъ, Толстой высказалъ лучшее, задушевное свое. Такъ разсказывазъ онъ себя, и только такъ можно и должно понимать Толстого.

Божій голосъ звучитъ надъ головами героевъ „Анны Карениной": „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ", и о Богѣ страждетъ Иванъ Ильичъ, когда передъ нимъ зіяетъ черный мѣшокъ смерти...

Толстой—высшій, совершеннѣйшій представитель русской литературы, величайшій русскій писатель. Онъ лучшій выразитель духа совѣсти, и нѣтъ у насъ, имѣющихъ Гоголя и Достоевскаго, писателя, въ которомъ этотъ духъ былъ бы глубже и крѣпче. Вотъ отчего никого у насъ такъ не любили, какъ Толстого, ни къ кому такъ не прислушивались, какъ къ Толстому, и съ тѣмъ большимъ благоговѣйнымъ вниманіемъ, чѣмъ тяжелѣе и мрачнѣе становилась жизнь. Никогда человѣчеству не былъ такъ дорогъ ни одинъ писатель, быть можетъ, потому что никогда еще міръ такъ горько и мучительно не захлебывался въ омутѣ лжи, нравственныхъ противорѣчій и всяческаго зла и неправды. Толстой былъ не только дорогъ, — онъ былъ необходимъ, и тысячамъ людей становилось легче жить подъ взглядомъ грустныхъ очей яснополянскаго мудреца. Легче было дышать и глядѣть за свѣтъ Божій, зная, что живъ Толстой, жива воплощенная правда...

Странно какъ-то подумать, что ему было восемьдесятъ

два года, что исполнился для него обычный круговоротъ жизни, — потому странно, что онъ вѣдь никогда не былъ старымъ, что на все онъ откликался, всему былъ близокъ, что, когда рабски молчали юные и сильные, онъ, дряхлый, слабый, не могъ молчать...

Теперь его уже нѣтъ съ нами. Осиротѣли милліоны сердецъ, бившихся въ унисонъ съ его благороднымъ сердцемъ, заимствовавшихся отъ него пламенемъ и свѣтомъ. Россія погружается въ непроглядную тьму. И кто знаетъ, скоро ли взойдетъ заря?..

Н. Лернеръ.

ПАМЯТИ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Сегодня, когда родная земля принимаетъ прахъ великаго старца, хочется припомнить хоть небольшую долю того огромнаго, почти невмѣстимаго въ сознаніе, чѣмъ онъ былъ для насъ,—сказать точнѣе,—чѣмъ онъ *остался*, ибо безсмертные не умираютъ! Въ чемъ же состоитъ истинное безсмертіе Льва Толстого, его право быть учителемъ человѣческаго рода?

Онъ былъ *праведникомъ*, однимъ изъ немногихъ искреннихъ людей, искавшихъ вѣчной жизни и боровшихся съ препятствіями на пути къ ней.

Толстой для человѣчества не тѣмъ великъ, что написалъ рядъ превосходныхъ романовъ и разсказовъ. Хотя именно въ этомъ онъ былъ одаренъ въ наибольшей степени, хотя именно въ художественномъ талантѣ было его истинное посланничество,—но человѣчеству онъ будетъ дорогъ не какъ художникъ. Чтобы понять и оцѣнить его художественные труды, требуется слишкомъ русское, притомъ культурное общество, болѣе или менѣе одинаковаго съ Толстымъ умственнаго развитія. Такое общество весьма не

многочисленно—и у насъ, какъ во всемъ свѣтѣ. Творенія Толстого-романиста читаются съ тѣмъ же интересомъ, что и другихъ великихъ писателей, но не они вызываютъ волненье, не они возбуждаютъ тревогу, недоумѣнье, у однихъ—страстное вниманіе и восторгъ, у другихъ ненависть. Великій романистъ—подобно Тургеневу и Достоевскому, Толстой занялъ бы свое блистательное мѣсто въ созвѣздіи ему подобныхъ міровыхъ писателей, и вмѣстѣ съ ними былъ бы похороненъ въ бездонномъ небѣ исторіи. Скажите,—тревожитъ ли теперь кого-нибудь Гете, Пушкинъ или даже Тургеневъ? Въ Толстомъ современное намъ человѣчество видитъ нестолько великаго романиста, сколько *живого пророка*,—и именно это произвело на всѣхъ впечатлѣніе бурное, на однихъ—восхитительное, на другихъ терзающее. Для всѣхъ безспорно, что въ пророчествѣ своемъ Толстой не проявилъ и малой доли того увлекательнаго таланта, какимъ онъ былъ одаренъ, какъ романистъ. Но человѣческой толпѣ не всегда нуженъ талантъ. Какъ проповѣдникъ вѣры и праведной жизни Толстой не всегда вразумителенъ. Его религіозная философія не ясна,—но человѣческому сердцу вовсе и не нужно умственной ясности, чтобы почувствовать важную истину. „Есть рѣчи,—значенье—темно иль ничтожно, но имъ безъ волненья внимать невозможно“. У Толстого-пророка былъ даръ свойственный праведникамъ: волновать безъ словъ или словами съ виду незначительными. Но слова и мысли похожи на призраки вещей. Безконечно важнѣе для простого сердца присутствіе той основной духовной сути, которую таитъ въ себѣ праведникъ. Когда бы вы ни приходили къ Толстому и въ какой бы острый споръ ни вступали съ нимъ, вы безотчетно чувствовали, что предъ вами стоитъ большая, напряженная, страстная, фанатическая душа, ищущая Бога и ему *внемлющая*. Всегда чувствовалось, что это человѣкъ неравнодушный, что онъ крайне заинтересованъ не въ мелкомъ, а въ величайшемъ, что онъ взволнованъ до изне-

моженія въ присутствіи неразгаданнаго Божества, которымъ мы наполнены и окружены. Вотъ человѣкъ, который по-истинѣ не забывалъ Бога, а каждый моментъ стоялъ какъ бы съ непокрытой головой, прислушивающійся, всѣмъ говорящій: тише!

Какъ старые царедворцы—о чемъ бы ни зашла рѣчь, безотчетно сворачиваютъ на милость короля,—Толстой какимъ-то неодолимымъ тяготѣніемъ тянулся къ Богу, и внушалъ этимъ почти суевѣрное чувство. Минутами было жутко ощущать вблизи этотъ необычайный нервный аппаратъ живого человѣка, который жилъ наполовину уже какъ бы не здѣшней жизнью. На нашей памяти сильный духъ Толстого дрожалъ и колебался, дѣлалъ огромные размахи вправо и влѣво, но какъ чувствительная магнитная стрѣлка онъ въ самыхъ размахахъ стремился неизмѣнно къ какой-то мистической вѣчной точкѣ, мѣста которой не зналъ, но въ которой чувствовалъ всю жизнь и радость и для всего разгадку. Отнимите у Толстого его религіозность, и какъ философъ онъ обращается въ ничто. Отнимите у него всю философію его, и какъ религіозный человѣкъ, онъ остается великимъ. Именно это—величайшая его черта, дававшая ему силу притягивать къ себѣ чуткія души и несказанно волновать ихъ...

Опуская въ самомъ сердцѣ Россіи прахъ великаго ея сына, мы почти не испытаемъ съ нимъ чувства разлуки. То, что исчезло, такъ незначительно съ тѣмъ, что осталось и что начинаетъ громозвучную, блистательную жизнь въ исторіи. Живое поколѣніе, мы скоро сойдемъ въ могилу, за нами вслѣдъ одно за другимъ послѣдуютъ бечисленныя человѣческія поколѣнія, а онъ останется живымъ, могучимъ, говорящимъ, пробуждающимъ. Не все написанное Львомъ Толстымъ останется,—можетъ быть, останется совсѣмъ немногое, но самъ онъ перейдетъ въ легенду. Благодарное за немногое великое, отвѣчающее сердцу, потомство дополнитъ любимый образъ, окружитъ его сіяніемъ, которое съ

вѣками будетъ становиться все болѣе таинственнымъ и священнымъ. Сказать, что Толстой училъ добру,—слишкомъ плоско и невѣрно. Что такое добро и зло—загадка вѣчная, и ея ни одинъ вѣроучитель не растолковывалъ. Толстой смутилъ не мало людей несроднаго ему духа. Но подобно благороднѣйшимъ вѣроучителямъ онъ наводилъ созвучныя ему души на путь счастья, онъ завлекалъ красотою сердца, заражалъ благороднымъ настроеніемъ, поднималъ до праведности. Множество людей, бывшихъ у Толстого, чувствовали себя въ его присутствіи лучше, точно входили въ какую-то живительную, омолаживающую атфосферу. Это вліяніе для однихъ было долговременнымъ, для другихъ—мимолетнымъ, но оно чувствовалось всѣми. Въ очень многихъ нравственно-философскихъ статьяхъ и разсказахъ Толстого эта чудесная сила его духа осталась навсегда, сила высокоблаготворная, почти чудотворная. Ради этого несомнѣннаго присутствія Духа Божія въ нравственной проповѣди Толстого пусть родное Небо благословитъ родную землю, принявшую въ себя великій прахъ, и пусть Отечество поклонится могилѣ праведника земнымъ поклономъ.

М. Меньшиковъ.

СМЕРТЬ Л. ТОЛСТОГО.

Смерть его—не конецъ, а свершеніе, исполненіе жизни. Чаша наполнялась, наполнилась и перелилась черезъ край земного бытія въ вѣчность.

Плачемъ, но не знаемъ, отъ скорби или отъ радости. Скорбь каждаго изъ насъ - скорбь всего человѣчества, скорбь всей земли. Ибо Духъ Земли воплотился въ немъ, и когда онъ ушелъ, земля опустѣла. Отнынѣ шаръ земной несется пустыннѣе въ пустыняхъ міра.

Кто онъ? Художникъ, учитель, пророкъ? Нѣтъ, больше.

Лицо его - лицо человѣчества. Если бы обитатели иныхъ міровъ спросили нашъ міръ: кто ты?—человѣчество могло бы отвѣтить, указавъ на Толстого: вотъ я.

Въ эту минуту мы испытываемъ то, чего никогда никто изъ людей не испытывалъ. Сколько умирало великихъ сыновъ человѣческихъ. Но никогда еще взоры всего человѣчества не устремлялись такъ на одного человѣка; никогда человѣчество не чувствовало такъ, что умеръ сынъ его возлюбленный, сынъ человѣческій.

Тотъ, умершій на Голгоѳѣ, Единородный Сынъ Божій хотѣлъ, чтобы всѣ мы стали сынами Божьими: Я говорю: вы боги, и сыны Всевышняго всѣ вы.

Мы теперь знаемъ, что Толстой—одинъ изъ нихъ. Мы также знаемъ, что все его величіе передъ величіемъ Единаго Сына Человѣческаго—ничтожно. Вѣруемъ, что малѣйшій въ Царствіи Божьемъ наречется, можетъ быть, большимъ, чѣмъ онъ. Но пусть не говорятъ намъ, что самъ онъ этого не зналъ, не хотѣлъ знать, не вѣрилъ во Христа Бога, умеръ отверженнымъ, отлученнымъ, нераскаяннымъ. Не словами, а всей своей жизнью и смертью онъ Христа исповѣдалъ. Развѣ можно такъ любить человѣка, какъ онъ Его любилъ; развѣ можно такъ идти за человѣкомъ, какъ онъ шелъ за Нимъ; развѣ можно такъ умереть за человѣка, какъ онъ умеръ за Него?

Что бы намъ ни говорили, мы знаемъ, что Сынъ Божій не отвергнетъ сына человѣческаго—Себя Самого въ человѣчествѣ; а что въ эту минуту все человѣчество—въ немъ,—понимаютъ, конечно, и тѣ, кто думаетъ, что онъ Христомъ отверженъ.

. . . . . .

...Въ эту минуту все человѣчество преклоняетъ колѣна надъ прахомъ возлюбленнаго сына своего и молится едиными устами, единымъ сердцемъ, единымъ воплемъ. И если русская помѣстная церковь безмолвствуетъ, то вопіетъ все христіанское человѣчество, церковь вселенская: упокой,

Господи, душу усопшаго раба Твоего! И дойдетъ до Бога, дойдетъ этотъ вопль.

Предстоящій нынѣ Господу, усопшій братъ нашъ, помолись и ты за насъ,—не только за свою родную землю, которую ты такъ любилъ, но и за все человѣчество, за всю землю, потому что вся земля—тебѣ родная. Скажи тамъ, предъ лицомъ Господнимъ, то, что ты здѣсь говорилъ всю жизнь:

Да пріидетъ царствіе Твое.

Д. Мережковскій.

ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ.

Если въ теченіе ряда дней вся Россія—болѣе того, весь міръ съ затаеннымъ дыханіемъ ждалъ вѣстей изъ заброшеннаго провинціальнаго угла,—если милліоны людей до послѣдней минуты продолжали страстно надѣяться на чудо исцѣленія,—если роковыя слова „Толстой умеръ“ страданіемъ и скорбью отозвались въ сердцахъ, какъ вѣсть о невознаградимой, ни съ чѣмъ не сравнимой потерѣ для всего человѣчества,—то напрасно было бы искать объясненія этихъ чувствъ и переживаній въ оцѣнкѣ Толстого какъ писателя-художника. Vixerunt fortes ante Agamemnonem. Русская литература имѣла Тургенева, имѣла Достоевскаго, этихъ двухъ богатырей, по силѣ и блеску творческаго генія, по красотѣ созданныхъ ими образовъ, по глубинѣ и богатству психическаго анализа не уступавшихъ „великому писателю земли русской“, однако, смерть ихъ въ свое время не почувствовалась какъ міровое событіе. Можетъ быть, ощущеніе огромности и невознаградимости утраты, понесенной русской литературой, обостряется отъ сознанія, что въ лицѣ Толстого сошелъ въ могилу послѣдній великій представитель золотого вѣка, давшаго Россіи Салтыкова,

Фета и Майкова, Гончарова и Островскаго. Какія имена! Среди нихъ имя Толстого было первымъ, и какъ велика, какъ неизмѣрима пропасть, отдѣляющая его отъ пестрой и разнокалиберной толпы современниковъ. Да, смерть Толстого обезглавила русскую литературу, она лишилась несравненнаго художественнаго генія, признаннаго всѣмъ міромъ. Но все же, однако, этого недостаточно. Для того, чтобы понять значеніе происшедшаго, нужно признать, что со смертью Толстого человѣчество потеряло не тольло художника слова, творца „Казаковъ", „Войны и мира", „Анны Карениной", „Семейнаго счастія". Этого не приходится даже доказывать и едва ли наши читатели удивятся, встрѣтивъ строки, посвященныя Толстому, на страницахъ журнала „Право". Жизнь и дѣятельность Толстого были явленіемъ громадной общественной важности, факторомъ общественной жизни. Онъ служилъ не красотѣ только, а благу и счастію человѣчества. Безстрашная мысль его углубилась въ вѣчныя проблемы жизни и духа, охватила безконечное многообразіе человѣческихъ отношеній, изслѣдовала и оцѣнила всю совокупность формъ, на которыхъ зиждется устройство государства и общества. Съ небывалой мощью, съ ослѣпительной яркостью онъ развертывалъ передъ нами картину лжи и насилія, управляющихъ міромъ. Онъ былъ какъ бы живой, недремлющей совѣстью человѣчества. Она говорила его устами, когда онъ „не могъ молчать", возбуждая ненависть и злобу всѣхъ тѣхъ, кто понималъ, что предъ величіемъ вѣщаго старца нѣмѣетъ и рушится власть грубой силы. Пресмыкающіеся передъ физическимъ могуществомъ этой власти готовы ставить ей въ заслугу, что „Толстого она не трогала", давала ему безнаказанно говорить и писать..... Лицемѣріе подобныхъ заявленій равносильно ихъ безсовѣстности. Какъ будто неизвѣстно, что за послѣднія тридцать лѣтъ Толстой лишенъ былъ возможности на родинѣ своей свободно и открыто проповѣдывать свое ученіе!.....

Міросозерцаніе Толстого сложилось, конечно, совершенно независимо отъ внѣшнихъ условій той общественной и личной жизни, которая его окружала. Оно было результатомъ бурной, кипучей дѣятельности его великой мятежной души и было бы такимъ же, если бы Толстому пришлось жить въ свободной странѣ, обладающей наиболѣе совершеннымъ государственнымъ и соціальнымъ строемъ. „Христіанскій анархизмъ" Толстого отрицалъ всякую общественную организацію, кромѣ той, которая покоится на заповѣди любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ, непротивленія злу насиліемъ, на стремленіи къ личному самосовершенствованію, къ подвигу самопожертвованія. „Царство Божіе внутри насъ", тамъ, въ безпредѣльныхъ возможностяхъ духовной жизни, „жизни въ Богѣ",—ключъ къ счастію, оправданіе и цѣль земного существованія. Но если съ точки зрѣнія такого критерія „демократическая республика" Запада не стоитъ большаго, чѣмъ азіатскій деспотизмъ востока, то все же особый трагизмъ жизни Толстого въ томъ, что какъ разъ его послѣдніе годы протекли при господствѣ такихъ порядковъ, въ созерцаніи такихъ явленій, которыя были и остались истиннымъ попраніемъ элементарныхъ нравственныхъ завѣтовъ.... Проповѣдь „Царства Божія внутри васъ" и личнаго самосовершенствованія должна была звучать въ атмосферѣ, насыщенной трупнымъ запахомъ. Возможно ли представить себѣ болѣе ужасный, болѣе мучительный диссонансъ? И мудрено ли, что сохранившійся до послѣднихъ дней страстный темпераментъ Толстого не находилъ выхода въ безмятежной возвышенной проповѣди, а разражался словами жгучаго негодованія, клеймившаго и бичевавшаго опредѣленныхъ людей и опредѣленные порядки?

До настоящаго времени очень распространено мнѣніе, отдѣляющее рѣзкой чертой „шуйцу" Толстого отъ его „десницы", Толстого „моралиста" оть Толстого „художника". И если второму раздаютъ единодушно хвалу и честь, то

перваго принимаютъ лишь съ большими оговорками. Между тѣмъ міровое значеніе Толстого—именно въ этомъ нераздѣлимомъ сочетаніи геніальнаго художника и великаго мыслителя,—носителя высшихъ недосягаемыхъ нравственныхъ идеаловъ. Послѣ „Власти тьмы", „Хозяина и работника", „Крейцеровской сонаты", „Воскресенія" странно говорить о двухъ ликахъ толстовскаго творчества. Да развѣ въ „Войнѣ и мирѣ" и въ „Аннѣ Карениной" не эти высшіе идеалы даютъ тонъ, смыслъ и значеніе? Развѣ не они отличаютъ эти подлинно великія произведенія отъ любого историческаго или любовнаго романа? Развѣ одно мастерство формы, художественное совершенство,—были бы достаточны для объясненія того глубокаго, неизгладимаго впечатлѣнія, которое оставляетъ въ нашей душѣ творчество Толстого? Самъ великій писатель, мы знаемъ, въ послѣдніе годы своей жизни склоненъ былъ пренебрежительно относиться къ этимъ своимъ произведеніямъ. Его духъ ихъ переросъ, онъ видѣлъ въ нихъ только дань, отданную мірскому соблазну и житейской суетѣ. Ни мы, ни наши потомки подъ такимъ приговоромъ не подпишемся. Духъ вѣчности, немолчныхъ запросовъ человѣческой совѣсти вѣетъ съ этихъ страницъ, дѣлая ихъ вѣчными...

Естественно и понятно, что „христіанскій анархизмъ" Толстого, встрѣчаясь съ принудительнымъ началомъ въ области человѣческихъ учрежденій, реагировалъ болѣзненно протестомъ и негодованіемъ. Уголовное правосудіе, наказаніе во всѣхъ его видахъ должны были, конечно, въ наибольшей степени вызывать такія чувства, вылившіяся во многихъ потрясающихъ страницахъ. Но и вообще говоря, сила и значеніе земного закона, человѣческой законности,—никли и блѣднѣли въ глазахъ того, кто признавалъ обязательность одного лишь божьяго закона, живущаго въ сердцахъ людей, диктующаго имъ ихъ поведеніе. Право, юриспруденція, въ глазахъ Толстого были такими же вредными пустяками, какъ и все остальное „земное", надъ чѣмъ

работаетъ человѣческая мысль, отрѣшаясь отъ божьяго. И для тѣхъ, что сводитъ все существо права къ болѣе или менѣе усовершенствованной формѣ принужденія или видитъ въ принужденіи отличительный элементъ права—Толстой врагъ. Зато онъ могъ подать руку тѣмъ, кто признаетъ въ велѣніяхъ права своеобразный голосъ, указывающій человѣку должное, учащій его уважать личность другого и ея благо, ставящій ему опредѣленныя требованія и въ концѣ концовъ также ведущій его къ постоянному внутреннему совершенствованію, къ высшей правдѣ.

Вся жизнь Толстого была непрерывнымъ и страстнымъ исканіемъ разгадки тайнъ и смысла человѣческой жизни, стремленіемъ вверхъ, въ недоступную бѣдному человѣческому разуму область вѣчнаго. Теперь его могучій пророческій духъ нашелъ вѣчное успокоеніе,—теперь онъ знаетъ—и самъ сталъ частью этой вѣчности. Замолкъ навсегда голосъ, будившій совѣсть, откликавшійся на зло и насиліе, громившій жестокость, ложь и лицемѣріе. Осталось великое, дорогое воспоминаніе, остались нетлѣнные дары генія слова и мысли. Будемъ признательны почившему за это наслѣдіе...

Вл. Набоковъ.

ОСИРОТѢЛО ЧЕЛОВѢЧЕСТВО.

У варяговъ есть цѣлый кругъ несравненныхъ сказаній о богатыряхъ и мудрецахъ, о поэтахъ и законодателяхъ, создавшихъ красивую и добрую жизнь у глубокихъ синихъ фіордовъ, окруженныхъ угрюмыми сѣрыми скалами. Вѣщіе баяны, передавая ихъ память потомкамъ подъ торжественный рокотъ струнъ, разсказывали и послѣднюю былину, до сихъ поръ волнующую наше воображеніе. Все,—и слава, и почесть, и толчея окружающаго мірѣ, и его суета, и заботы близкихъ, которымъ не дано было силъ взойти за геніемъ

на сверкающія вершины, и клевета низкихъ душонокъ, и завистливая ревность сильныхъ,—дѣлались невыновисимы великимъ умамъ и возвышеннымъ душамъ... Они мечтали о безконечной радости одиночества, о думахъ внѣ житейскихъ тревогъ и единеніи съ такою же, какъ и они, творческою безпредѣльностью... Изъ недосягаемыхъ далей, изъ сказочныхъ заокеанскихъ престоловъ къ кишащимъ людскимъ муравейникомъ заливамъ медленно плыли зеленоватыя глыбы ледяныхъ острововъ. Въ бѣлыя сѣверныя ночи мудрецы, свершившіе свое великое послушаніе на землѣ, тихо и незамѣтно уходили на эти пловучія громады загадочнаго океана. Люди издали слышали послѣдніе аккорды ихъ радостныхъ струнъ, привѣтствовавшихъ въ мистической вѣчности незакатное солнце. Сбѣгаясь на гребни сѣрыхъ утесовъ, они видѣли носителей негаснущаго свѣточа на ледяныхъ алтаряхъ, и сѣдыя волны неизбѣжно, безвозвратно уносили ихъ въ свою неразгаданную тайну... Далеко, далеко...

Какъ эта великолѣпная легенда подходитъ къ нашему несказанному богатырю!

Развѣ онъ не такъ же хотѣлъ скрыться отъ міра?

Въ нравственномъ одиночествѣ не мечталъ ли онъ уйти дерзновенною творческою мыслью въ недоступныя намъ глубины? Второй Іоаннъ Дамаскинъ, не бѣжалъ ли онъ въ такія дали, гдѣ уже ничто суетное земное не застило бы ему вѣчной истины, творящей жизнь...

Увы!

Сѣверные богатыри оставляли за собой молчаливую, благоговѣйную толпу,—у насъ она крикливая, назойливая, наглая, слѣдовала за нимъ, подгоняя его бичами своего фарисейскаго поклоненія, такъ переплетающагося съ клеветническимъ любопытствомъ, что не знаешь, гдѣ начинается одно и кончается другое. Я не говорю о своихъ. У тѣхъ сердца приросли къ великому, тѣ исходили кровью при мысли о его безпомощи и одиночествѣ. Нѣтъ, за нимъ бросилось многое, жадное, выпученное, цѣпкое...

И старый богатырь обезсилѣлъ на побѣгѣ...

Понимали ли мы размѣръ этого гиганта, когда онъ жилъ съ нами? Берегли ли мы эту творческую мысль, говорившую нетлѣнными образами всему человѣчеству? Вѣдь, для Россіи,—Толстой на своей страшной высотѣ былъ тѣмъ, что общило насъ съ цѣлымъ міромъ. Это не только наша гордость. Мало ли чѣмъ не гордятся народы! Нѣтъ, въ немъ было наше право на вниманіе и уваженіе всего человѣчества. Какими бы знаками ни писали отдаленнѣйшія племена, но разъ у нихъ была книга,—они чтили великаго поэта и мудреца, прислушивались къ каждому его слову и, въ его лицѣ, съ молитвеннымъ удивленіемъ смотрѣли на великій народъ, изъ нѣдръ котораго онъ вышелъ со своимъ свѣточемъ.. Факелъ во мракѣ. Куда только не падали его лучи!

Осиротѣло человѣчество...

Порвалась одна изъ нашихъ связей съ нимъ...

Отъ генія, который еще нѣсколько лѣтъ могъ бы творить и учить, осталась только одна могила на курганѣ Ясной Поляны...

Представьте, что одинокій Монбланъ снесло бы катаклизмомъ разрушительной злой силы. ¡Кругомъ осталась бы гладь, и человѣчество въ своей будничной, мелкой заботѣ уже не нашло бы ледяного алтаря въ небесахъ, вершины, первой вотрѣчавшей свѣтъ и послѣднею прощавшейся съ нимъ..

Вас. Немировичъ-Данченко.

ВЪ МІРѢ—ПОКОЙНИКЪ.

Когда въ домѣ покойникъ,—благоговѣйная молитвенная тишина воцаряется въ домѣ. Сейчасъ у насъ, въ Россіи, покойникъ. И не только у насъ въ Россіи, но и во всемъ

мірѣ,—у насъ на землѣ,—повсюду, гдѣ знали имя Толстого, куда проникало его вѣщее міровое слово. И надъ всей Россіей, надъ всѣмъ міромъ пронесется историческій мигъ благоговѣйной, молитвенной тишины.

Милліоны человѣческихъ душъ сольются въ одномъ чувствѣ, глубокомъ и высокомъ, скорбномъ и лучезарномъ; умеръ другъ человѣчества, но онъ безсмертенъ; осиротѣло человѣчество, но въ этотъ мигъ оно чувствуетъ свое единство, какъ давно не чувствовало, и яснѣе, чѣмъ когда-либо, сознаетъ идеальную цѣль, къ которой оно должно стремиться.

Гробъ Толстого, какъ и его жизнь, — символъ братства народовъ, всечеловѣческаго единенія, — идеальный центръ тяготѣнія человѣка къ человѣку. Милліоны могли оставаться глухи къ ученію Толстого, могли не раздѣлять его идей, но его голосъ, звучавшій во всѣхъ частяхъ свѣта, внушалъ людямъ неотразимую мысль, что они братья, и что ихъ жизнь должна быть основана на началахъ евангельской любви. Не умолкъ и не умолкнетъ этотъ голосъ.

Въ настоящую торжественную минуту, среди благоговѣйной тишины, когда въ мірѣ—покойникъ, человѣческій идеалъ, проповѣди котораго посвятилъ Толстой свою жизнь, витаетъ надъ всѣми нами, сынами земли, и наша всемірная скорбь озаряется отблескомъ великихъ упованій, лучезарнымъ свѣтомъ безсмертнаго имени великаго друга человѣчества.

Д. Овсянико-Куликовскій.

„ТОЛСТОЙ ТИХО СКОНЧАЛСЯ"...

Угасъ поэтъ—народъ осиротѣлъ!..

Телеграфъ ударилъ по сердцамъ,—взволнованнымъ и наболѣвшимъ за послѣдніе дни, — скорбной вѣстью: „Тол-

стой скончался", Толстой ушелъ отъ насъ, его больше нѣтъ съ нами...

Угасъ не только поэтъ, не только художникъ слова, читавшій въ сердцахъ людей какъ въ открытой книгѣ,— угасъ учитель жизни, мыслитель, геній котораго царилъ на самыхъ идеальныхъ высотахъ человѣческаго духа, затрогивая и освѣщая міровыя, вѣчныя проблемы души, совѣсти, этики... Поэтому онъ былъ такъ дорогъ, такъ близокъ всѣмъ намъ.

И теперь, когда этотъ искатель и глашатай вѣчной правды, этотъ безстрашный проповѣдникъ вѣчныхъ завѣтовъ умолкъ навсегда, глубокая скорбь жгучей болью наполняетъ сердца людей.

Россія, сознавая колоссальное значеніе роковой утраты, облекается въ глубокій трауръ.

Давно раздаются горькія жалобы людей на то, что „любимцы боговъ" умираютъ слишкомъ рано. Но едва ли гдѣнибудь эти жалобы имѣютъ такъ много основаній, какъ именно у насъ, въ Россіи.

Тяжелыя житейскія невзгоды и разныя суровыя преслѣдованія всегда выпадали у насъ на долю людей, отмѣченныхъ талантомъ и геніемъ.

Оглядываясь назадъ, на пройденный нами историческій путь, мы видимъ, что у насъ, въ Россіи, до сихъ поръ судьба всегда была особенно безсердечна и сугубо жестока къ людямъ, избраннымъ къ „любимцамъ боговъ".

Грубо и безжалостно вырывала судьба изъ русской жизни людей, носившихъ въ груди искру Божію. Рано и преждевременно уходили изъ жизни эти люди, и съ ихъ уходомъ наша жизнь становилась все болѣе сѣрой, тусклой и печальной.

Но вотъ судьба какъ-будто улыбнулась намъ. Величайшій изъ современныхъ писателей, художественный геній котораго признается всѣмъ культурнымъ человѣчествомъ, Л. Н. Толстой благополучно достигаетъ глубокой старости.

Какъ же мы цѣнили это? Какъ оберегали дорогую жизнь?

Правда, Толстой былъ какъ-будто счастливѣе многихъ изъ нашихъ писателей: онъ не былъ въ ссылкѣ, подобно Пушкину и Лермонтову, не былъ въ каторгѣ, подобно Достоевскому и Плещееву, не былъ сданъ въ солдаты, подобно Шевченко и Полежаеву, не былъ эмигрантомъ, подобно Герцену и Огареву.

Только разъ его знаменитая Ясная Поляна подверглась набѣгу со стороны полиціи, которая, нагрянувъ на его домъ, перевернула его, что называется, вверхъ дномъ. Нужно ли добавлять, что для подобнаго набѣга и оскорбленія со стороны Толстого не было подано ни малѣйшаго повода, ни малѣшаго основанія?

Извѣстно, что Толстой такъ былъ возмущенъ этимъ грубымъ набѣгомъ, этимъ нелѣпымъ обыскомъ, этимъ разгромомъ родного гнѣзда, что одно время серьезно намѣревался совсѣмъ бросить Россію и уѣхать навсегда за границу. Къ великому счастью, этого не случилось.

Толстой не сидѣлъ въ тюрьмѣ, хотя его однофамилецъ, бывшій министръ графъ Д. А. Толстой и К. П. Побѣдоносцевъ прилагали старанія къ тому, чтобы запереть его, какъ опаснаго еретика, въ Суздальскую монастырскую крѣпость. Но эта затѣя сорвалась. Александръ III понялъ, что нѣтъ такой тюрьмы, въ которую можно было бы запрятать „солнце русской литературы".

И за всѣмъ тѣмъ жизнь знаменитаго писателя была далеко не сладкая и протекала не среди розъ. Можно съ полной увѣренностью утверждать, что никогда ни одинъ изъ нашихъ писателей не подвергался столь ожесточеннымъ нападкамъ, столь свирѣпой и систематической травлѣ какъ Левъ Толстой,

Стоило только Толстому вступить на путь религіозныхъ и этическихъ исканій, вызванныхъ глубокой духовной неудовлетворенностью, какъ противъ него тотчасъ же подни-

мается цѣлый потокъ озлобленныхъ нападокъ, клеветъ, инсинуацій. Дальше—больше...

. . . . . .

Читая такія произведенія Толстого, какъ „Три дня въ деревнѣ“, „Не могу молчать“, и зная метрику ихъ автора, невольно думалось, что само время оказывается безсильнымъ, чтобы надломить и осломить этотъ могучій, богатырскій духъ. И дѣйствительно, несмотря на преклонный возрастъ, изъ-подъ пера Толстого выходили все новыя и новыя произведенія, отличавшіяся тѣми же самыми достоинствами, какія всегда были присущи его необыкновенному, исключительному дарованію.

Но,—увы!—произведенія Толстого становились все менѣе и менѣе доступными для русской публики...

Благодаря подобнымъ мѣрамъ русскіе читатели почти совсѣмъ лишены были возможности знакомиться съ появляющимися вновь произведеніями „великаго писателя земли русской“. Теперь, когда онъ навсегда покинулъ насъ, когда всѣ житейскіе счеты покончены,—что будетъ теперь съ тѣмъ безцѣннымъ духовнымъ наслѣдствомъ, которое оставилъ людямъ великій учитель жизни?..

Разбитъ маякъ, освѣщавшій жизненные пути людей, но тотъ огонь, который свѣтилъ человѣчеству, не погасъ.

А. Пругавинъ.

МІРЪ ОСИРОТѢЛЪ.

Л. Толстой умеръ 82-хъ лѣтъ отъ роду, въ годахъ, до какихъ доживаютъ немногіе люди. Л. Толстой давно уже вписалъ свое имя въ міровыя лѣтописи безсмертія. Проявилъ всю геніальную мощь своего художественнаго творчества и, какъ сказочный волшебникъ, владѣлецъ несказанныхъ сокровищъ открылъ предъ міромъ, отдалъ человѣчеству всѣ

сокровенныя думы, всѣ муки и сомнѣнія своей великой, являющейся, можетъ-быть, разъ въ тысячелѣтія души.

Онъ далъ міру все, что можно было требовать отъ Л. Толстого, и самъ получилъ отъ людей, на что они способны по отношенію къ генію: Л. Толстой по отношенію къ себѣ видѣлъ и нѣжное обожаніе, и дьявольскую злобу. Свершилъ все земное и пережилъ все человѣческое. Какъ мало кто изъ жившихъ въ исторіи человѣчества, Л. Толстой справедливо могъ бы сказать о себѣ:

— Азъ скончахъ дни и труды моя и нынѣ отъиду отъ васъ, успну, почію навѣки.

И все же какъ странно, какъ дико, какъ до жути больно думать, говорить и писать:

Л. Толстого нѣтъ больше съ нами, Л. Толстой умеръ. Смолкъ навѣки тотъ, кто не могъ молчать.

И теперь у гроба почившаго генія—старца хочется спросить себя, окружающихъ, страну, все человѣчество:

— Да понимали ли мы ясно, во всю величину, что такое былъ и есть для міра Л. Толстой? Понимали ли мы всю радость и все счастье одного того, что мы жили на землѣ въ тѣ дни, когда жилъ Л. Толстой, что мы были его современниками, могли видѣть и слышать его лично, въ частности, мы, русскіе, были еще и сынами сбщей съ нимъ родины, Россіи?

Онъ жилъ въ наши дни, жилъ съ нами, и, вотъ, больше нѣтъ его. Какъ всегда и обычно, бѣгаютъ и звенятъ по улицамъ трамваи, толпы народа спѣшатъ по своимъ дѣламъ, и всѣ дѣла идутъ своимъ чередомъ, но его уже нѣтъ. Въ Палестинѣ было и есть много дубовъ, цѣлые дубовые лѣса, но дубъ мамврійскій тамъ одинъ, и съ паденіемъ его осиротѣли всѣ дубы, лѣса, вся Палестина. Осиротѣли и мы со смертью Л. Толстого, осиротѣла вся Россія, осиротѣлъ весь міръ.

Въ исторіи человѣчества и до Л. Толстого, и помимо его были лица, можетъ-быть, даже и большей геніальности

и много большей духовной силы, но они жили въ тѣ времена, когда всякая красота жизни,— и красота философской мысли, красота научнаго знанія и красота искусства, и даже красота святости, какъ и общественнаго благополучія,—была достояніемъ немногихъ. Л. Толстой, самъ по духу величайшій изъ демократовъ, жилъ и творилъ въ дни, когда демократизація стала охватывать одну за другою всѣ стороны жизни.

Какъ въ лѣсу и въ поляхъ каждый кустъ, каждое дерево, каждый листъ, каждая былинка требуютъ себѣ равныхъ правъ въ пользованіи и лучами солнца, и влагою дождя, и притокомъ воздуха, такъ и народныя массы всѣхъ странъ требуютъ себѣ и свѣта мысли, и солнца правды, и притока правъ. Идетъ демократизація и знанія, науки, демократизація искусства, демократизація народнаго благосостоянія, демократизація правительства и власти. Въ равной степени идетъ и демократизація правды, святости, нравственнаго совершенствованія людей.

Въ былыя, древнія времена легче было быть пророкомъ, духовнымъ вождемъ и учителемъ окружающихъ. Общій урсвень правдопониманія былъ не высокъ. Среди низинъ и холмъ сходитъ за гору. Въ горахъ же Швейцаріи нужно быть Монбланомъ, Юнгфрау, Пилатусомъ, чтобы возвыситься надъ окружающими грядами горъ. Такъ и наше время. Вѣка культуры свое дѣло дѣлаютъ. Общій уровень если не всегда нравовъ, то нравственныхъ запросовъ, требованій и томленій, несомнѣнно, выросъ и растетъ. Теперь отъ правды и отъ проповѣдниковъ, выразителей ея, требуютъ многаго: не личной только правды и не одной даже семейной, домашней, но и правды общественной, государственной, международной, правды законодательной, правительственной, соціальной, политической. И этой многой правды требуютъ многіе. Требуютъ не одни въ томъ или другомъ отношеніи аристократы народовъ, требуютъ массы. Оттого, когда яснополянскій художникъ-романистъ, отло-

живъ перо беллетриста, взялся за кирку нравственнаго рудокопа, который въ тайникахъ человѣческой души сталъ искать алмазы и жемчуга правды, за идейною работою художника-мудреца, за поисками его духа съ напряженнымъ вниманіемъ стали слѣдить сотни тысячъ и даже милліоны людей самыхъ разныхъ народностей во всѣхъ концахъ міра.

Мы, русскіе, по особымъ нашимъ политическимъ условіямъ, по стѣсненному положенію печати, знаемъ о духовной работѣ Л. Толстого меньше даже, чѣмъ за предѣлами Россіи. Въ англо-саксонскомъ мірѣ, въ Великобританіи, въ Сѣверной Америкѣ, въ Австраліи, въ Индіи, даже въ Японіи, вездѣ, гдѣ говорятъ и читаютъ по-англійски, сочиненія Льва Толстого, въ переводахъ, расходились и расходятся буквально сотнями тысячъ. Знаютъ и читали Л. Толстого и китайцы, и арабы, и персы, и христіане, и буддисты и магометане, культурные и просвѣщенные люди и низы,—народныя массы. Мнѣ приходилось бесѣдовать о Толстомъ съ крестьянами въ Швейцаріи, съ каменотесами въ Италіи, съ парикмахеромъ въ Болгаріи. Всѣ они были убѣжденные и горячіе сторонники ученія Толстого.

И этотъ повсемѣстный, міровой интересъ къ Л. Толстому, къ его сочиненіямъ второй половины жизни вполнѣ естественъ и понятенъ. Растетъ не только человѣчество въ его цѣломъ, въ общей массѣ,—растетъ и отдѣльная личность. Человѣчество уже не то, какъ во время Камбизовъ, Ксерксовъ и Чингисъ-хановъ, когда его сбивали въ кучи и гоняли съ мѣста на мѣсто, какъ стадо скота. Стадность скота пропадаетъ, съ каждымъ днемъ таетъ, какъ снѣгъ на солнцѣ. Каждый человѣкъ начинаетъ опознавать свою личность, и эта личность требуетъ шири, простора для себя, начинаетъ обсуждать свое положеніе къ отношенію къ окружающимъ ее учрежденіямъ и отношеніе этихъ учрежденій къ личности. Встаютъ у массъ вопросы объ отношеніи государства и церкви къ обществу, какъ къ собранію личностей, къ ихъ личности, какъ къ отдѣльной, самоцѣн-

ной единицѣ. Государство и церковь, это—стороны рамки, которая своими размѣрами опредѣляетъ величину, а потому отчасти даже и характеръ самой картины. Ставится предѣлъ рамкою картинѣ:

— Вотъ до сихъ поръ,—не далѣе. Въ такихъ именно размѣрахъ и формѣ,—не иначе.

Картинѣ-личности, съ ростомъ ея самосознанія, становится тѣсно, неловко, неудобно въ этихъ рамкахъ-границахъ, и рождаются сначала тревожные, а затѣмъ и болѣе смѣлые думы-вопросы:

— Что важнѣе, цѣннѣе: рамки картины или картина-личность?

И понятно, что такому великому богатырю духа, ума и совѣсти, какъ Льву Толстому, сильнѣе чѣмъ кому-либо, стало тѣсно въ историческихъ оглобляхъ государства и церкви.

Г. Петровъ.

СВЕРШИЛОСЬ.

Все кончено. Всѣ мы къ этому готовились. И все-таки это страшный ударъ. Что-то великое оторвалось и безвозвратно ушло. Тамъ, гдѣ было живое средоточіе общей любви, гдѣ билось сердце, отдававшее ее во всѣ страны міра, всѣмъ людямъ, въ настоящее и будущее,—тамъ теперь недвижный комокъ матеріи, которая будетъ разлагаться. Узелъ развязался. И какъ будто пустота вокругъ каждаго... связи порваны, что-то чуждое охватываетъ...

Но это лишь мгновеніе. Жизнь только форму перемѣнила. И разрушена только небольшая часть того, что былъ онъ. Тотъ вихрь силъ, чувствъ, переживаній, мыслей, который росъ, ширился, захватывалъ его самого, людей близкихъ и дальнихъ, все шире и глубже, онъ не остановился, онъ живетъ и будетъ жить. И онъ не измѣнится.

Мы чувствуемъ и видимъ и переживаемъ свѣтъ, исшедшій въ незапамятное время отъ звѣздъ, которыя, быть можетъ, уже не существуютъ или померкли.

Онѣ живутъ еще. И онъ живъ и будетъ жить. И смерть его великій актъ жизни.

Сколько насъ на землѣ въ эту ночь не спало, ожидая вѣстей объ немъ. Сколько насъ объединено въ это мгновеніе однимъ чувствомъ, однимъ порывомъ.

Мы всѣ въ эти минуты друзья и братья ... одна семья
Не одна радость соединяетъ раздѣленныхъ...

Онъ былъ великій художникъ, великій писатель. Но если бы онъ говорилъ языкомъ ангеловъ, не имѣя любви, чѣмъ бы былъ его голосъ?!.,.

Да, онъ не былъ бы тогда отверженнымъ для сильныхъ страны родной. Его слова и рѣчи не вызывали бы каръ и возмездій. Его близкіе не подвергались бы гоненію... Но онъ жилъ бы для немногихъ, предметомъ любованія знатоковъ, ничѣмъ не жертвующихъ ни злобѣ, ни любви. И онъ ушелъ бы изъ міра, не согрѣвъ его.

Другъ, братъ, учитель и страдалецъ, ты горѣлъ любовью къ истинѣ, любовью къ людямъ, ты стремился къ правдѣ и звалъ къ ней въ неустанномъ порывѣ.

Послѣднимъ шагомъ своимъ ты ушелъ отъ лжи и торжествующаго насилія и смертью вступилъ въ безсмертіе.

Доколѣ не закоснѣютъ въ людяхъ сердца отъ скупой злобы, будешь ты жить, дорогой и любимый.

Останки твои приметъ родная земля. И именемъ твоимъ будетъ гордиться народъ твой. Обращаясь во всѣ страны міра,—ко всѣмъ племенамъ и народамъ, скажетъ родина: Вотъ истинный сынъ мой, проповѣдникъ любви и мира. Съ нимъ вѣра, и печаль, и сердце мое и съ его друзьями и братьями, съ угнетаемыми и гонимыми.

А гонители... Въ этотъ часъ скорби не объ нихъ рѣчь.

Ф. Родичевъ.

ТОЛСТОЙ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ.

Душа его отлетѣла; но въ твореніяхъ душа Толстого остается съ нами... Что не отразилось въ нихъ? Отъ колыбели до гроба, отъ царя до крестьянина, отъ подвижниковъ Александра I до треволненій начала XX вѣка все живетъ, дышитъ, говоритъ, думаетъ въ его великихъ созданіяхъ. Это—цѣлая культура. Съ его живого образа, который отъ насъ ушелъ, мы должны перенести свою любовь на его книги,—перечитать ихъ, пережить, перечувствовать; должны многое воплотить въ своей нравственной личности и жизни. За послѣдніе годы волненіе, образовавшееся около Ясной Поляны, нѣсколько задвинуло собою отъ глазъ повседневнаго читателя первыя классическія его произведенія, особенно „Войну и миръ“, которая даже подернулась точно пылью археологіи. Но вѣчно жива и молода эта „Война и миръ“,—и пыль нагнала на нее наша беззаботность, наша сутолока и толчея общественная, наше легкомысліе и невниманіе. Теперь пришло время сдуть эту пыль. Пусть Толстой встанетъ передъ нами именно въ этомъ самомъ обширномъ и самомъ законченномъ своемъ твореніи,—въ твореніи самомъ историческомъ. Именно оно, своимъ содержаніемъ, открываетъ ту удивительную эпопею русскаго общества и отчасти даже народа русскаго, каковою являются всѣ его произведенія, ихъ сумма. „Война и миръ“—главный корпусъ этой обширной, сложной и разнообразной постройки; къ нему прибавлялись флигеля, этажи. Въ „Аннѣ Карениной“, „Власти тьмы“, „Плодахъ просвѣщенія“, „Воскресеньи“,—раньше въ „Очеркахъ Севастополя“, „Дѣтствѣ и отрочествѣ“, „Казакахъ“, „Двухъ гусарахъ“ и другихъ мелкихъ разсказахъ—дана исторія русскаго общества, всѣхъ ярусовъ, всѣхъ классовъ, за цѣлое столѣтіе, отъ первыхъ его лѣтъ и до послѣднихъ. Вотъ эта-то исторія общества и принадлежитъ нашему изученію. На ней мы можемъ воспитаться въ самозознаніи. Никто такъ обширно не творилъ, какъ онъ: около

его картинъ созданія другихъ нашихъ поэтовъ и художниковъ являются картинками, рисуночками, лишь тамъ и здѣсь дополняющими великую эпопею Толстого.

Между Пушкинымъ и Гоголемъ онъ всталъ, склонившись всецѣло къ Пушкину и не имѣя почти ничего Гоголевскаго. Именно живопись Толстого своимъ положительнымъ отношеніемъ къ русской исторіи и русской жизни уравновѣсила геніальныя отрицанія Малоросса Гоголя; уравновѣсила, притупила и сгладила. Толстой слишкомъ насъ убѣдилъ, что Россія — не страна „мертвыхъ душъ". Духовная красота лицъ, имъ выведенныхъ, тонкость ихъ быта и образовъ, сложность ихъ духовной жизни — отъ семьи Болконскихъ и Ростовыхъ до вѣчно мятущагося Левина,—такъ велика, что ею зачаровалась и Европа. И никто дерзкій не повторитъ сейчасъ, что Россія создаетъ только типы Чичикова да Собакевича.

Толстой—положительный писатель. Онъ—творецъ положительныхъ идеаловъ въ жизни. Эта его положительная сторона своимъ талантомъ, геніемъ сводитъ на „нѣтъ" отрицанія послѣднихъ годовъ, какія онъ высказывалъ; высказывалъ уже слабѣющимъ голосомъ и нетвердою рукою.

Нравственный міръ или, вѣрнѣе, нравственное море, волновавшееся около Толстого, имѣетъ также ясное въ себѣ средоточіе: это—вѣра въ душу человѣческую, которая стоитъ выше царствъ, учрежденій, законовъ, политики, борьбы партій, всего... Отъ Платона Каратаева въ „Войнѣ и мирѣ" до старичка Акима во „Власти тьмы" онъ пронесъ одинъ и тотъ же идеалъ: кроткаго человѣка, покорнаго волѣ Божіей. Никогда Толстой не замѣшалъ себя иначе чѣмъ на минуту ни въ одну партію, ни въ одно „направленіе общественной жизни", сочувствуя многому здѣсь, но ничему вполнѣ не отдаваясь. Единственно, чему онъ себя отдалъ — это красотѣ души человѣческой, непритязательной, простой, обыкновенной...

В. Розановъ.

ТОЛСТОЙ УМЕРЪ.

...Творецъ вселенной!
Услышь мольбы полнощной глась
Когда тобой опредѣленный
Настанетъ мой послѣдній часъ,—
Пошли мнѣ въ сердце предвѣщанье!
Тогда покорною главой,
Безъ малодушнаго роптанья,
Склонюсь предъ волею святой.
Въ мою смиренную обитель
Да придетъ ангелъ разрушитель,
Какъ гость издавна-жданный мной,
Мой взоръ измѣритъ великана;
Боязнью грудь не задрожитъ,
И духъ изъ дольнаго тумана,
Полетомъ смѣлымъ воспаритъ.

Хомяковъ.

Толстой умеръ... Какъ охнетъ вся Россія, какъ вздрогнетъ весь міръ отъ этой вѣсти. Ну, да! Можно было ожидать... Конечно... Онъ старъ... Болѣзнь серьезная... Но выговаривали это принужденно. Но какая-то страстная сила заставляла толковать извѣстія въ благопріятную сторону, цѣпляться за десятыя доли понизившихся градусовъ жара... Какъ инстинктиво шарахаешься отъ самой смерти, такъ сознаніе отшатывало отъ возможности такого ужаса, такого отчаянья для людей—Толстой умеръ!

Что на землѣ можетъ остаться равнаго этой утратѣ? Чѣмъ можно—не утѣшить, не заглушить тоску—но хоть заслонить, отвлечь... Толстой умеръ!

Художникъ геній. Мудрецъ геній. А сердце! Это сердце, мы видѣли, было выше міровой славы, сильнѣе всемірнаго поклоненія... И Толстой умеръ?

Вотъ въ самой непомѣрности-то этого ужаса и проступаетъ для безсильнаго человѣческаго отчаянья какая-то грозная убѣдительность... Кто, кромѣ Бога, могъ бы тронуть

его жизнь? Сколько лѣтъ ничья рука не рѣшалась посягнуть на эту святыню.

Почуявъ „въ сердцѣ предвѣщенье“, этотъ самый великій среди всѣхъ людей захотѣлъ уйти отъ нихъ. Онъ почувствовалъ, что все огромное земное его дѣло свято выполнено, что настало время послѣдняго подвига, простого и величаваго подвига—идти, идти навстрѣчу смерти, которая приведетъ къ Богу. И „ангелъ-разрушитель“ всталъ передъ Толстымъ и какъ бы въ назиданіе всѣмъ въ Россіи, всему міру, на первыхъ же шагахъ остановилъ его, сказавъ: „Ты готовъ. Ты уже достоинъ. Отыди въ славу Господа Твоего“.

Толстой умеръ... И смерть великаго Толстого на глухомъ перепутьѣ, сразу привлекшемъ къ себѣ взоры всего міра,—поразительна и достойна его жизни.

Мих. Стаховичъ.

САМЫЙ СВОБОДНЫЙ.

Л. Н. Толстой запечатлѣлъ въ своихъ произведеніяхъ все то великое и прекрасное, что есть въ русской жизни, все „русское, доброе и круглое“,—употребляю его выраженіе о Платонѣ Каратаевѣ, который служилъ олицетвореніемъ этого „русскаго, добраго и круглаго“, и не пропустилъ ничего скорбнаго, глупаго и злого, чтобы не осудить его.

Работая, онъ сталъ такимъ сильнымъ богатыремъ, что никто не смѣлъ его тронуть въ его творческой свободѣ. Это первый и единственный русскій писатель, который раньше всѣхъ испытывалъ полную свободу на русской землѣ и жаловался не на то, что его преслѣдовали, посылали въ ссылку, сажали въ тюрьму, жаловался на то, что его оставляли въ покоѣ за то самое, за что столь многіе до него и при немъ много пострадали. Онъ былъ исключеніемъ изъ общаго правила, какъ геній; онъ явился монар-

хомъ въ русской современной литературѣ, если не самодержавнымъ, то ограниченнымъ только относительно изданія своихъ богословскихъ и нѣкоторыхъ публицистическихъ сочиненій. Какъ художникъ, какъ романистъ, онъ былъ самымъ самодержавнымъ и благодѣтельнымъ монархомъ; онъ зналъ только свой собственный судъ и пользовался неограниченной свободой. Съ самаго дѣтства онъ окруженъ былъ такимъ довольствомъ и счастьемъ, какимъ рѣдко пользовался геніальный человѣкъ, и подходитъ къ концу жизни такимъ же счастливцемъ. Жизнь его эпическая поэма безъ потрясающихъ трагическихъ сценъ, безъ того ужаса, который угнеталъ душу геніальныхъ людей и держалъ ее въ цѣпяхъ и мучилъ. Въ сравненіи съ нимъ, какъ былъ несчастливъ и несвободенъ величайшій русскій писатель, Пушкинъ, не только въ своемъ творчествѣ, но и въ своей жизни, даже въ своихъ матеріальныхъ средствахъ. Даже отъ нихъ зависѣло его творчество. Отлученіе отъ церкви или вчерашній указъ Св. Синода, осуждающій „учительную“ литературу Толстого, но признающій его „однимъ изъ великихъ писателей не только русской, но и всемірной литературы“, губернаторскія распоряженія не праздновать его юбилея, конечно, изъ боязни нарушенія „общественнаго порядка“,— это даже едва ли булавочные уколы въ сравненіи съ тѣмъ, что испытывалъ Пушкинъ.

Его художественная дѣятельность поистинѣ чиста и нравственна, какъ кристаллъ. Въ ней нѣтъ ни одного пятна. Самый придирчивый человѣкъ не найдетъ въ ней ничего безнравственнаго. Нигдѣ онъ не позволилъ себѣ ничего соблазнительнаго, кромѣ добра и красоты, которыми только и соблазнительны его произведенія.

Говорятъ, въ „Войнѣ и Мирѣ“ была одна сцена между Пьеромъ Безухимъ и Эленъ, сцена очень чувственная, но превосходно написанная. По просьбѣ графини Софьи Андреевны, онъ сцену эту выпустилъ и рукопись ея хранится [illegible]. Въ „Воскресеніи“ есть сцена въ

церкви, которую онъ не хотѣлъ пускать въ печать по просьбѣ сестры своей, монахини, Марьи Николаевны. Но Чертковъ въ своемъ усердіи напечаталъ ее въ заграничномъ изданіи этого романа; сцена эта только для любителей запрещеннаго, художественной цѣны не имѣетъ. Да, весь художественный Толстой въ высокой степени нравственный, чистый и даже религіозный тою религіозностью, которая ищетъ Бога и вѣритъ въ него, хотя и не по-церковному. Толстой писалъ такъ, чтобъ ни оскорбить ни одной невинной души и вмѣстѣ съ тѣмъ оставаться глубоко правдивымъ.

Я утверждаю, что Толстой патріотъ. Читайте „Войну и Миръ". Это наша Иліада, полная высокой нравственности, русскаго національнаго чувства, патріотизма. По „Войнѣ и Миру" будутъ русскіе долго учиться любви къ родинѣ и почитанію тѣхъ народныхъ свойствъ, которыя не называются иначе, какъ патріотическими Толстой написалъ потомъ брошюру противъ патріотизма, но ея доводы ничто въ сравненіи съ чудесными по красотѣ своей и убѣдительному патріотизму картинами и размышленіями „Войны и Мира". Вездѣ въ этомъ романѣ чувствуется именно русскій человѣкъ, русская правдивая и искренняя душа, любящая Россію. Къ иностранцамъ, не только къ тѣмъ, которые служили въ русской службѣ, но и вообще къ нимъ Толстой относится съ явною, иногда злою иронією. Онъ какъ будто мститъ Наполеону за его набѣгъ на Россію, безпощадно третируя его личность. Устами Андрея Болконскаго онъ говоритъ о Барклаѣ: „Пока Россія была здорова, ей могъ служить и чужой, но какъ только она въ опасности, нуженъ свой, родной человѣкъ". Извѣстно, какъ защищаетъ Толстой Кутузова и какъ художникъ, и какъ историкъ-мыслитель. „Для русскихъ людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будетъ подъ управленіемъ Французовъ въ Москвѣ. Подъ управленіемъ Французовъ нельзя быть: это было хуже всего... Та барыня, которая

еще въ іюнѣ мѣсяцѣ со своими арапами и шутихами поднималась изъ Москвы въ саратовскую деревню, съ смутнымъ сознаніемъ того, что она Бонапарту не слуга, и со страхомъ, чтобъ ее не остановили по приказанію Растопчина, дѣлала просто и истинно то великое дѣло, которое спасло Россію". Такъ могъ говорить только глубокій русскій человѣкъ".

Для меня несомнѣнно, что „Война и Миръ" завоюетъ вѣка въ русской литературѣ и еще дождется своей оцѣнки, которой лишенъ былъ до сего времени этотъ удивительный романъ. Если правда то, что говорятъ о романѣ или повѣсти „Хаджи Муратъ", то весь XIX вѣкъ изобаженъ Толстымъ въ „Войнѣ и Мирѣ, „Хаджи Муратѣ", „Аннѣ Карениной" и „Воскресеніи". Вся наша новѣйшая исторія, всѣ наши доблести, пороки и заблужденія. И сколько не только таланта, но и ума, превосходныхъ замѣчаній, бьющихъ своей правдою или остроуміемъ мыслей, и какимъ роскошнымъ русскимъ языкомъ все это написано!

А. С. Суворинъ.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВѢКА.

Левъ Николаевичъ Толстой вышелъ изъ міра. То великое безпокойство, которое въ немъ горѣло, не гасло и не опаляло, какъ пламя въ Неопалимой Купинѣ, въ послѣдніе дни его жизни преобразилось въ голосъ. Этотъ голосъ позвалъ великаго старца и сказалъ ему: „Иди!".

— Безъ одра и безъ посоха и безъ лишней одежды иди отсюда!..

И Толстой ушелъ.

Ночью ушелъ, пѣшкомъ, по осеннему снѣгу и слякоти, не простившись съ близкими.

Куда,—мы не знаемъ. Быть можетъ, онъ къ міру тя-

нулся, въ послѣдній разъ хотѣлъ исходить своими старыми ногами родную Россію, подобно тому, какъ сказано поэтомъ:

Истомленный ношей крестной,
Всю тебя, страна родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ, благословляя.

Или онъ стремился въ уединеніе, въ пустыню...

Мы не знаемъ и не можемъ сказать. Но мы должны знать и должны сами себѣ сказать: Толстому некуда было уйти, въ нашемъ мірѣ Толстому не оставалось мѣста. Мы сами своими дѣлами и приговорами изгнали Толстого изъ жизни, и также изъ церкви, и еще изъ государства. Къ его великимъ и прекраснымъ мыслямъ въ видѣ напутствія мы примѣшали страшный кошмаръ о намыленной веревкѣ, перетянувшей старую шею. Мы все у него отняли, что могли отнять, только оставили ему родное гнѣздо, какъ послѣднее убѣжище. И когда онъ вышелъ изъ убѣжища, ему не осталось мѣстечка, куда ногу поставить на нашей широкой землѣ. Кончина его есть логическій исходъ, единственное завершеніе послѣдняго странствія. Нашъ міръ извергъ и не принялъ Толстого. Толстой удалился по ту сторону міра.

Онъ умеръ на первомъ этапѣ въ чужой комнатѣ, на чужой постелѣ. Лежалъ въ забытьи и грезилъ о безвѣстности и тайнѣ. Кругомъ толпились жадные, безпокойные люди, ночью и днемъ, безъ сна, безъ отдыха, корреспонденты, стражники, монахи. Тянулись къ нему, какъ живыя щупальца, ловили каждый звукъ и передавали въ разные концы земли, по проволокамъ, будто по нервамъ изъ стали. Стучалъ телеграфъ по казеннымъ и частнымъ заказамъ. Писались статьи, бюллетени и рапорты. Вставали вопросы о полосѣ отчужденія, объ усиленномъ подвозѣ припасовъ, о прописке паспортовъ. Сыпались приказы одинъ корректнѣе другаго. И самый корректный изъ всѣхъ

о томъ, что если бы Толстой появился въ какой-нибудь деревнѣ безъ паспорта, то не чинить ему затрудненій Подумайте: Левъ Толстой и непрописанный паспортъ!..

Вмѣсто кирпичныхъ стѣнъ и кровли астаповскаго дома Толстой умиралъ подъ стекляннымъ колпакомъ на зрѣлище землѣ. Пришлые люди жили въ вагонахъ, бѣгали кругомъ съ перомъ въ зубахъ и портфелемъ подмышкой, фотографы дѣлали снимки, а приставъ дѣлалъ военные смотры. Надъ тѣломъ Толстого боролись, душу его съ разныхъ сторонъ желали уловить до послѣдней минуты... Но душа Толстого безсмертна. Это—самая безсмертная, самая крылатая изъ душъ. Какъ намъ уловить ее въ наши немудрыя сѣти? Когда пришло ея время, она воспарила спокойно и плавно, какъ бѣлый орелъ, и скрылась въ небесахъ.

Мелкая станція Астапово, это—какъ символъ великой Россіи, Левъ Толстой, это—символъ русскаго народа. Все, что есть лучшаго въ русскомъ народѣ, воплотилось въ Толстомъ. Великъ народъ и оттого великъ Толстой.

Плоть отъ плоти нашей, духъ отъ духа нашего, фокусъ русской духовности, вмѣстившій въ себѣ всѣ лучи отъ лѣваго и даже до праваго предѣла, отъ яркаго и алаго огня до жуткаго фіолетоваго мрака.

Среди нашего паденія и унылаго безвременья мы могли бы гордиться Львомъ Толстымъ, если бы гордость не была такъ несовмѣстима съ мудростью великаго учителя.

Великимъ напряженіемъ своихъ духовныхъ силъ русскій народъ создалъ эту прекрасную душу, кристальное зеркало своей собственной многообразной души и воплотилъ ее въ жизнь на удивленіе міру. Ибо въ Толстомъ при жизни и по смерти передъ глазами міра выросла новая русская сила, неоффиціальная и противоположная силѣ оффиціальной. Плѣнная сила, покорная, кроткая, только словомъ укора встрѣчающая зло, почти безпомощная, и такая огромная, о, такая сверхчеловѣчески прекрасная! Ея лицо поднялось надъ россійской околицей, видимое людямъ

и, быть-можетъ, ангеламъ. Ея глубокіе глаза заглянули за всѣ горизонты земли, въ Америку и въ Индію, и въ Африку. Ея зовы запали въ душу ближнимъ и дальнимъ, баптистамъ и буддистамъ, духоборамъ и католикамъ, мусульманамъ и язычникамъ. Ея отреченіе встало примѣромъ для старыхъ и юныхъ, ибо она отъ всего отреклась, узы своего плѣна сбросила вмѣстѣ съ ризами жизни и ушла свободная.

Плѣнительный уходъ. На Западѣ люди такъ уходить не умѣютъ. Вожди человѣчества тамъ умираютъ порой случайно и странно, какъ умеръ Эмиль Зола, или, доживъ до конца, всю силу изживъ, подводятъ послѣдній итогъ отравой и пулей, какъ сдѣлали Гумпловичъ и Петтенкоферъ. Такъ, какъ Толстой, уходятъ изъ жизни восточные люди,—Сакіа-Муни или индійскій сановникъ Пурунъ-Бхагатъ въ прекрасномъ разсказѣ Редгарда Киплинга, который двадцать лѣтъ былъ возрастающимъ юношей, двадцать лѣтъ — воиномъ и двадцать лѣтъ—главой семьи, а потомъ стряхнулъ богатство и величіе, какъ соръ, и ушелъ по дорогѣ босыми ногами, съ посохомъ странника и чашкой нищаго въ рукахъ.

Но Сакіа-Муни и Пурунъ-Бхагатъ ушли безстрастно и спокойно, кахъ статуи живыя, души изваянныя изъ плазмы духовной, твердой, какъ мраморъ. Нити жизни рвались за ними, какъ паутина, и близкіе плакали сзади, и они даже не замѣчали.

Въ послѣднихъ минутахъ Толстого плѣняетъ иное,—эта глубоко-человѣческая слабость, мука о близкихъ, тайное бѣгство, поспѣшность. Его дорога—словно Голгоеа, каждое слово прощальной записки—будто моленіе о чашѣ.

Въ образѣ Толстого, великомъ и кроткомъ, и мудромъ, не хватало этой послѣдней черты,—слабости нашей, томленія нашего, покинутости нашей. Онъ пережилъ ихъ передъ смертью, и теперь его образъ законченъ. Ушелъ Толстой и дошелъ,—дошелъ, куда надо...

Вотъ настоящая „Жизнь Человѣка",—лучшая Жизнь Человѣка, какая была на нашихъ глазахъ на землѣ.

Сакіа-Муни умеръ на горныхъ вершинахъ, для насъ недоступныхъ, и даже не умеръ, какъ умираютъ прочіе люди,—преобразился и слился съ Нирваной, растаялъ въ безднѣ. Толстой умеръ среди насъ, на землѣ, по нашему умеръ. И до послѣдней минуты отъ него не была отнята ни единая забота, не отведена послѣдняя стрѣла, замирающая боль торопливаго предсмертнаго укола. Словно наслѣдники, всѣ мы стояли кругомъ его ложа и спѣшно заявляли притязанія свои, и все торопились, боялись: вотъ умретъ, не услышитъ. Онъ умеръ тихо и спокойно. И послѣднія слова его были: „Много на свѣтѣ милліоновъ страдающихъ, а вы заботитесь только объ одномъ Львѣ Толстомъ".

И оттого кончина Толстого, это—огромный урокъ, самая великая побѣда, какую старый боецъ и учитель, Левъ Николаевичъ Толстой,—Левъ-агнецъ,—одержалъ на своемъ многолѣтнемъ пути.

Смерть Толстого, это—побѣда надъ смертью, великимъ противникомъ. Сломлено жало ея и вынуто прочь. Жало осы ядовитой стало какъ жало пчелы, уязвившей и павшей.

Страшный противникъ стоитъ у дверей и еще не отходитъ. Онъ не знаетъ колебаній и не слушаетъ просьбъ. Онъ казнитъ безъ суда всѣхъ по порядку, виноватыхъ и правыхъ,—не дастъ вздохнуть , помѣшаетъ проститься съ родными. И нельзя намъ жалобу подать, заявить коллективный протестъ. Нѣтъ словъ такихъ, только каждое дыханіе и взглядъ есть протестъ противъ неумолимаго врага.

Какъ намъ бороться съ тѣмъ, что всесильно надъ нами? Есть только одно средство,—жить не въ себѣ, а въ другомъ, подставить шею подъ ножъ и принять ударъ, но устремить погасающій взоръ наружу, вонъ изъ личнаго *я*, погрузиться послѣдней мыслью въ общую мечту или въ общее страданіе, или въ общую надежду, и такъ ускользнуть изъ бренности, случайной и личной. Такимъ путемъ каждый изъ

насъ станетъ такъ же безсмертенъ, какъ безсмертенъ Толстой.

Ибо Толстой со смертью своей сталъ безсмертенъ навѣки. Онъ не нуждается въ памятникѣ. Гдѣ взять бронзу, какой мраморъ найти, чтобы вырубить памятникъ?

Какую устроить больницу или школу во имя Толстого? Надо было бы всю землю передѣлать въ школу, всѣхъ дѣтей напоить его ученіемъ, какъ новымъ и свѣжимъ виномъ, личной силой, исходящей отъ каждой строки, отъ каждаго слова, отъ каждой мысли почившаго.

Но я вѣрю, что Толстой будетъ жить въ насъ не безлично, а лично, воплотится во многихъ изъ насъ, или хотя бы въ немногихъ. И, быть-можетъ, уже родилось дитя, которое вырастетъ въ нашу черную и страшную эпоху и приметъ въ себя великую мощь, всю полноту и плодоносность русскаго и человѣческаго духа, которая только что почила въ Толстомъ. Ибо преемственность духа не почіетъ и не умираетъ.

Не надо возглашать Толстому „вѣчная память“. Онъ живъ, онъ вѣчно живетъ съ нами и въ насъ.

Тамъ.

СВѢТЛОЙ ПАМЯТИ.

Великая любовь, великая совѣсть, великій разумъ—вотъ чѣмъ былъ Толстой, какъ человѣкъ, для людей и для міра. И нѣтъ въ мірѣ такой страны, хотя бы только съ зарождающейся культурой, гдѣ не было бы сторонниковъ Льва Николаевича и имя его не было бы окружено отвѣтной любовью и уваженіемъ.

Свой исключительный художественный талантъ Толстой отдалъ на проповѣдь добра и любви, и впервые заговорилъ мыслитель не съ одними избранниками, а со всѣмъ наро-

домъ на языкѣ простомъ и понятномъ всякому, о вопросахъ для всѣхъ, для всѣхъ несущимъ въ самой жизни: о горѣ, о нуждѣ, о вѣрѣ, о жизни и правдѣ, стремясь слова свои связать со своими поступками.

Отрѣченіе, отрѣченіе, отрѣченіе—вотъ вѣчный спутникъ провозвѣстниковъ правды и любви.

Въ поступкахъ смѣлыхъ правдивыхъ и добрыхъ другіе люди нерѣдко чувствуютъ себѣ укоръ. Вотъ почему такъ часто и охотно осуждается многое хорошее, выдающееся за предѣлы обыденнаго. И чѣмъ болѣе отрѣкался Толстой отъ благъ жизни, тѣмъ болѣе изъ его жизни выросталъ укоръ другимъ людямъ, и тѣмъ болѣе сыпалось на него обвиненій въ неискренности со стороны чуждыхъ ему темныхъ силъ, видящихъ свое счастіе только въ богатствѣ, власти и роскоши.

Терпѣливо и внимательно читалъ и выслушивалъ Л. Н. всѣ эти озлобленныя выходки, нерѣдко угрозы, оскорбленія и площадную брань, думая не о себѣ самомъ, но о тѣхъ, которые могли бы пострадать отъ этого—изъ-за него.

Сотни тысячъ людей со всего свѣта обращались къ нему лично и письменно и на все получали отвѣты Обращались къ нему съ отвлеченными вопросами, обращались крестьяне съ своими дѣлами, обращались всякіе люди съ общественными, семейными и личными дѣлами, съ „проклятыми вопросами", потому что чувствовали въ немъ близкаго и искренняго человѣка.

Пока онъ былъ живъ, всѣ знали, что живетъ онъ въ Ясной Полянѣ, ѣздитъ верхомъ, гуляетъ, работаетъ, и въ то же время, не переставая, думаетъ о всѣхъ людяхъ и рѣшаетъ, какъ бы за всѣхъ насъ, самые серьезные и важные вопросы и рѣшаетъ ихъ не холоднымъ умомъ, какъ философъ, возводящій стройную систему, но душою и сердцемъ, и оттого всякая написанная имъ новая строчка читалась во всемъ мірѣ съ такимъ захватывающимъ интересомъ.

И вотъ ушелъ отъ насъ великій гражданинъ міра. Мо-

жетъ-быть, самый великій изъ всѣхъ живущихъ, ушелъ, сознательно, готовый къ этой перемѣнѣ бытія.

Вотъ его собственныя слова, напечатанныя въ прошедшемъ году въ „Друкарѣ“:

„Ничего нѣтъ вѣрнѣе смерти, того, что она придетъ для всѣхъ насъ. Смерть вѣрнѣе, чѣмъ завтрашній день, чѣмъ наступленіе ночи послѣ дня, чѣмъ зима послѣ лѣта. Отчего же мы готовимся къ завтрашнему дню, къ ночи, къ зимѣ, а не готовимся къ смерти? Надо готовиться и къ ней. А приготовленіе къ смерти одно: добрая жизнь. Чѣмъ лучше жизнь, тѣмъ меньше страхъ смерти; и тѣмъ легче смерть!“

Не стало великаго человѣка, великаго не только талантомъ, но любовью и правдой, не стало титана, несущаго тяжесть жизни, не стало доступнаго всѣмъ друга и мыслителя, который все пойметъ и на все отвѣтитъ „не за страхъ а за совѣсть“.

Со смертью его тяжелѣй стало жить, страшнѣе передъ жизнью и смертью, такъ какъ вся жизнь его была одной великой любовью и въ этой жизни у него былъ единственный врагъ—Зло, съ которымъ онъ боролся кротостью и добромъ.

Наши потомки за то, что мы, теперешніе люди, жили одновременно съ Толстымъ, будутъ называть насъ счастливыми. Къ тѣмъ же, кто отрицательно смотритъ на этого великаго старца и мудреца, обращаю божественныя слова Евангелія:

„Не судите и несудимы будете“.

Н. Телешовъ.

КОНЕЦЪ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Послѣ кончины великаго человѣка отъ пережившихъ его современниковъ обыкновенно ждутъ оцѣнки его жизни и дѣятельности. Но обстоятельства кончины Л. Н. Толстого,

совершенно исключительныя, единственныя въ своемъ родѣ, невольно направляютъ мысль въ другую сторону. Въ эту первую минуту скорби о великомъ писателѣ земли русской хочется говорить не о значеніи его жизни, а о значеніи его смерти.

Его конецъ прибавилъ новую, едва ли не самую значительную черту къ его религіозной проповѣди. Если до сихъ поръ Толстой проповѣдывалъ, то въ послѣдніе дни своей жизни онъ обнаружилъ героическую рѣшимость довести до конца служеніе своей религіозной идеѣ.

Не время и не мѣсто входить въ разборъ этой идеи по существу. Для насъ въ данномъ случаѣ интересно не ученіе Толстого, во многомъ спорное, а духовный обликъ писателя и проповѣдника, который за эти послѣдніе дни не только обрисовался, но и выросъ благодаря его уходу.

Было бы въ высшей степени несправедливо и опрометчиво судить Толстого съ точки зрѣнія какого-либо жизненаго идеала, ему посторонняго и чуждаго. Для оцѣнки его личности нужно прежде всего задаться вопросомъ,—остался ли онъ вѣренъ своему собственному идеалу, осуществлялъ ли онъ въ жизни то, чему онъ училъ другихъ, не было ли у него какого-либо расхожденія между словомъ и дѣломъ?

Съ этой точки зрѣнія приходится признать, что конецъ Л. Н. Толстого былъ великимъ для него счастьемъ; своимъ уходомъ, который свелъ его въ могилу, онъ засвидѣтельствовалъ, что онъ готовъ принести своей идеѣ высшую жертву, отдать ей всего себя.

Этимъ онъ обнаружилъ дѣйствительно религіозное отношеніе къ своему служенію. Религія, какова бы она ни была по своему содержанію, есть прежде всего вѣра человѣка въ Безусловное; поэтому она неизбѣжно максималистична въ своихъ требованіяхъ: она ни при какихъ условіяхъ не мирится съ служеніемъ двумъ господамъ и хочетъ господствовать надъ человѣкомъ безраздѣльно и всецѣло. Человѣкъ, вѣрный своимъ убѣжденіямъ, достоинъ

уваженія со всякой точки зрѣнія. Но въ особенности съ точки зрѣнія религіозной заслуживаетъ полнаго одобренія та безграничная преданность вѣрѣ, которая выразилась въ уходѣ Толстого.

Разъ онъ вѣрилъ въ несовмѣстимость индивидуальной собственности съ основными и элементарными религіозными требованіями, онъ долженъ былъ сдѣлать то, что онъ сдѣлалъ. И подвигъ его заслуживаетъ тѣмъ большаго удивленія, что онъ былъ совершонъ въ самой трудной для него обстановкѣ: онъ рѣшился окончательно разстаться съ привычнымъ для него комфортомъ именно въ тотъ моментъ, когда, въ виду преклоннаго возраста, послѣ перенесенной только-что тяжкой болѣзни, это было для него всего труднѣе.

Трагедія этой кончины, очевидно, заключается въ глубокомъ, непримиримомъ противорѣчіи между религіознымъ идеаломъ Толстого и всѣмъ укладомъ современной жизни, общественной и государственной. Для него вся нравственность выражается въ нестяжаніи, въ отрѣшеніи отъ индивидуальной собственности, въ непротивленіи злу. Между тѣмъ весь современный семейный и общественный бытъ покоится на принципѣ личной собственности; вся государственность, какъ таковая, покоится на принужденіи. При этихъ условіяхъ отшельнику изъ Ясной Поляны оставалось искать спасеніе въ бѣгствѣ отъ міра. Но ужасъ его положенія именно въ томъ и заключается, что человѣку его образа мыслей бѣжать некуда. На свѣтѣ не оказалось той обители, куда бы онъ могъ укрыться отъ міра. Отвергнутый комфортъ гнался за нимъ по пятамъ. Заходила рѣчь даже объ устройствѣ для него на станціи Астапово спеціальной вегетаріанской кухмистерской; лѣкарства посылались туда издали; вокругъ него дежурилъ цѣлый консиліумъ врачей. И государство слѣдило за нимъ своимъ недремлющимъ окомъ; начиная съ низшихъ чиновъ полиціи и кончая высшими сановниками государства и вершинами

церковной іерархіи, — всѣ преслѣдовали его своими заботами. И неудача его ухода отъ міра сдѣлалась вопросомъ жизни для несмѣтныхъ полчищъ репортеровъ и корреспондентовъ, которые на ней зарабатывали свой хлѣбъ насущный.

А у него было одно страстное желаніе, одна мечта: уйти отъ людей, уйти отъ славы, уйти отъ государства и остаться наединѣ съ Богомъ. Желаніе это теперь исполнилось, но исполниться оно могло только черезъ смерть. И смерть эта должна всѣхъ насъ заставить задуматься. Ибо каковы бы ни были заблужденія, причуды и чудачества Л. Н. Толстого, смерть его все-таки произошла оттого, что онъ заключалъ въ себѣ нѣчто огромное, чего міръ не вмѣщалъ.

Толстой, безъ сомнѣнія, неправъ во многомъ; но вполнѣ ли онъ неправъ въ своемъ отрицаніи міра? Я думаю, что ни съ точки зрѣнія нравственной, ни съ точки зрѣнія религіозной это врядъ ли многіе рѣшатся сказать. Во всякомъ случаѣ онъ оставляетъ по себѣ въ наслѣдство огромную задачу, коей значеніе подчеркивается его концомъ. Ибо если до сихъ поръ Толстой былъ великимъ писателемъ, то конецъ его, безъ сомнѣнія, сообщаетъ величіе его человѣческому облику.

Кн. Евгеній Трубецкой.

СНЫ.

Какъ мы странно живемъ!

Всегда словно полусонные, почти не видимъ другъ-друга, почти не говоримъ другъ съ другомъ и совершенно другъ-друга не понимаемъ.

— О чемъ мы говоримъ?

— Вы знаете, Трубкинъ выпустилъ повѣсть. Въ изобразительности онъ не уступаетъ Мопассану.

— Говорятъ, будто Трубкинъ обокралъ Мопассана.

— Всѣ кричатъ, что у Мопассана, на повѣрку, не оказалось никакой изобразительности, а вся изобразительность у Трубкина.

Клубокъ катится дальше, клейкій и липкій, собираетъ весь соръ на своемъ пути, растетъ и пухнетъ.

Вялые языки полусонныхъ людей плетутъ дырявую сѣтку. Одинъ что-то лепечетъ, другіе ловятъ полуслова между двумя зѣваками. И вдругъ кто-нибудь крикнетъ спросонья.

Медленно повернутся отяжелѣвшія головы, раскроются слипшіеся глаза:

— А? Что?

— Талантъ! Новый талантъ появился! Великій талантъ!

Невольно заворчатъ разбуженные:

— Еще правда ли? Нѣтъ ли какой ошибки?

И какъ спокойно поворачиваются на другой бокъ, когда ошибка выяснится. Можно спать дальше... Разговариваемъ мы, вообще, очень странно. Больше всего подъ конецъ обѣда, что заставляетъ подозрѣвать психологическій импульсъ словоохотливости. Говоритъ, обыкновенно, каждый свое. Это называется дѣлиться мыслями.

Одинъ скажетъ:

— Вотъ скоро, Богъ дастъ, и мы полетимъ по воздуху.

Другой отвѣтитъ:

— Пятнадцать рублей, а съ металлическими кнопками дешевле.

Третій вставитъ свое слово:

— Ну, что вы все о погодѣ, жизнь и безъ того не весела.

Четвертый обидится:

— Я попросилъ бы васъ не затрагивать честь моей жены!

Тускло поссорятся, не зная изъ-за чего, но горько чувствуя обиду. Да и откуда же узнать, изъ-за чего? У каж-

даго свой сонъ, каждый и говоритъ словами этого сна и совершаетъ поступки, логически вытекающіе изъ тѣхъ причинъ, что были во снѣ.

Заставить людей говорить на одну тему очень трудно. Наши анкеты это показываютъ:

— Ваше мнѣніе о великомъ индійскомъ пути?

— Это для чего? — отвѣчаетъ одинъ. —Для того, чтобы изъ Индіи хлынули на насъ разныя насѣкомыя?

Ему только что приснилось, что черный жукъ укралъ у него сто рублей.

— Великій индійскій путь? Нашли, чѣмъ интересоваться! — возмущается другой.—Лучше бы подумали, какъ еще несовершененъ человѣкъ въ борьбѣ съ природой и животными.

Его во снѣ бодала корова. Есть писатели, которымъ постоянно снится одна и та же тема, одинъ и тотъ же мотивъ. О чемъ ихъ ни спросите, — они подгонятъ свой отвѣтъ къ тому, что имъ хочется сказать, всегда къ одному и тому же.

Теперь, когда сама судьба устроила анкету, это стало особенно замѣтно.

Умеръ Левъ Толстой, и каждый европейскій писатель счелъ своимъ долгомъ высказать нѣсколько глубокихъ и значительныхъ мыслей по этому поводу. Узнавъ, что Толстой ушелъ отъ семьи, Августъ Стриндбергъ сказалъ:

— Я самъ собираюсь уединиться.

Стриндбергу всю жизнь снится, что онъ самъ, что онъ одинокій, великій мыслитель, которому жизнь и люди не даютъ покоя. Онъ очень бы удивился, если бы узналъ, что онъ просто маніакъ, половой психопатъ, всю жизнь разбиравшійся только въ своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ, и что бѣжать ему рѣшительно не отъ кого, потому что всѣ давно сами отъ него разбѣжались. Соотечественники самого Стриндберга въ грустномъ недоумѣніи: посадить ли его въ сумасшедшій домъ, или, просто, поколотить за всѣ тѣ гнус-

ности, которыя онъ взваливаетъ на своихъ друзей, знакомыхъ и близкихъ.

Вотъ разбудили его, спросили, и единственное, что онъ могъ отвѣтить, было:

— Я самъ!

Разбуженный Поль Бурже отозвался совсѣмъ иначе. Собственно говоря, онъ тоже сказалъ „я самъ“, но выразилъ это въ иной формѣ. Дѣло въ томъ, что Поль Бурже нѣсколько десятковъ лѣтъ пишетъ романы на тему своего единственнаго и вѣчнаго сна.

— Elle se donna.

„Мадленѣ было семнадцать лѣтъ. Бѣлокурые волосы обрамляли ея лицо. Было ясное весеннее утро, et elle se donna“. „Мари было тринадцать лѣтъ. Каштановые волосы обрамляли ея лицо. Былъ знойный лѣтній день et elle se donna“. „Фелиси было сорокъ лѣтъ. Черные волосы обрамляли ея лицо. Былъ темный осенній вечеръ, et elle se donna“. „Терезѣ было шестьдесятъ два года. Золотистые волосы обрамляли... et elle se donna“. Когда Поля окликнули, и нужно было сказать о Толстомъ,—Поль былъ откровененъ. Онъ Толстого не одобрилъ.

— Романы Толстого всегда построены безъ обычной технической законченности сюжета. Въ нихъ нѣтъ необходимой схемы: завязки, развитія и развязки. Т.-е. et elle se donna. Дѣйствительно, что же это за романы! Бурже никогда не позволилъ бы себѣ написать „Войны и мира“. Гдѣ же тамъ развитіе? У самого Бурже, напримѣръ, „она встрѣтила графа въ мастерской своего мужа и была холодна съ нимъ, но черезъ двѣ недѣли“...

Здѣсь ясно наблюдается развитіе и даже предчувствуется развязка.

И зачѣмъ только вы его спрашиваете о Толстомъ?

Онъ самъ пишетъ совершенно иначе.

Вотъ скоро замолкнетъ гулъ отъ великаго удара, и мы вернемся къ нашимъ снамъ и тихой болтовнѣ спросонья.

— Ну, къ чему индійскій путь?

— Въ томъ году, когда умеръ Толстой... въ тысяча девятьсотъ... которомъ?

— Девять съ полтиной безъ пересылки.

— Отправляться втроемъ... вредно!

— Рыжіе волосы обрамляли, et elle se donna.

— Я самъ...

Спокойной ночи и лучшихъ сновъ.

Тэффи.

НАДГРОБНОЕ РЫДАНІЕ.

Какое горе! Какое великое горе! Хочется не писать, а опустить голову или руки и плакать.

Но выплакать можно только личное горе, а не всенародное, не міровое. Пусть-же слезы возьмутъ то, что есть въ этомъ горѣ личнаго, у меня, какъ у человѣка, у меня, какъ гражданина и какъ писателя, который безконечно обязанъ Толстому и какъ человѣкъ, и какъ гражданинъ, и какъ писатель. И если стыдно дѣлиться личнымъ горемъ не только съ посторонними, но и съ близкими,—міровое горе обязываетъ соединиться вмѣстѣ съ тѣми, кто сознаетъ, что потеряно въ Толстомъ, и пріобщить хоть на мигъ, хоть однимъ нервомъ сердца черезъ свою печаль къ тому духовному величію, которое заключается для насъ въ этомъ свѣтломъ имени—Толстой.

— Вѣрите-ли въ Бога?—спросилъ Толстой одного изъ моихъ знакомыхъ, который, начиная новую жизнь въ духѣ Толстого, т. е. въ духѣ добра и истины, пришелъ къ нему, чтобы только увидѣть его лицо, услышать его голосъ.—Вѣрьте!—съ засвѣтившимися глазами продолжалъ онъ.—Вѣдь что такое мы, люди и всѣ живущіе? Маленкіе окошечки, черезъ которые Богъ смотритъ на міръ.

Да, всѣ мы—маленькіе окошечки, черезъ которые Богъ смотритъ въ міръ. Но Толстой былъ золотыми вратами, черезъ которыя Богъ входилъ въ міръ. Эти ворота наглухо закрылись и смерть запечатала ихъ на вѣки.

На маленькой станціи, мимо которой идутъ, какъ жилы земли—желѣзныя рельсы и грохочутъ поѣзда, онъ умиралъ съ тѣмъ-же величіемъ, съ которымъ жилъ, негодуя не на смерть, которую чувствовалъ такъ близко у своего изголовья, а на насильниковъ жизни . . . . . не кричалъ о помощи, а болѣлъ о томъ, что милліоны людей остаются болѣе одинокими, безпомощными и несчастными въ часы смерти, чѣмъ онъ, Левъ Толстой.

Смерть его не была неожиданностью. Даже въ этомъ великомъ послѣднемъ порывѣ его чувствовалась тѣнь смерти, которая задѣла его. И онъ не скрылся отъ нея въ своемъ углу, среди близкихъ и домашняго уюта, а въ осеннюю непогоду, въ ледяной дождь и холодъ пошелъ ей навстрѣчу и—побѣдилъ ее.

То, что онъ умеръ на станціи на перепутьѣ къ какой-то новой цѣли—эта послѣдняя черта безсмертія. Куда могъ уйти Толстой? Вся земля для него была бы тѣмъ же самымъ домомъ. Онъ былъ роднымъ всему міру, и міръ, жадный ко всему необычайному, нигдѣ не оставилъ бы его наединѣ съ самимъ собою. Вся трагедія жизни великихъ людей состоитъ въ томъ, что чѣмъ болѣе творческихъ силъ отдаютъ они людямъ, тѣмъ ближе подползаетъ къ нимъ все зло, гонимо ими отъ міра. Толстому страшна была не смерть, а вотъ этотъ послѣдній врагъ. Если онъ не побѣдилъ его для всѣхъ людей, то въ поединкѣ съ нимъ, за обычнымъ кругомъ личной жизни, онъ оказался побѣдителемъ, и въ этомъ помогла ему смерть.

Въ Вестминстерскомъ аббатствѣ на могилѣ Ньютона—простая надпись: здѣсь погребено все, что было смертнаго въ Исаакѣ Ньютонѣ".

Безсмертіе Толстого обезпечено въ вѣкахъ.

Можно только плакать о томъ, что онъ не будетъ дышать, ѣсть, пить и гулять по землѣ, на которой мы имѣли великую честь и счастье жить въ одно съ нимъ время.— Но—жить среди насъ и среди нашихъ дѣтей и внуковъ онъ будетъ вѣчно!

А. Ѳедоровъ.

ТОЛСТОЙ И СОБСТВЕННОСТЬ.

Мнѣ всегда казалось, что самымъ большимъ личнымъ горемъ Толстого была его земельная собственность, отъ которой онъ такъ и не могъ отдѣлаться во всю свою жизнь.

Въ печати еще не было разсказано (но устныя преданія это знаютъ), какъ тяжело чувствовалъ Толстой неправду своего положенія и какую по-истинѣ трагическую борьбу пришлось вынести ему, когда вопросъ о раздачѣ земли былъ поставленъ ребромъ.

Конечно, въ свое время исторія объяснитъ намъ, почему изъ этой борьбы Толстой не вышелъ побѣдителемъ. Но несомнѣнно, что послѣднія сорокъ лѣтъ своей жизни, Толстой никогда не разлучался съ чувствомъ гнетущаго горькаго стыда за свое барское положеніе. Это былъ, въ полномъ смыслѣ слова, тяжелый крестъ великаго писателя и только въ послѣдніе пять-шесть дней своей жизни онъ позналъ радость освобожденія и бросилъ, наконецъ, этотъ крестъ у воротъ Ясной Поляны.

Чтобы понять, насколько чувство стыда овладѣло душой Толстого и какой огонь горѣлъ въ его совѣсти, достаточно перебрать въ памяти хотя бы тѣ эпизоды изъ его біографіи, о которыхъ разсказалъ намъ Бирюковъ. Малѣйшій пустякъ семейной жизни, какой-нибудь именинный обѣдъ или до-

рогіе пояса на дѣтяхъ сейчасъ же били по совѣсти Толстого и уносили его мысль туда, въ деревню, гдѣ дѣти ходятъ полуголыя и гдѣ ихъ бьютъ по головѣ, когда они просятъ ѣсть.

Самъ Толстой въ своихъ писаніяхъ никогда не пропускалъ случая, чтобы изо всей толстовской силы не стегнуть себя за позорную жизнь въ роскоши и довольствѣ. Вспомните, напримѣръ, его послѣдній очеркъ „Три дня въ деревнѣ". Съ какой безпощадной жестокостью, съ какимъ негодующимъ презрѣніемъ онъ противопоставляетъ свою „роскошную" и барскую жизнь жизни крестьянской. Сначала онъ говоритъ о завалившихся хатахъ, объ отнятомъ за недоимки самоварѣ, объ отнятой въ уплату податей телкѣ, о курахъ, которыхъ забрали у бабы въ интересахъ государства, а затѣмъ продолжаетъ:

— „Молча мы (съ докторомъ) доѣзжаемъ до дома. У крыльца стоитъ великолѣпная пара коней цугомъ въ ковровыхъ саняхъ. Кучеръ-красавецъ въ тулупѣ и мохнатой шапкѣ. Это сынъ пріѣхалъ изъ своего имѣнія.

„Вотъ мы сидимъ за обѣденнымъ столомъ, накрытомъ на 10 приборовъ... За большимъ обѣдомъ изъ 4-хъ блюдъ, съ двумя сортами вина и двумя служащими лакеями и стоящими на столѣ цвѣтами, идутъ разговоры.

— Откуда эти чудесные розаны?—спрашиваетъ сынъ.

Жена разсказываетъ, что цвѣты эти присылаются изъ Петербурга какой-то дамой, не открывающей своего имени.

— Такіе розаны по полтора рубля за штуку,—говоритъ сынъ".

Цвѣты за столомъ да еще не купленные, а подаренные—это, конечно, роскошь вполнѣ извинительная. Но Толстой эти розы поставилъ передъ глазами читателя такъ, что онѣ, дѣйствительно, вызываютъ негодованіе.

Между завалившейся хатой и уведенной за недоимки телкой, между солдаткой, самоваромъ и отнятыми курами вдругъ появились прелестныя розы по полтора рубль за

штуку и, конечно, хлеснули по лицу, оскорбили однимъ своимъ цвѣтущимъ видомъ.

Такихъ антитезъ между жизнью барской и крестьянской у Толстого можно найти сколько угодно. „Мы" и „они" — это его любимая тема, это постоянная, гложущая боль его души. И вотъ, при такомъ-то строѣ мыслей человѣкъ всю жизнь свою тащилъ на плечахъ бремя Ясной Поляны. Сорокъ лѣтъ мучительнаго стыда, сорокъ лѣтъ горѣнія на медленномъ огнѣ!..

Конечно, всякій другой, менѣе сильный духомъ человѣкъ, давнымъ-давно бросилъ бы это бремя и ушелъ отъ него. Но Толстой былъ не изъ тѣхъ людей, которые выбираютъ для себя самую легкую ношу. Какъ говорятъ теперь его друзья, онъ потому и сидѣлъ въ Ясной Полянѣ, что это было для него нестерпимо трудно... И согласитесь, что это вполнѣ отвѣчаетъ толстовскому міросозерцанію и толстовскому строю мыслей:

— Самое тяжелое вали на мои плечи!

Но именно этотъ вопросъ самой тяжелой ноши и породилъ въ обществѣ пошлѣйшую и глупую сплетню, что Толстой проповѣдуетъ идеи Джорджа, сидя на собственной землѣ, въ собственномъ родовомъ помѣстьѣ. Какъ это и всегда бываетъ, пошляки судили исключительно по себѣ и собственную свою гнусность поспѣшили прибить къ воротамъ Ясной Поляны. Они не могли понять, какой тяжкій крестъ лежалъ на плечахъ Толстого, и не поняли этого даже тогда, когда больной старикъ 83 хъ лѣтъ, среди холодной осенней ночи, бѣжалъ отъ „счастья" земельной собственности. А вѣдь, кажется, понять это не трудно: подъ ледянымъ дождемъ, на площадкѣ вагона, съ тридцатью рублями въ карманѣ, люди не бѣгутъ отъ своего „счастья!"

Впрочемъ, послѣдняя библейская страница жизни Толстого, быть можетъ, многимъ разъяснитъ, какія бури бушевали въ великой душѣ великаго писателя.

Во всякомъ случаѣ, жало злой сплетни теперь вырвано

и пошлые разговоры о Толстомъ-собственникѣ должны навѣки умолкнуть.

Но зато теперь, мнѣ кажется, пора начать другіе разговоры и подойти къ вопросу о земельной собственности Толстого совсѣмъ съ другой стороны. Тѣ нѣсколько часовъ, которые я провелъ въ Ясной Полянѣ, и тѣ отрывочные разговоры, которые мнѣ пришлось вести съ мѣстными крестьянами, какъ нельзя яснѣе убѣдили меня въ томъ, что въ деревнѣ Ясной Полянѣ никто не сомнѣвается, какъ поступилъ бы Толстой со своимъ родовымъ имѣніемъ, если бы это зависѣло отъ него одного.

И вотъ, когда я глядѣлъ на жалкія хатенки яснополянскихъ мужиковъ и слушалъ разговоры о земельной „тѣснотѣ" и о надѣлахъ въ одну десятину,—мнѣ пришла въ голову мысль:

— Развѣ нельзя исполнить эту завѣтную мечту Толстого? Развѣ не можемъ мы, во имя его, выкупить эту яснополянскую землю и отдать ее тѣмъ самымъ мужикамъ, среди которыхъ стоялъ Толстой, связанный семейными веревками и угрозой опеки?

Мнѣ думается, что навстрѣчу этой завѣтной мечтѣ писателя пошелъ бы весь міръ, и что мы по копейкамъ собрали бы тѣ два милліона, о которыхъ, помнится, говорилъ одинъ изъ сыновей писателя, какъ о „справедливой оцѣнкѣ" Ясной Поляны.

— Два, такъ два! Когда въ дѣло вмѣшивается весь народъ и даже весь міръ,—о цѣнѣ не можетъ быть рѣчи!

Но зато какой по-истинѣ „Толстовскій" памятникъ былъ бы воздвигнутъ Толстому!

Не пошлые розаны и не монументы, а торжество толстовской мечты—вотъ что должно подсказать намъ сердце въ эти дни національнаго траура!

Александръ Яблоновскій.

ВѢЧНОЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО.

Умеръ великій человѣкъ, но живъ безсмертный геній. И то, что церковь отказалась хоронить Толстого, имѣетъ глубокій смыслъ: геній нельзя хоронить. Нельзя хоронить того, кто призванъ къ вѣчной жизни и съ высоты временъ взираетъ на преходящія условности нашего кладбищенства. Прахъ его можно опустить въ землю, но духъ его не нуждается въ проводахъ и напутствіяхъ непрочной дѣйствительности, которую онъ отрицалъ во имя великаго будущаго—во имя высшей человѣчности, во имя любви, во имя грядущаго Царствія Божія.

Когда же церковь—я говорю не о православной или католической, которыя возникли еще въ историческія времена—когда же какая бы то ни было церковь благословляла и напутствовала потрясателей одряхлѣвшаго міра, шедшихъ на Голгоѳу за человѣчество или готовыхъ взойти на нее за грѣхи міра?

И развѣ легенда о Великомъ Инквизиторѣ не осуществляется отъ времени до времени, и развѣ сознательно не распинаютъ Христа, когда лицомъ къ лицу встрѣчаются съ нимъ охраняющіе старый законъ книжники?

Есть суровая логика и возмущающая нашъ духъ сила вещей въ томъ преслѣдованіи, какому подверглись идеи Толстого; все, что дорого старому міру и на чемъ онъ искони построилъ свой пышный и пестрый порядокъ, разрушилъ великій философъ: онъ повалилъ вавилонскую башню героизма въ лицѣ Наполеона и Кутузова, потрясъ патріотизмъ и любовь къ отечеству, основанную на ненависти къ чужеземцу, осмѣялъ обрядовую сторону религіи, изъ-за временнаго пренебрегшей вѣчнымъ, разложилъ на откалкивающіе элементы супружескую жизнь, государственную дѣятельность, оффиціальную науку и оффиціальное искусство, выступилъ противъ сословныхъ и экономическихъ перегородокъ и провозглашенъ былъ въ западно-

европейской наукѣ величайшимъ анархистомъ. на ряду съ Бакунинымъ и Кропоткинымъ.

И однако же, если Толстой анархистъ, то своеобразнѣйшій величіе вѣчности придаетъ его ученію выдвинутый имъ принципъ непротивленія злу, не выдерживающій критики съ точки зрѣнія кипящихъ злобъ дня. но божественный въ перспективѣ исторической правды: мы уже знаемъ, что міръ однажды былъ потрясенъ и преобразованъ Кротостью

Такимъ образомъ, Толстой въ борьбѣ съ тѣмъ укладомъ государственнаго поведенія и общепринятой морали, который тоже претендуетъ на вѣчность, воспользовался самымъ вѣчнымъ и поэтому самымъ страшнымъ и, можетъ быть, самымъ дѣйствительнымъ средствомъ,—покоряющимъ сердца и нивеллирующимъ всѣ несогласія дѣйствительности—непротивленіемъ злу.

Двѣ вѣчности столкнулись. воинствующая и кроткая, проклинающая и миролюбивая; стяжательная и пренебрегающая богатствами міра, забывшая простые и ясные завѣты въ три дня Разрушившаго храмъ и вѣчность, напомнившая людямъ о данномъ Имъ обѣщаніи въ три дня и построить новый храмъ.

Какъ же могъ старый законъ не возстать на Толстого?

Еще неизвѣстно, какіе корни пустило и пуститъ его ученіе въ народѣ русскомъ Оно самое славянское и доступное народу. И, несмотря на то, что оно самое славянское, а, можетъ быть, и благодаря этому, оно самое вселенское.

Такъ или иначе, изъ мрака могилы, въ которую опустили прахъ мыслителя и поэта брызнулъ уже на человѣчество яркій свѣтъ новой истины. и хорошо сдѣлалъ дряхлый міръ, что посторонился въ великую минуту борьбы смерти и жизни, происходившей въ душѣ Толстого: восторжествовала жизнь, не заслоненная тѣнями прошлаго, которое онъ отвергъ и которое не хотѣло и не могло примириться съ нимъ.

І. Ясинскій.

ПОСЛѢ ПОХОРОНЪ.

Раннимъ утромъ 10-го ноября, задолго еще до поздняго осенняго разсвѣта, поѣздъ, въ которомъ я ѣхалъ, остановился у маленькой станціи передъ Тулой. Небо темно и мутно, тихо, безшумно и значительно передвигаются въ вышинѣ, мглистыя облака. Изъ темноты выдвигаются фигуры: усталые послѣ безсонныхъ ночей и волненій, это—паломники изъ Ясной Поляны. Они сообщаютъ, что похороны состоялись уже вчера, 9-го ноября. Торопились. Народу было множество, но поспѣли къ похоронамъ почти только москвичи. Сначала отпускали экстренные спеціальные поѣзда, потомъ послѣдовалъ отказъ. Людской потокъ къ великой могилѣ былъ такимъ образомъ прерванъ на половинѣ, и все-таки за гробомъ, который несли на рукахъ крестьяне и студенты, по широкой дорогѣ между лѣсами исторической „засѣки" двигалась огромная толпа. Торопливость похоронъ объясняютъ требованіемъ „свѣтской власти", пожелавшей будто бы, чтсбы соблазнительное зрѣлище длилось какъ можно меньше.

Но днемъ, на мѣстѣ, въ Ясной Полянѣ это объясняютъ иначе: поторопилась съ похоронами семья по собственной иниціативѣ, вѣрнѣе,—исполняя предсмертную волю великаго покойника. „Какъ можно проще и безъ обрядовъ",—отвѣтила, говорятъ, графиня С. А. Толстая на запросъ администраціи. И мѣстная власть осталась нейтральной, корректно, по общимъ отзывамъ, наблюдая только за внѣшнимъ порядкомъ . . . . . .

„На „курганѣ", надъ овражкомъ, подъ высокими дубами вырола небольшая могила, вся покрытая вѣнками. Весь день еще отъ Засѣки, лѣсными тропами и по широкому тульскому шоссе, въ одиночку и кучками подходятъ и подъѣзжаютъ люди, собираясь у этой могилы. Временами кто-нибудь затягиваетъ „вѣчную память", головы обнажаются, напѣвъ звучитъ печально и просто, потомъ смолкаетъ, и

только шорохъ обнаженныхъ вѣтвей присоединяется къ такому же тихому шороху сдержанно-торжественныхъ людскихъ разговоровъ.

А по рельсамъ въ разныя стороны мчатся поѣзда, набитые людьми, и въ широкій говоръ повседневной, будничной жизни струями врываются разговоры о Толстомъ, ушедшемъ навсегда изъ этого міра въ міръ безконечной тайны и вѣчныхъ вопросовъ... Разсказываютъ о томъ, что великій русскій писатель и превосходный человѣкъ пожелалъ отправиться туда „безъ церковнаго пѣнья, безъ ладона“, безъ обычнаго напутствія тѣхъ, кого вѣка и милліоны признаютъ оффиціальными властителями этого невѣдомаго міра съ его тайнами и судьбами...

Толки по этому поводу разнообразны, какъ разнообразно человѣческое море. Но въ стихійно широкій говоръ этого моря ворвалась все-таки новая нота, въ милліоны нетронутыхъ умовъ палъ новый фактъ и въ милліонахъ сердецъ шевельнулось новое чувство. Эта мысль и это чувство—терпимость.

Сейчасъ въ вагонѣ третьяго класса, который уноситъ меня отъ Засѣки и Ясной Поляны, кто-то читаетъ стихотвореніе. Я слышу только отрывки, производящіе впечатлѣніе странное и противорѣчивое. Прошу у читающаго листокъ. Это—Курская Быль. Все содержаніе листка—обычно черносотенное и ненавистническое. Но даже и черносотенный поэтъ говоритъ о Толстомъ: „Вставали, какъ живыя, лица подъ золотымъ его перомъ, горѣла каждая страница, небеснымъ геніемъ огнемъ“. И хотя затѣмъ „въ душѣ кипучей борьба безумная росла и въ лѣсъ безвѣрія дремучій талантъ великій увлекла“,—но авторъ на этотъ разъ не проклинаетъ и не призываетъ на голову „отступника“ всѣ силы ада. И... „за его всѣ заблужденія,—говоритъ онъ,—у милосерднаго Творца да вымолятъ ему прощеніе Россіи вѣрящей сердца“...

Правда, это только мимолетный проблескъ, но при-

смотритесь: вѣдь онъ, подъ обаяніемъ великой тѣни, промчался зарницей по всей старой „черной Россіи", съ низовъ и до верху . . . . . .

Правда, Толстой—геній, одна изъ высочайшихъ вершинъ человѣчества, и пока его завоеваніе—только исключительно торжество генія. Но вѣдь и солнце прежде всего освѣщаетъ высочайшія вершины, когда въ долинахъ еще залегаютъ мракъ и туманы. Однако, когда надъ мракомъ и туманами встала уже ярко освѣщенная вершина, это—доброе, ободряющее предзнаменованіе...

Вл. Короленко.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Умеръ Левъ Толстой...

Хотѣлось бы сосредоточиться и молчать.

Захлопнулась передъ нами великая книга жизни. Долго, внимательно, не отрывая глазъ читали мы ее. Она колыхала наши груди, усиленно заставляла биться наши сердца, властно захватывала наши думы богатствомъ блескомъ, глубиною, разнообразіемъ своего содержанія. Съ особенной силой ударили по нашимъ нервамъ ея послѣднія страницы. Взбудоражилась совѣсть. Отъ жгучей боли дрогнули сокровеннѣйшіе ея изгибы. Сердца готовы были выступить изъ своего обыденнаго ритма и ринуться въ ожесточенный бой съ окружающей неправдой, если не ради побѣды, то хотя бы затѣмъ, чтобы кровью своею запечатлѣть истинность проповѣданнаго. Еще страница и, казалось, обнажится наконецъ цѣликомъ вся та истина, ради которой писалась самая книга, звучавшая уже давно властнымъ пророческимъ призывомъ... Но эта страница оказалась чистою и послѣднею. На ней начертано одно только слово—„конецъ".

Конецъ.

Успокоился великій мученикъ и страдалецъ жизни. Толстой въ гробу, и уже въ могилѣ. Кругомъ чадъ и гарь обычной похоронной сутолоки, толчея и шумъ вокругъ святого молчанія почившаго.

Хотѣлось бы молчать и развѣ только словами Шекспира запечатлѣть великую трагедію, только что передъ нами завершившуюся: „the rest is Silence" [1]).

Вѣчно и вѣчно будетъ перелистываться великая книга, и каждый будетъ находить въ ней все новое и новое для своего эстетическаго, умственнаго и нравственнаго удовлетворенія. Но смыслъ жизни Льва Толстого и его твореній для насъ исчерпывается не однимъ лишь сочувственнымъ эстетическимъ волненіемъ, или моральнымъ возбужденіемъ „святого безпокойства", онъ гораздо болѣе глубокъ и трагиченъ именно для нашего поколѣнія. Основной тонъ его откровеній—ужасъ. Онъ ужасался самъ и раскрывалъ намъ весь ужасъ окружающей насъ жизни, и ужасъ этотъ усиливался до нестерпимой боли отъ сознанія, что во всемъ этомъ непритворномъ ужасѣ повинны и мы сами каждымъ своимъ душевнымъ движеніемъ, каждой небрежной повадкой, каждымъ отвлеченіемъ себя отъ выполненія единственнаго человѣческаго долга—всепреодоляющей любви къ ближнему.

Не было того общественнаго явленія, того затаеннѣйшаго душевнаго движенія современнаго человѣка, надъ которымъ бы не задумался великій Толстой, и, такъ или иначе, на него бы не откликнулся. И каждый разъ онъ дѣлалъ это съ исчерпывающею глубиной и всесокрушающею, сопровождаемою великою болью и мукою, искренностью истиннаго генія . . . . . .

Современное поколѣніе (особенно когда только-что ушелъ Толстой) еще колеблется, еще подавлено огромностью и разнообразіемъ того зла, уничтоженіе котораго онъ намъ заповѣдалъ. Многіе, въ качествѣ „рабовъ лука-

---

[1]) Заключительныя слова Гамлета: „остальное молчаніе"!

выхъ", въ надеждѣ отвильнуть отъ непривычной и духовной работы готовы усомниться даже: да все ли зло, что онъ объявилъ зломъ, дѣйствительно ли оно настолько огромно и всѣ ли мы, рѣшительно всѣ, вмѣсто того, чтобы попрежнему въ разбродъ лѣниво плыть по теченію, неотступно должны впрячься въ одну общую лямку спасенія человѣчества отъ зла?

Можетъ, пожалуй, начаться переоцѣнка по существу объявленнаго Толстымъ зла, но не столько во имя практическихъ цѣлей установленія его точныхъ размѣровъ и границъ, сколько во имя отлыниванія отъ суровыхъ велѣній долга и совѣсти.

Но вѣдь мы-то, ближайшее поколѣніе къ Толстому, особливо его соотечественники и много слышавшіе о немъ и видѣвшіе его, знаемъ, какой это былъ искренній, чуткій и вмѣстѣ добрый человѣкъ. Если бы онъ могъ сложить съ нашихъ душъ какую-либо лишнюю тяготу, онъ бы непремѣнно это сдѣлалъ. Но онъ остался непреклоннымъ до конца. И въ роковую ночь, когда онъ въ смятеніи бѣжалъ изъ Ясной Поляны отъ тѣни барства и такъ заслуженнаго имъ скромнаго комфорта, не открывался ли передъ нимъ новый ужасъ, который, онъ, быть можетъ, надѣялся, сообщится и намъ, ужасъ отъ нагроможденнаго зла, который онъ безсиленъ самъ разметать своими старческими руками, и который, быть можетъ, надолго еще останется нетронутымъ во имя ложно понятаго его же завѣта: „недѣланіе".

Не дѣлайте зло, но добро творите неустанно, не останавливаясь ни передъ какими личными жертвами, не смущаясь никакими грозящими вамъ бѣдами.

Вотъ истинный его завѣтъ. Въ немъ нѣтъ повода для ликованія злу.

Появленіе генія въ той или иной странѣ, и даже направленіе его дѣятельности въ ту или иную область явленій, конечно, не случайно. Вольтеръ и Руссо—во Франціи, Гете и Шиллеръ--въ Германіи появились передъ духовнымъ

возрожденіемъ своего народа, Геній многограненъ (геній всегда именно таковъ), онъ съ необычайною интенсивностью воспринимаетъ все его окружающее и потому больше всего бываетъ сыномъ своего времени и своей страны. И въ этомъ отношеніи Толстой яркій показатель генія. Толстой—не абстрактъ, не отвлеченіе, не идея, свалившаяся къ намъ невѣдомо откуда. Онъ до мозга костей русскій, выросшій на русской землѣ, онъ плоть отъ плоти и кость отъ кости—нашъ.—И вотъ гдѣ надо искать разгадки той бури отрицанія, которая мало-по-малу накоплялась, собиралась и, наконецъ, неудержимо разбушевалась въ его груди.

Начиная съ Севастопольской кампаніи и вплоть до нашихъ дней, что видѣлъ, что воспринималъ, на чемъ могъ примириться Толстой? Исторія шла своимъ грузнымъ ходомъ, громыхала, дѣлала этапы, мѣняла, казалось, и направленія, но, въ концѣ концовъ, все оставалось по старому, можетъ быть, даже гораздо хуже стараго. . . .

Болѣе чѣмъ когда либо властно тяжкій кошмаръ всею своею тяжестью наваливался на народную грудь. Безцѣльныя или неудачныя войны, нищета наиболѣе трудящейся части населенія, насильственное замыканіе духовнаго роста подростающихъ поколѣній, условный судъ, условная свобода слова, фсрмальная религія и человѣконенавистничество, какъ общій фонъ этой мрачной картины, озаряемой отъ времени взрывами кроваваго насилія, то съ той, то съ другой стороны. Масса безцѣльныхъ жертвъ, и въ общемъ инертность, какъ бы разъ навсегда, притупленныхъ нервовъ и угасшей совѣсти.

Въ такой именно историческій моментъ раздалось властное слово Толстого. Его отрицаніе и бичеваніе коснулось всего, что онъ считалъ помѣхою людскому счастью. Злоупотребленіе всѣмъ этимъ было такъ ярко, стояло такъ близко отъ него, что не могли не потрясти его совѣсти. И вотъ первоисточникъ его выстраданныхъ думъ. „Война—зло, она наслѣдіе варварства; „гдѣ судъ, тамъ и осужденіе"—

не надо суда; формальная религія путы для свободнаго духа истинно вѣрующаго; только трудящійся вправѣ насыщать свой голодъ и т. д.

Тутъ выработанъ геніемъ и вѣчный непререкаемый идеалъ, къ которому хотя бы медленнымъ, но вѣрнымъ шагомъ должно стремиться все человѣчество, но тутъ же и вопль наболѣвшей русской души, наболѣвшей отъ всѣхъ проявленій безчеловѣчія и звѣрства въ отмѣченныхъ и заклейменныхъ имъ областяхъ. „Не могу дольше молчать"!— восклицалъ онъ по поводу умножившихся смертныхъ казней. А убѣгая тайкомъ ночью изъ-подъ крова родной ему Ясной Поляны, переживая глубочайшее душевное потрясеніе, развѣ не сказалъ онъ намъ внятно: „не могу долѣе жить съ вами, такъ какъ вы живете".

На этотъ разъ это уже не было обращеніе генія къ человѣчеству, такъ какъ послѣднее, увѣнчавшее его давно славою,—и онъ сознавалъ это—готово было въ недалекомъ грядущемъ раскрыть ему свои братскія объятія. Это было обращеніе къ намъ, ближайшимъ, толпившимся вокругъ него, окружавшимъ его... обращеніе къ нашему поколѣнію.

„Не могу дольше жить съ вами"!..

Темная, сырая ночь безпощадно ползетъ, обвивая громыхающій поѣздъ и тотъ вагонъ третьяго класса, въ которомъ накурено и смрадно, и гдѣ корчатся безпомощныя, можетъ быть, выпившія, грязныя, дремлющія тѣни, а на площадкѣ этого бѣднаго, смраднаго и грязнаго вагона—прообраза всей неприкрашенной жизни русскаго простолюдина—стоитъ прикованный, тяжело вдыхая мглистый ночной воздухъ, Толстой. Мороситъ дождь, дуетъ рѣзкій вѣтеръ. Холодитъ старческую грудь, ознобъ пробѣгаетъ по нѣкогда мощнымъ плечамъ, но онъ стоитъ неподвижно, вперивъ свои добрые, безконечно добрые глаза въ темную родную даль...

Въ эту памятную, мглистую ночь любой, залитый блескомъ сіяющихъ огней, дворецъ охотно распахнулся бы передъ

нимъ, міровымъ геніемъ, и не зналъ бы какъ лучше его обогрѣть и устроить... Но онъ въ своемъ плохомъ крестьянскомъ одѣяніи, словно бдительный сторожъ народной бѣдности и темности, оцѣпенѣлъ на своемъ посту, среди непроглядной ночи.

Великая ночь послѣднихъ его страданій.

„Не могу быть съ вами"!—алчными, кровожадными, равнодушными къ народному страданію, суетными...

Это онъ говорилъ намъ, нашему поколѣнію.

Это онъ завѣщалъ своей родинѣ—Россіи.

Миръ праху твоему, великій страдалецъ.

Н. Карабчевскій.

ЗАВѢЩАНІЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО.

«Тысяча девятьсотъ десятаго года, іюля двадцать втораго дня, я, нижеподписавшійся, находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти, на случай моей смерти, дѣлаю слѣдующее распоряженіе. Всѣ мои литературныя произведенія, когда-либо написанныя по сіе время и какія будутъ написаны мною до моей смерти, какъ уже изданныя, такъ и неизданныя, какъ художественныя, такъ и всякія другія, оконченныя и неоконченныя, драматическія и во всякой иной формѣ, переводы передѣлки и дневники, частныя письма, черновые наброски, отдѣльныя мысли, замѣтки, словомъ все безъ исключенія мною написанное по день моей смерти, гдѣ бы таковое ни находилось, у кого бы ни хранилось, какъ въ рукописяхъ, такъ равно и напечатанное, причемъ какъ право литературной собственности на всѣ безъ исключенія мои произведенія, такъ самыя рукописи и весь оставшійся послѣ меня бумаги завѣщаю въ полную собственность дочери моей Александрѣ Львовнѣ, а въ случаѣ же, если дочь моя Александра Львовна Толстая умретъ раньше меня, все вышеозначенное завѣщаю въ полную собственность до-

черн моей Татьянѣ Львовнѣ Сухотиной. Левъ Николаевичъ Толстой. Симъ свидѣтельствую, что настоящее завѣщаніе дѣйствительно составлено, собственноручно написано и подписано графомъ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ, находящимся въ здравомъ умѣ и твердой памяти. Свободный художникъ Александръ Борисовичъ Гольденвейзеръ. Въ томъ же свидѣтельствую. Мѣщанинъ Алексѣй Петровичъ Сергѣенко. Въ томъ же свидѣтельствую. Сынъ подполковника Анатолій Діонисіевичъ Радынскій.

Завѣщаніе все написано собственноручно Львомъ Толстымъ, на большомъ листѣ почтовой бумаги, оно занимаетъ страницу и лишь нѣсколькими строками переходитъ на вторую страницу.

Въ дополненіе къ этому завѣщанію Левъ Толстой оставилъ распоряженіе на имя Александры Львовны, которое она, конечно, свято исполнитъ и по смыслу котораго она, въ сущности, является только душеприказчицей по завѣщанію.

Великій писатель проситъ свою дочь прежде всего приступить къ изданію тѣхъ его произведеній, которыя до сихъ поръ не появлялись въ печати. Выручка отъ продажи этого перваго изданія должна быть обращена на выкупъ Ясной Поляны въ пользу яснополянскихъ крестьянъ. Собственниками Ясной Поляны являются въ одной половинѣ графиня С. А. Толстая, въ другой—сыновья Толстого, къ которымъ она перешла за смертью младшаго сына Ивана.

Послѣ того какъ выкупъ будетъ осуществленъ, Александра Львовна откажется отъ авторскаго права на эти сочиненія и предоставитъ ихъ въ общее пользованіе всего человѣчества.

Ту же судьбу должны раздѣлить и остальныя напечатанныя уже сочиненія Толстого, но лишь послѣ того, какъ гр. С. А. Толстая выпуститъ въ свѣтъ подготовленное ею къ печати новое изданіе.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Портретъ Л. Н. Толстого.	
Отъ издательства	III
Послѣднія произведенія Л. Н. Толстого:	
Дѣйствительное средство	V
Послѣднее письмо	VII
Какъ писалась послѣдняя статья. *К. Чуковскій.* . .	VII
Біографическій очеркъ	XI LXXV
Л. Н. Толстой о своей жизни	XIII
Дѣтство, отрочество и юность	XV
Борьба съ самимъ собою	XXIII
На Кавказѣ	XXVI
Севастополь	XXIX
Въ Петербургѣ	XXXI
За границей	XXXIV
Въ Германіи	XL
Усиленная литературная дѣятельность	XLVII
„Война и міръ“	XLIX
Критическая оцѣнка „Войны и мира“	LI
Любовь къ ближнему и взгляды на земельную собственность	LII
Отношеніе къ смертной казни	LIV
Второй періодъ педагогической дѣятельности	LVI
Анна Каренина	LVI
Передъ духовнымъ перерожденіемъ	LVIII
Духовное перерожденіе	LX
Вѣра и „Исповѣдь“	LXIII
Письмо къ Имп. Александру III	LXV
Новое міровоззрѣніе	LXVIII
„Да или нѣтъ“	LXXIII
Начало новой жизни Л. Н. Толстого.	1—52
Отъѣздъ изъ Ясной Поляны	3
Въ Ясной Полянѣ послѣ отъѣзда	8
Марія Николаевна Толстая	14
Л. Н. Толстой и Оптина Пустынь	16
Отзывы русскихъ писателей и дѣятелей объ уходѣ Толстого	19

СТР.

Отзывы иностранныхъ писателей и дѣятелей . . . 25
Духовенство объ уходѣ Л. Н. Толстого 30
Причины ухода Л. Н. Толстого изъ Ясной Поляны
В. Чертковъ 33
Гр. А. Л. Толстой объ уходѣ отца 36
Уходъ въ міръ *А. Хирьяковъ* 37
Великое одиночество. *И. Н. Потапенко.* 40
Послѣдній подвигъ. *Кн. В. Мещерскій* 42
Освобожденіе отъ путъ. *Н. Карабчевскій* 45
Почему? Зачѣмъ?. *Сергѣй Яблоновскій* 46
Свойство генія Толстого. *А. Столыпинъ* 48
Легенда XX вѣка. *А. Измайловъ.* 50

Несбывшаяся мечта. . . . . . 53—72
Болѣзнь Льва Николаевича 55
Ложная тревога 60
Въ „Астаповѣ" 62
Ходъ болѣзни 64

Смерть Л. Н. Толстого . . . . . 73—88
„Все кончено" 75
Послѣ кончины Льва Николаевича. 76
Послѣдній путь 81
Поиски могилы 82
Послѣдніе часы въ Ясной Полянѣ 83
Преданіе землѣ 86
Могила на курганѣ 87

Высшія гражданскія и духовныя власти и Л. Н. Толстой . . . . . 89—100
Слова Государя 91
Вопросъ о Л. Н. Толстомъ въ совѣтѣ министровъ . . 91
Госуд. Дума и Л. Н. Толстой 92
Госуд. Совѣтъ и Л. Н. Толстой 94
Л. Н. Толстой и Синодъ 95
Руководящая партія Госуд. Думы и Толстой 100

Міровое значеніе генія Л. Н. Толстого . . . . . 101—224
Замѣчательное совпаденіе 103
Памяти Толстого. *Д. Анучинъ.* 106
Онъ въ будущемъ живетъ. *Ѳ. Батюшковъ* 111
Толстой о смерти и смерть Толстого *Т. Богдановичъ.* 119
Толстой. *Homo homo* 124
Толстой живой—Толстой безсмертный. *А. Горнфельдъ* 131
Софья Андреевна. *К. Дорошевичъ* 134
Умеръ Левъ Николаевичъ Толстой. *С. Елпатьевскій.* 146
Великіе завѣты. *Н. Златовратскій* 148
Художникъ-пророкъ. *А. Кизеветтеръ* 150
Толстой. *А. Ѳ. Кони* 152
Наше оправданіе. *А. Купринъ* 158
Поэтъ совѣсти. *Н Лернеръ* 161
Памяти Л. Н. Толстого. *М. Меньшиковъ* 167
Смерть Л. Толстого. *Д. Мережковскій* 170
Левъ Николаевичъ Толстой. *Вл. Набоковъ* 172
Осиротѣло человѣчество. *Вас. Немировичъ-Данченко* 176

	стр.
Въ мірѣ—покойникъ. *Д. Овсянико-Куликовскій* . .	178
„Толстой тихо скончался“. *А. Пругавинъ*	179
Міръ осиротѣлъ. *Г. Петровъ*	182
Свершилось. *Ф. Родичевъ*	186
Толстой въ литературѣ. *В. Розановъ*	188
Толстой умеръ. *Мих. Стаховичъ*	190
Самый свободный. *А. С. Суворинъ*	191
Жизнь человѣка. *Танъ*	194
Свѣтлой памяти *Н. Телешовъ*	199
Конецъ Л Н. Толстого. *Кн Евг. Трубецкой*	201
Сны *Тэффи*	204
Надгробное рыданіе. *А. Федоровъ*.	208
Толстой и собственность. *Александръ Яблоновскій* .	210
Вѣчное Льва Толстого. *І. Ясинскій*.	214
Послѣ похоронъ. *Вл. Короленко*	216
Л. Н. Толстой. *Н. Карабчевскій*.	218
Завѣщаніе Льва Толстого	223

2007050502